



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



**Columbia University**  
**in the City of New York**

THE LIBRARIES













Ек. Бекетова (Краснова).

# РАЗСКАЗЫ



ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія бр. Пантелеевыхъ, Вереяская, 16.

1898.

891.7K865

M

104837

1971

Exchange

ASBURY  
UNIVERSITY  
LIBRARY

FEB 20 1950

# ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

Содержание

1. ПОВЕСТИ

2. РАЗСКАЗЫ

1870  
1871  
1872

# НЕ СУДЬБА.

(Повѣсть).

## I.

Когда у Ивана Владиміровича Загребскаго родился сынъ, онъ очень этому радовался. Къ сожалѣнію, дома некому было раздѣлить его чувства, потому что супругъ его, Зинаидѣ Сергѣевнѣ, всякія чувства были чужды. Еще въ дѣвицахъ она была преимущественно languissante, а когда вышла замужъ, это качество окончательно сдѣлалось преобладающею чертою ея характера. Молодая мать довольствовалась сознаниемъ, что у ней есть un bébé, котораго будетъ крестить son oncle le général. Но отцу, называвшему bébé Михайлой, такого сознанія было мало: онъ вообще не любилъ духовныхъ наслажденій и безъ шампанскаго ничего не понималъ. На радостяхъ необходимо было выпить, и Иванъ Владиміровичъ поспѣшилъ въ свой клубъ, куда давно уже привыкъ отправляться во всѣ важныя минуты жизни.

Съ тѣхъ поръ прошло много времени. Bébé давно выросъ и называется большею частію Мишелемъ, хотя въ клубѣ ему по прежнему случается быть Михайлой. Его мать продолжаетъ быть languissante, тѣмъ болѣе, что, помимо сына, существуютъ еще les deux demoiselles — ея дочери.

Мишелю двадцать шесть лѣтъ. Онъ пользуется отличнымъ здоровьемъ и аппетитомъ; по, къ ужасу матери, онъ очень небольшого роста, хотя имѣетъ наружность удовлетворительную. Онъ росъ крайне балованнымъ мальчикомъ, какъ обыкновенно бываетъ въ семействахъ, когда среди женщинъ растетъ единственный сынъ. Мать, бабушки, тетушки обожали Мишеля, но каждый членъ семейства смотрѣлъ на дѣло воспитанія и стремился „вести“ ребенка по своему. Среди всѣхъ этихъ воспитаній и направленій плачевно увязали безпомощные гувернеры и гувернантки, состоявшіе при Мишелѣ. Но онъ, повидимому, нимало не страдалъ отъ своего положенія и принялъ тактику—одинаково въ грошъ не ставить ни родовыхъ, ни благопріобрѣтенныхъ воспитателей: онъ никогда никого не слушался, ничему путемъ не учился и былъ очень доволенъ своей судьбой. Все это продолжалось до поступленія его въ корпусъ.

Пока онъ тамъ процвѣталъ, мать его обзавелась новымъ качествомъ, такъ какъ съ теченіемъ времени оказалась *délaissée*. Это произошло отъ того, что Иванъ Владиміровичъ увѣрялъ, будто въ присутствіи жены онъ себя чувствуетъ „какъ сливки на солнцѣ“. Супруги всегда были недовольны другъ другомъ, хотя въ сущности во многомъ сходились. Особенно ссорились они изъ-за сына: отецъ желалъ, чтобы Михайло былъ военный и молодецъ, а мать мечтала о томъ, чтобы Мишель былъ военный и... *mauvais sujet*.

Относительно перваго пункта все устроилось по родительскому желанію: по выходѣ изъ корпуса Мишель превратился въ то, что его отецъ называлъ „гвардіонцемъ“, а мать—*les lanciers de Peterhoff*. Остальное не удавалось: Мишель не попадалъ собственно ни въ ту, ни въ другую категорію. Напыется гдѣ-нибудь à *Peterhoff*, или съ отцомъ въ клубъ, какъ прилично молодцу, а на другой день груститъ и терзается угрызениями

совѣсти, какъ баба, по выраженію Ивана Владиміровича, который терпѣть не могъ этой его черты и называлъ ее философіей.

Иногда бывалъ и на маминой улицѣ празднествъ: Мишель таскается по ресторанамъ, торчитъ за кулисами театра Буффъ, дѣлаетъ долги, побѣждаетъ сердца, становится un brillant mauvais sujet; но вдругъ, ни съ того, ни съ сего, запрется въ своей комнатѣ, засядетъ дома, задумывается и читаетъ. Когда Мишель принимался за книги, онъ дѣлался нисколько не похожъ на mauvais sujet, неинтересенъ, не блестящъ. Впрочемъ, чтеніемъ онъ никогда долго не занимался: это ему надоѣдало, главное потому, что въ это время онъ самъ себя не понималъ.

Былъ у него пріятель, баронъ Влангъ, его товарищъ по полку. Влангъ былъ высокій, бѣловурый, приличный офицеръ остзейскаго происхожденія. Онъ отлично одѣвался, носилъ рince-nez въ золотой оправѣ и говорилъ скрипучимъ голосомъ, въ носъ. Характера онъ былъ спокойнаго и пользовался особымъ расположеніемъ Мишеля, который цѣнилъ въ немъ выше всего его невозмутимость и сильно злоупотреблялъ ею, когда находился въ припадкѣ безпричинной и безпokoйной тоски, нападавшей на него по временамъ. Подъ вліяніемъ этой тоски, Мишель болтался безъ дѣла, вралъ всякій вздоръ, нылъ и надоѣдалъ всѣмъ. Въ такія минуты онъ шелъ къ Влангу, и между ними происходили разговоры въ такомъ родѣ:

— Влангъ, я къ тебѣ: родители надоѣли.

— Здравствуй, — говорилъ баронъ. — Кто тебѣ надоѣли?

— Родители, душечка, — папаша съ мамашей.

— Очень странно. Чѣмъ же надоѣдали?

— Преимущественно любовью и ненавистью, — жаловался Мишель, стоя среди комнаты и раскачиваясь на

каблувахъ.—Обожаютъ и доѣзжаютъ въ тоже время... Что, ты опять не понялъ? Возьми лексиконъ, отыщи гамъ глаголъ доѣзжать...

— Довольно, я уже слыхалъ такія шутки и онѣ неумѣстны. Возьми это во вниманіе.

— Надоѣло? Ну, выгоняй меня... О, Влангъ! Влангъ, какая скучица!

— Займи себя чѣмъ-нибудь.

— Да чѣмъ-же? Когда бы я зналъ...

И Мишель вдругъ затыкивалъ во все горло: „Когда-бы онъ зналъ, что пламенной душою...“

Влангъ медленно доставалъ черепаховый портсигаръ, вынималъ папиросу, закуривалъ.

— Мало-ли дѣла!—приносилъ онъ, наконецъ.

— Что ты, что ты? Какое же у насъ дѣло? Хоть бы война, что-ли... Влангъ! Кого бы намъ поворотить?

— Не говори такъ глупо. Если тебѣ нечего дѣлать въ военной службѣ, выходи въ отставку, занимайся своимъ имѣніемъ.

— Имѣніемъ? А какого чорта я тамъ буду дѣлать? Я только и умѣю спать, да вздоръ молоть; вѣдь насъ съ тобой только этому и учили, переучиваться поздно!

— Нивогда и ничто не поздно. Не хочешь-ли сельтерской воды?—предлагалъ Влангъ.

— Сельтерской? Это еще что? Вина давай!

Вино приносилось, но на Мишеля никакіе напитки, кромѣ коньяка, не дѣйствовали; отъ коньяка же онъ пьянѣлъ и становился еще мрачнѣе. Когда находили на него припадки хандры, ничто не могло его развлечь; но въ свое время она проходила сама собою.

Находясь въ одномъ изъ такихъ пароксизмовъ, онъ былъ приглашенъ на именинный вечеръ къ одному изъ старшихъ офицеровъ полка и почему-то принялъ приглашеніе. Пиръ удался на славу: пили много, при дѣятельномъ участіи самого генерала. Генералъ былъ изъ



молодыхъ, очень толстый и красный нѣмецъ, плохо говорившій по-русски. Мишель не чувствовалъ къ нему личной антипатіи, хотя былъ о немъ невысого мнѣнія; но такъ какъ онъ вообще не охотникъ былъ до нѣмцевъ, то и на генерала смотрѣлъ недружелюбно. Къ концу ужина Мишель впалъ въ меланхолію: вино, водка и товарищи ему надоѣли, а уходить было лѣнь; отъ нечего дѣлать онъ взялъ свой бокалъ и подсѣлъ къ генералу. Устремивъ внимательный взглядъ на своего начальника и разглядывая его, онъ началъ разсуждать вслухъ:

— Создатель, Создатель! И за что это его превосходительство попалъ въ генералы! Во-первыхъ, нѣмецъ; во-вторыхъ, глупъ... Будто ужъ изъ русскихъ нѣтъ такихъ рожекъ? Ну, за что его надъ нами поставили? Даже „хлѣбъ“ выговорить не умѣеть...

Мишель такъ углубился въ свои разсужденія, что не замѣтилъ восторженнаго вниманія господъ офицеровъ. Съ своей стороны, генералъ не сразу разобралъ, къ кому относились эти рѣчи, но потомъ спохватился и сильно разгнѣвался. Вышелъ скандалъ, вслѣдствіе котораго Мишель на другой день вынужденъ былъ подать въ отставку.

Послѣ этого онъ поступилъ „просто“ въ С... пѣхотный полкъ, къ невыразимой горести Зинаиды Сергѣевны. А Ивану Владиміровичу эта исторія такъ понравилась, что онъ даже не имѣлъ духа сердиться на сына.

Очутившись въ С... полку, Мишель на все махнулъ рукой и совершенно сбился съ толку, такъ что въ короткое время приобрѣлъ обширную и печальную извѣстность. Родные были въ отчаяніи: дома онъ почти не бывалъ и, что всего хуже, никто не могъ разобрать, доволенъ-ли, по крайней мѣрѣ, самъ Мишель своей судьбою? Онъ не хандрить, но и веселости въ немъ

не замѣчалось. Онъ велъ безобразную жизнь какъ-то серьезно и систематично, точно дѣло дѣлалъ. Зинаида Сергѣевна рѣшила, что ея сынъ—пропащій человекъ.

Такъ продолжалось до одного морознаго декабрьскаго вечера, когда Мишель отправился на благотворительный балъ.

## II.

Тетка Мишеля, баронесса Елена Владиміровна Шторхъ, устраивала благотворительный балъ. Она особенно любила Мишеля, и въ угоду ей „пропащій человекъ“ ѣздилъ иногда на танцевальныя вечера, базары и тому подобныя учрежденія. Объ этомъ балѣ Мишель узналъ заблаговременно. „Пріѣзжай, голубчикъ, непременно“,—писала ему баронесса:—„и выручи меня: дамъ будетъ пропасть, а кавалеровъ не знаю, гдѣ взять“. При этомъ извѣстіи Мишель поморщился и пожелалъ остаться дома; но тетка, какъ женщина предусмотрительная, помѣстила въ концѣ записки нѣсколько интересныхъ свѣдѣній о буфетѣ, и это рѣшило вопросъ въ ея пользу. Мишель рѣшилъ, что надо ей сдѣлать удовольствие, и поѣхалъ на балъ.

Морозъ былъ сильнѣйшій. Пока Мишель согрѣвался въ швейцарской и приходилъ въ нормальное состояніе, расположеніе его духа почему-то испортилось и мысли приняли критическое направленіе. Ему показалось, что всѣ пріѣзжавшія дамы отличались безобразіемъ, а кавалеры—глупостью и нахальствомъ. Очевидно, скука будетъ страшная. Но тутъ изъ залы вышла на лѣстницу сама баронесса: она сіяла румянцемъ и весельемъ, и двигалась со всею быстротой, какую позволяла ей пріятная, но неумѣренная полнота. За нею слѣдовали молодые люди. Они, повидимому, иначе смотрѣли на вещи, чѣмъ Мишель: имъ было вездѣ весело.

Веселые глаза Елены Владиміровны прямо остано-

вились на Мишелѣ. Она навинулась на него тутъ же, поцѣловала его въ лобъ, взяла подъ руку, мимоходомъ кого-то радостно привѣтствовала, что-то приказала, чему-то посмѣялась и увлекла племянника наверхъ въ балъную залу, грозя немедленно представить его всѣмъ ба-рышнямъ на всѣ кадрили.

Въ залѣ давно уже танцовали. Народу было мно-жество, но въ вальсѣ участвовало сравнительно мало. Мишеля отрекомендовали высокой, блѣдной и бѣловурой дѣвицѣ, которую онъ немедленно назвалъ въ душѣ ма-кароной и пригласилъ на туръ вальса. Послѣ вальса тетка подвела его къ другой дамѣ, которую онъ при-гласилъ на отдаленную кадрили. Оглядѣвъ залу, Мишель опять нашель, что хорошенькихъ нѣтъ, что балъ скуч-ный, а мужчины все какіе-то дураки,—и пошелъ бро-дить по гостинымъ. Гостинныя были почти пусты: кое-гдѣ молодой человѣкъ, изучающій передъ зеркаломъ эффектъ пробора и фрава; нѣсколько парочекъ по угламъ; тамъ и самъ скучающіе шапероны, временно отрѣшенные отъ своихъ обязанностей; въ одномъ креслѣ храпѣлъ толстый господинъ. Мишель взглянулъ на этого господина и вспомнилъ, что тутъ по близости должна быть голубая гостиная, а въ гостиной очень, очень покойный диванъ. Онъ направился къ этому убѣжищу, разсуждая, что, въ крайнемъ случаѣ, и кадрили про-спать можно, а время, между тѣмъ, до ужина пройдетъ. Рѣшительными шагами онъ вошелъ въ голубую гости-ную и подошелъ къ дивану, но мѣсто было занято.

При мягкомъ свѣтѣ стѣнныхъ лампъ, защищенныхъ матовыми шарами, Мишелю бросилось въ глаза что-то ярко красное, выступавшее на блѣдно-голубомъ фонѣ дивана. Это красное оказалось корсажемъ балънаго платья. Обладательница его уютно помѣстилась на ди-ванѣ, и когда Мишель вошелъ, она только что соби-ралась зѣвнуть, откинувъ голову на спинку дивана.

Услыхавъ шаги, она отказалась отъ своего намѣренія и быстро отвернулась, точно досада, что ей помѣшали. Такъ, по крайней мѣрѣ, показалось Мишелю, который остановился, какъ вкопанный, не спуская съ нея глазъ. Она, конечно, это замѣтила и сейчасъ же встала, собираясь удалиться.

Но Мишель остолебенѣлъ на мѣстѣ и разсматривалъ незнакомую дѣвушку, не заботясь о приличіяхъ. Онъ не могъ оторвать глазъ отъ ея лица, и это было, дѣйствительно, странное лицо. Въ немъ поражала не правильность чертъ, не строгость линий, которыя были, однако, очень изящны, но удивительная измѣнчивость выраженія и цвѣта. Съ перваго взгляда оно уже производило такое впечатлѣніе, что обладательница его живетъ скорѣе, чѣмъ обыкновенные люди, что ея мысли и ощущенія скорѣе смѣняются и весь ходъ духовной жизни отражается физически въ глазахъ и чертахъ лица. Вообще ея наружность представляла рядъ контрастовъ: тонкія черты, маленькая голова и очень развитыя плечи; нѣжное, мягкое очертаніе лица и немного презрительное, надменное выраженіе губъ; свѣтлыя пепельные волосы и темныя брови; нѣсколько блѣдный оттѣнокъ кожи и очень яркія губы. А глаза были всего удивительнѣе. Мишель втеченіе одной минуты увидалъ ихъ сѣрыми, черными, зелеными... Мѣнялся ихъ цвѣтъ — мѣнялось и выраженіе. Съ удивленнымъ взглядомъ, съ высоко поднятой головкой, она стояла предъ нимъ, ожидая, что онъ, наконецъ, дастъ ей дорогу или уйдетъ, а онъ все стоялъ и смотрѣлъ. Это было дерзко; это становилось глупо. Она подняла брови, опустила глаза и направилась къ двери, шурша длиннымъ треномъ, составлявшимъ рѣзкій контрастъ съ кроваво-краснымъ бархатнымъ корсажемъ, изъ котораго выдѣлялись, какъ изъ рамки, ея обнаженныя плечи и руки. Она была почти у двери, когда въ гостиной появилось новое лицо.

Рослый, пожилой господинъ, слегка переваливаясь, переступилъ черезъ порогъ, сейчасъ же сѣлъ на первое попавшееся кресло и громко обратился къ ней, съ отъѣвномъ неудовольствія въ голосъ:

— Помилуй, Соничка, куда ты запропастилась? я тебя вездѣ ищу!

— Сидѣла здѣсь и зѣвала, — спокойно отвѣчала Соничка.

— Что-жъ это такое, мой другъ? Для чего ты тутъ зѣвала, да еще одна, вдобавокъ? Отчего ты не танцуешь? Лучше поищемъ тетку и домой поѣдемъ, если ужъ соскучилась.

— Я потомъ буду танцевать, я не хочу домой. Я просто ушла отъ Калиновскаго...

Господинъ повосился на Мишеля, который не двигался съ мѣста, и продолжалъ:

— Ушла? Что за пустяки, въ чему ты ушла?

— А къ тому, что онъ пригласилъ меня на слѣдующую кадрили, а я его терпѣть не могу. Очень просто, папа.

— Ну, ужъ ты меня извини, это вздоръ. Лучше было просто отказать. Engagé — да и конецъ, — возразилъ папа.

— Нельзя было: мнѣ его баронесса сама подвела.

Дальше Мишель не слушалъ. Онъ поспѣшно отправился искать Елену Владиміровну и нашелъ ее очень скоро: она сидѣла недалеко отъ оркестра въ залѣ и вѣшала мороженое съ блюдечка, которое держалъ передъ нею огромный кирасиръ, пока другой кирасиръ, поменьше, обмахивалъ ее вѣеромъ. Всѣмъ троицъ было очень весело и они чему-то смѣялись.

Мишель сразу приступилъ къ дѣлу:

— Ma tante, поскорѣ представьте меня одной барышнѣ! Вы ее навѣрное знаете... Скорѣ, пока она не ушла... Пойдемте!

— Ты что? влюбился? Рау! подержите мороженое. Сейчас, пойдемъ... Давайте вѣрвь, Друцкой. Иду, Мишель, иду! Гдѣ?—заторопилась она, опираясь на его руку.

Мишель привелъ ее прямо въ голубую гостиную; но тамъ уже никого не было.

Они вернулись въ балную залу и—о, радость! Мишель увидѣлъ ее почти тотчасъ же: при яркомъ освѣщеніи ея кровавый корсажъ издали бросался въ глаза. Она вальсировала съ высокимъ гусаромъ, и оба составляли такую яркую, красивую группу, что Мишелю нетрудно было указать Еленѣ Владиміровнѣ предметъ своихъ поисковъ. Онъ съ трепетомъ освѣдомился, знаетъ ли она эту особу?

— Ахъ, Боже мой, конечно знаю! Прехорошенькая, особенно teint—совершенный перламутръ... У тебя отличный вкусъ!—весело сказала баронесса, направляясь въ тому мѣсту, гдѣ остановилась, послѣ вальса, требуемая дѣвица. Прежде, чѣмъ онъ успѣлъ опомниться, тетушка уже подвела его къ ней и, улыбаясь, проговорила:

— Позвольте вамъ представить моего племянника. Monsieur Загребскій — mademoiselle Муранова. Ему страшно хочется танцовать съ вами!

Бѣдный Мишель! Какое неприятное изумленіе отразилось въ странныхъ сѣрыхъ глазахъ, строго устремленныхъ на него. Она, очевидно, сразу узнала того несноснаго офицера, который такъ дерзко разсматривалъ ее въ голубой гостиной. Величавое пренебреженіе выразилось во всей ея фигурѣ и тонкія брови высоко поднялись. Однако, должно быть, она вспомнила, что его опять-таки подвела „сама баронесса“, и рѣшилась слегка улыбнуться, наклоня голову въ отвѣтъ на его поклонъ. Но онъ такъ смиренно пригласилъ ее на кадрили, что улыбка совсѣмъ расцвѣла на ея лицѣ

и въ глазахъ забѣгало множество лукавыхъ огоньковъ. Уже совершенно милостиво она увѣдомила его, что приглашена на всѣ кадрили.

— Въ такомъ случаѣ, позвольте васъ просить на мазурку.

— Мазурку я обѣщала недѣлю тому назадъ, — отвѣчала она, очевидно, чувствуя большое удовольствіе, что могла это сообщить.

Мишель чувствовалъ ея капризное наслажденіе и въ первый разъ въ жизни не находилъ, что кокетство и капризъ въ женщинѣ — пренепріятныя учрежденія, которыми противно подчиняться. И въ душѣ его въ первый разъ не поднялся протестъ противъ этой непрошенной власти.

Онъ сначала оторопѣлъ, но вдругъ ему пришла счастливая мысль.

— Для перваго знакомства, танцуйте со мною слѣдующую кадрили, — предложилъ онъ рѣшительно, — а Калиновскому мы скажемъ, что я васъ прежде пригласилъ.

— Калиновскому? А вы почему знаете, что я танцую съ Калиновскимъ? Ахъ, да! вы слышали...

Она вспомнила голубую гостиную, размѣялась и согласилась.

Все обошлось благополучно. Молодая дѣвушка была очень весела и съ самаго начала кадрили озадачила своего кавалера, спросивъ, съ какой стати онъ вообразилъ, что ей съ нимъ пріятнѣе танцовать, чѣмъ съ Калиновскимъ?

— Вы сами доказали это, согласившись танцовать со мною, — храбро отвѣчалъ Мишель.

— Нисколько не доказала. Я танцую съ вами, чтобы сдѣлать удовольствіе вашей тетушкѣ, которую очень люблю.

— Да? такъ это вы для тетушки...

— Конечно, для нея. А скажите, что это у васъ за манера разсматривать незнакомыхъ людей?

— У меня вовсе нѣтъ этой манеры...

— Нѣтъ? такъ это значитъ исключеніе въ мою пользу? Мегсі. Ну, еслибы вы не были племянникомъ вашей милой тетушки...

— Опять тетушка! Забудьте тетушку и мое глупое поведеніе, ради Бога. Я не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія быть дерзкимъ, но я такъ былъ пораженъ...

Мишель подумалъ, какъ бы это выразить, чѣмъ именно онъ поразился, и неожиданно вдругъ совралъ:—Вашей прической!—и поспѣшилъ взглянуть на ея голову.

И взглянулъ не даромъ: дѣйствительно, оказалось что-то необыкновенное въ убранствѣ этихъ вьющихся пепельныхъ волосъ, украшенныхъ вѣтвями бѣлыхъ цвѣтовъ.

— Такъ васъ поразила моя прическа...—проговорила молодая особа, и такъ наивно и серьезно посмотрѣла на него вдругъ широко раскрывшимися сѣрыми глазами, что Мишель счелъ необходимымъ оправдаться.

— Честное слово, у васъ совершенно необыкновенная прическа!—завѣрилъ онъ,—волосы такъ оригинально расположены, что я поневолѣ остановился и долго вспоминалъ, гдѣ я это видѣлъ?

— Гдѣ же? вспомнили?—спросила она серьезно, разсматривая своего vis à vis съвозъ рѣзбу костяного вѣера.

— Вспомнилъ. На одной медали, изображающей французскую республику.

— У меня куафюра, какъ у республики?

— И да, и нѣтъ: республику, видите-ли, всегда изображаютъ въ фригійской шапкѣ—волосы почти закрыты. А у васъ именно волосы образуютъ что-то похожее на bonnet phrygien. Да, совершенно!—говорилъ Мишель, очень серьезно оглядывая свою собесѣдницу.



Кадриль кончилась; Мишель отвелъ свою даму въ отцу и удостоился чести быть ему представленнымъ. Во весь слѣдующій вечеръ онъ протанцовалъ нѣсколько вальсовъ со своей новой знакомой, а остальное время простоялъ за ея стуломъ. Его нескрываемое вниманіе, повидимому, немало забавляло молодую дѣвушку, и время прошло незамѣтно для обоихъ до самаго ужина, за которымъ Мишель познакомился съ „ея тетужкой“.

Эта тетка оказалась сильно перерзѣлою дѣвицей, направлявшей всѣ свои силы въ тому, чтобы казаться молодою дамою; объ этомъ свидѣтельствовали ея томныя, нѣсколько искусственныя очи, дорогіе, шелковистые локоны, обильныя вѣтви разноцвѣтныхъ розъ, разсѣяныя по ея особѣ, и чрезмѣрно-открытый корсажъ бальнаго платья. Она кокетливо повернула въ Мишелю свое смятое, напудренное лицо и, сжимая слишкомъ красныя губы, протяжно выразила ему свое удовольствіе, по случаю знакомства съ „интереснымъ молодымъ человѣкомъ“, про котораго она столько уже слышала“...

— А ну, какъ и въ самомъ дѣлѣ слышала, чортъ бы ее побралъ!—подумалъ Мишель съ ужасомъ и безпокойно оглянулся на племянницу, соображая, какъ много нежелательнаго онѣ могли про него слышать. Но тетка, вѣроятно, соврала: ужъ если бы слышали, то съ нимъ, пожалуй, и разговаривать бы не стали; вѣдь не даромъ же Зинаида Сергѣевна называла его „un compromettant“...

Мишель взглянулъ еще на старую дѣвицу и положительно рѣшилъ, что она ничего объ немъ не слышала.

Ужинъ прошелъ превесело. Послѣ ужина снова начались танцы, но Мурановы уѣхали. Мишель имѣлъ удовольствіе посадить ихъ въ карету и остался на морозѣ въ смутномъ, восторженномъ настроеніи, какого никогда не испытывалъ прежде. Онъ самъ хорошенько

не понималъ, что именно онъ чувствуетъ; ясно было только одно, что спать онъ теперь не могъ и надо было куда-нибудь отнести свое небывалое настроеніе, кому-нибудь разсказать, разсказать хоть самому себѣ...

И Мишель пошелъ по троттуару, углубляясь въ морозный туманъ ранняго петербургскаго утра и разсказывая себѣ по порядку, со всѣми подробностями, все, что случилось за эту ночь.

### III.

Зинаида Сергѣевна была въ отчаяніи. Она приказала закладывать карету и поѣхала по своимъ знакомымъ разсказывать, что она въ отчаяніи. Вторая дочь ея, Зиночка, отказала Романовичу, — imaginez vous! Наканунѣ вечеромъ, се раууге Романовичъ самъ сказалъ ей о своей *déconfiture*, когда она только что передъ тѣмъ оторизировала его поговорить съ Зиночкой. У Ивана Владиміровича нѣтъ сердца — онъ не понимаетъ этого; онъ даже радуется, узнавъ, чѣмъ кончилось искательство бѣднаго молодого человѣка. Зинаида Сергѣевна ѣздила по Петербургу и въ десятый, въ сотый разъ разсказывала свое горе — *sa douleur maternelle*.

Между тѣмъ, безчувственная Зина была очень весела; ея безсердечный отецъ хохоталъ на всю квартиру и безпрестанно приставалъ къ дочери, распришивая о подробностяхъ неудавшагося романа.

— Воображаю, какая у него была глупая рожа! Что же онъ сказалъ, когда ты ему носъ натянула, а? Зина!

— Ничего не сказалъ, папа, право! — краснѣя и смѣясь, отвѣчала Зина, немножко гордая тѣмъ обстоятельствомъ, что ей было сдѣлано предложеніе, и довольная сознаниемъ своей самостоятельности въ этомъ случаѣ.

— Ну, вотъ — ничего! У тебя все — ничего. Для такого необыкновеннаго случая могла бы быть поостероженнѣе.

— Тутъ нечего быть откровенной, папа; онъ ничего замѣчательнаго не сказалъ... Глупости какія-то!

— Онъ всегда глупости говорить. Онъ дуракъ, а ты у меня умница. Ты это хорошо сдѣлала!..

— Вотъ папан этого не находитъ, — улыбаясь произнесла Зина и переглянулась съ сестрой.

— Мапан твоя... — началъ было Иванъ Владиміровичъ, но въ нерѣшительности остановился. Къ счастью, Зина избавила его отъ труда продолжать начатую фразу и радостно объявила: — Вотъ и Миша!

Дѣйствительно, Мишель вошелъ въ комнату. Тутъ ужъ и безъ него было весело, благодаря „деконфитюрѣ“ Романовича и отсутствію папан, а Мишель принесъ съ собою новый запасъ веселости, и всѣ члены семьи сразу увидѣли это по его лицу. Съ небывалою нѣжностью онъ поцѣловалъ сестеръ и, тотчасъ же помѣстившись на качалкѣ, принялся раскачиваться съ такимъ сіяющимъ, довольнымъ видомъ, какого давно не видали его домашніе.

— Миша! вѣрно ты опять наслѣдство получилъ? — освѣдомилась Зина.

— Представь себѣ, что нѣтъ. А что? — спросилъ Мишель, очень хорошо чувствовавшій, что сестра имѣла основаніе найти особую причину его прекраснаго расположенія духа.

— А вотъ спроси-ка Зину, что она получила! — съ торжествомъ посоветовалъ Иванъ Владиміровичъ. Тогда Мишелю сообщили о важномъ событіи, совершившемся въ домѣ, и онъ, какъ нѣжный сынъ, принялъ достойное участіе въ общемъ веселіи.

Болѣе или менѣе остроумныя варіаціи были въ полномъ разгарѣ, когда въ гостиную вошла сама Зинаида

Сергѣевна. При ея появленіи дѣвицы съ необыкновенною живостью заговорили о французскомъ театрѣ, Мишель мгновенно углубился въ чтеніе руководящей статьи „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“, а глава семейства, обезпокоивъ собственную особу, увязшую въ креслѣ передъ каминомъ, всталъ и исчезъ въ боковую дверь.

Зинаида Сергѣевна сегодня рѣшилась быть послѣдовательной. Она опустилась на возетку, по сосѣдству съ качающимся и читающимъ Мишелемъ, томно забилась въ уголокъ сидѣнья, согнувши необыкновенно тонкій и молодежавый станъ, и съ подавленнымъ видомъ принялась за стягиваніе слишкомъ узкихъ перчатокъ.

Мишель читалъ. Дѣло шло объ ужасающихъ злоупотребленіяхъ гдѣ-то, по какому-то вѣдомству — онъ не разобралъ хорошенько, потому что началъ съ третьяго столбца.

Мать подняла брови.

— Мишель, — заговорила она протяжно, — ты знаешь?..

— Ахъ да, шамап, деконфитюра; слышаль, — отвѣчалъ онъ, покорно оставляя газету.

— Да, именно, *mon ami. La déconfiture de ce pauvre Romanovitch! Mesdemoiselles!* вы бы пошли къ себѣ.

Дѣвицы вышли, и Мишель остался наединѣ съ матерью.

— Мишель, ты имѣешь на нее вліяніе! Я тебя прошу ее вразумить, — сказала Зинаида Сергѣевна убѣдительно.

Мишель раскачивался, наблюдая лѣпные карнизы.

— Мой другъ, вся моя надежда на тебя... Ты обѣщаешь, да? *N'est-ce pas?* — продолжала мать, тревожно взглядываясь въ лицо возлюбленнаго сына.

Мишель, вмѣсто отвѣта, раскачнулся съ новымъ усердіемъ; онъ чувствовалъ себя прекрасно, несмотря на приставанія матери, потому что успѣлъ побывать у своей дорогой тетюшки и она обѣщала устроить ему

знакомство съ Мурановыми. Это обстоятельство положительно измѣняло всё его возрѣнія: мамап могла привязываться сколько угодно.

— Ахъ, ты меня вовсе не понимаешь, Мишель! ты мнѣ на нервы дѣйствуешь avec cette affreuse качалка! Я тебя прошу: отнесись серьезно... отнесись серьезно! — упрашивала Зинаида Сергѣевна.

Мишель раскочулся отъ всего сердца и порѣшилъ какъ-нибудь удрать.

На его счастье, приблизился часъ обѣда и привелъ въ гостиную одного изъ привычныхъ посѣтителей, безъ которыхъ не обходился почти ни одинъ обѣдъ. Иванъ Владиміровичъ терпѣть не могъ садиться за столъ безъ гостей, по многимъ причинамъ и главное потому, что присутствіе постороннихъ поддерживало хорошее расположеніе духа его жены. Въ настоящемъ случаѣ появленіе друга дома оказалось не безъ пріятности: Зинаида Сергѣевна тотчасъ имъ завладѣла и приступила къ изложенію своей *douleur maternelle*.

Мишель съ облегченнымъ сердцемъ предался качалкѣ и пріятнымъ размышленіямъ, пока изъ мамашинаго угла до него долетали слова: „déconfiture“, „камеръ-юнкверъ“ и проч., и проч. Онъ самъ не замѣтилъ, какъ глаза его сомкнулись, и подъ тихій ропотъ материнскихъ жалобъ чуть было совсѣмъ не уснулъ, но тутъ доложили, что кушать подано.

Онъ сидѣлъ за обѣдомъ и радовался. Радовался тому, что было внутри его. Онъ никакъ не называлъ этого чувства, и можетъ быть, даже не подозрѣвалъ, что это была любовь; но онъ ее чувствовалъ и сіялъ. Зина не могла не обратить на это вниманія и замѣтила, что „Миша сіяетъ, какъ мѣдный грошъ“, за что немедленно получила отъ матери замѣчаніе: — Зина! quelle expression!

А между тѣмъ, это дѣйствительно было такъ: ему

было до того хорошо, что онъ чувствовалъ потребность сдѣлать кому-нибудь пріятное и вообще подѣлиться своими чувствами.

Случай скоро представился. Можетъ быть, въ сотый разъ Зина стояла у окна, выходящаго на Англійскую набережную, и толковала о томъ, какъ она любитъ эти чудные морозные, лунные вечера, какъ должно быть хорошо теперь гулять по набережной, какъ ей этого хочется, и вотъ нельзя! Потому что одну не пустякъ, а кто же съ ней пойдетъ? Не Миша же... лѣнтяй!

Мишель не разъ слыхалъ такіе монологи своей младшей сестры, но обыкновенно они не производили на него дѣйствія. Онъ великодушно допускалъ называть себя лѣнтяемъ и не опровергалъ этого мнѣнія. Но въ этотъ необыкновенный вечеръ онъ совершенно растаялъ отъ внутренней радости и готовъ былъ на всякія добрыя дѣла, а потому удивилъ Зину предложениемъ сопровождать ее на желанную набережную, и еще куда-нибудь, и даже всюду, куда она захочетъ.

Зина въ восторгѣ побѣжала одѣваться, и черезъ нѣсколько минутъ они шли по широкому гранитному троттуару, усыпанному пескомъ поверхъ искрящагося снѣга.

Дѣйствительно, былъ чудный зимній вечеръ. Воздухъ не отличался мягкостью; напротивъ, морозъ стоялъ порядочный; но это-то и было хорошо. Отъ этого мороза, въ воздухѣ было что-то необыкновенно пріятное, доброе; онъ подзадоривалъ скоро идти, твердо ступать на хрустящій, блестящій снѣгъ, прямо смотрѣть въ хрустально-прозрачное, серебристо-синее небо: На небѣ сіяла луна. Но это не была блѣднотелая, сентиментальная луна нѣмецкихъ романсовъ: это была яркая, сильная, мужественная луна, свѣтившая энергично и холодно. Ея не скрывали никакія легкія облачка, никакіе причудливые пары; всякимъ облач-

камъ и парамъ было холодно, они съжились и спрятались отъ мороза; ей никто не мѣшалъ свѣтить. Очертанія домовъ и покрытыхъ инеемъ деревьевъ чисто выступали на фонѣ вечернаго неба; рѣзкость и чернота тѣней, серебряное сверканіе крышъ и оконъ, отражавшихъ луну, бѣлизна стѣнъ, освѣщенныхъ ея свѣтомъ— все вмѣстѣ превращало сѣрый, тусклый Петербургъ въ какой-то таинственный, чудный, серебряный городъ. Даже печальная при дневномъ освѣщеніи, бѣлая ска-терть Невы приобрѣтала необыкновенный, красивый колоритъ: она разстилась и уходила вдаль, подъ темныя арки мостовъ, широкою серебряной дорогой, на которой мѣстами сверкали ряды вырѣзанныхъ льдинъ, отливавшихъ фантастическими зелеными цвѣтами. Лунный свѣтъ обливалъ все, проникалъ всюду и жестоко смѣялся надъ жалкими, беспомощными точками газовыхъ фонарей, пропадавшихъ въ его бѣлыхъ потокахъ. Луна соглашалась свѣтить на весь Петербургъ вообще, но, казалось, ей нравился главнымъ образомъ Исаакиевскій соборъ. Ею она, должно быть, считала наиболѣе достойнымъ отражать свой свѣтъ и на его куполѣ соединила цѣлый снопъ яркихъ лучей.

Зина находила, что никогда еще не бывало такого вечера, какъ сегодня, и Мишель вполне соглашался съ нею. Они шли вдоль по набережной все прямо, мимо Николаевского моста.

— Что можетъ быть лучше нашего сѣвера! — восклицала Зина. — Ну, гдѣ еще есть такая зима, такой славный, веселый воздухъ? Нигдѣ, нигдѣ!

— Да, да. Я совершенно согласенъ... Впрочемъ, теперь мнѣ рѣшительно все ужасно пріятно. Если бы ты знала, Зина...

Мишель почувствовалъ приливъ необыкновенной откровенности, потребность много-много рассказать сестрѣ, — но собственно что же рассказывать? Что случилось?

Онъ самъ не зналъ, и потому остановился. Но Зина сейчасъ поняла то, чего онъ самъ въ себѣ не понималъ и прямо выговорила это.

— Ты влюбленъ, да? Милый, милый Миша! Ты мнѣ все расскажешь? Какъ *ее* зовутъ?

— Ее зовутъ Соничкой, т. е. Софьей,—отвѣчалъ онъ не задумываясь.

— Софья мнѣ не нравится, а Соничка хорошенькое имя. Какая она? Блондинка, навѣрное?

Зина сама была почти что брюнетка, и потому первымъ условіемъ красоты считала цвѣта, противоположные своимъ.

— Какъ тебѣ сказать... Она не блондинка и не брюнетка, хотя скорѣе блондинка. Она—необыкновенная!

— И навѣрное страшная кокетка? — продолжала спрашивать Зина, весело взглянувъ на брата.

Онъ шелъ съ блаженнымъ, задумчивымъ лицомъ, смотрѣлъ прямо передъ собою куда-то въ пространство, и видѣлъ въ этомъ пространствѣ *ее*. Онъ разсматривалъ ее восторженнымъ, мысленнымъ взоромъ, наслаждаясь этимъ созерцаніемъ и желая сообщить Зинѣ самыя точныя свѣдѣнія. Слова сестры заставили его улыбнуться.

— Да, опа кокетка ужасная. Но вмѣстѣ съ этимъ она удивительно милая. Я ее видѣлъ одинъ разъ...

— Какъ, только разъ?—удивилась Зина.

— Да; всю прошлую ночь, на балѣ. Теперь я съ ней познакомлюсь и надѣюсь, что ты ее также увидишь. Ее описать нельзя: надо видѣть. Лучше ея ничего не можетъ быть, честное слово, Зина!

— Ну, это, положимъ, ты влюбленъ, ты это и находишь,—произнесла Зина тономъ опытной, солидной особы, искушенной въ подобныхъ дѣлахъ.—А хотѣла бы я знать: ты влюбленъ, или ты ее любишь?—прибавила она еще солиднѣе.



— То есть какъ же?—Конечно, люблю, если влюбленъ. Какая ты смѣшная, Зина!

— Нѣтъ, извини. Это большая разница!—съ жаромъ возразила Зина:—влюбленнымъ можно быть тысячу разъ, и это очень скоро проходить, а настоящая любовь бываетъ только одинъ разъ и не проходитъ никогда... Никогда! съ увѣренностью сказала она.

— А ты почему знаешь? Ты испытала?

— Я, конечно, была влюблена, много разъ... Но любви... Нѣтъ, я еще слишкомъ молода. Да и ты, Миша, еще не доросъ!

— Сдѣлай одолженіе... не доросъ!—обидѣлся Мишель.—Говори про себя, сударыня!

— Я говорю про себя, а потому и про тебя. Мнѣ семнадцать лѣтъ, а тебѣ двадцать шесть; слѣдовательно, ты годомъ моложе меня,—заключила она серьезно.

— Это что же за ариѳметика? Объяснись, душа моя!—И Мишель даже остановился отъ изумленія.

— Я не точно выразилась. Вотъ видишь: мужчины развиваются позже женщинъ...

— Ну, ужъ извини!

— Позже!—упорствовала Зина.—Такъ что мужчина въ двадцать шесть лѣтъ все равно, что дѣвушка въ шестнадцать, а мнѣ семнадцать—значитъ, ты годомъ моложе меня. А, впрочемъ, расскажи мнѣ лучше про Соничку. Что она, влюблена въ тебя?

— Не знаю. Не думаю,—вздыхнулъ Мишель.

— Тѣмъ лучше.

— Какъ, тѣмъ лучше?

— Конечно. Еслибъ она въ тебя сразу влюбилась, она бы тебѣ сейчасъ разправила. А если она въ тебѣ равнодушна, тутъ-то ты и привяжешься. Всѣ вы такіе.

— Вообще, это, пожалуй, правда, согласился онъ.— Но тутъ совсѣмъ другое: я буду ее любить, что бы она ни чувствовала во мнѣ, во что бы то ни стало.

— Значить, ты воображаешь, что ты серьезно любишь ее?

— Не воображаю, а действительно люблю.

— Значить, ты хочешь жениться на ней? продолжала Зина съ безпощадною логикой.

Мишель оторопѣлъ... — Жениться! Ахъ, впрочемъ... конечно!

— Да, хочу; непременно хочу! — рѣшительно заявилъ онъ. — И сдѣлаю для этого все на свѣтѣ.

— Миша, дай Богъ, чтобы это у тебя было серьезно и чтобы удалось. Я бы ужасно желала этого. Но это не можетъ быть — это слишкомъ скоро... А мнѣ очень хочется ее видѣть, — прибавила она задумчиво.

— Я надѣюсь, что увидишь. Повернемъ назадъ, Зина; посмотри, какъ мы далеко.

На обратномъ пути оба молчали. Трогательнаго изліянія не вышло, но такъ или иначе все было сказано, что Мишель хотѣлъ сказать. И довольные своей прогулкой, своими дружескими отношеніями, они шли быстро, наслаждаясь бодрымъ холодомъ воздуха и таинственною красотою зимней ночи.

Дома ихъ отсутствіе не было замѣчено. Иванъ Владиміровичъ пребывалъ въ клубѣ; Лена совершенно углубилась въ кресло и въ новый англійскій романъ. Мать, весьма languissante, сидѣла съ ногами на кушеткѣ и курила пахитоски; невдалекѣ помѣщался другъ дома, очень хорошо сохранившійся, видный, надушенный господинъ съ бакенбардами, подернутыми сѣдиной, и съ удивительнымъ проборомъ въ порѣдѣвшихъ волосахъ. Во всемъ домѣ господствовала приличная, комъ-иль-фотная тишина; и среди этой тишины изъ гостиной доносился томный голосъ Зинаиды Сергѣевны, убѣдительно говорившей другу дома:

— Вы не можете меня понять! Vous n'avez jamais été mère!

## IV.

Мишель пропалъ; однако, теперь его не называли пропащимъ человѣкомъ, хотя это, дѣйствительно, было бы встать. По логикѣ матери, онъ не былъ пропащимъ, потому что не дѣлалъ долговъ. Мишель исчезъ для всего „своего“ міра, но за то проявился въ новомъ: онъ пронадалъ у Мурановыхъ. Что онъ тамъ дѣлалъ— съ точностью опредѣлить было невозможно. Главнымъ образомъ, онъ влюблялся въ Соничку и игралъ въ шахматы съ ея отцомъ, который необыкновенно скоро привыкъ къ нему и находилъ очень естественнымъ, что нашъ герой почти поселился у него въ домѣ.

Расположеніе Петра Александровича Муранова къ молодому человѣку обуславливалось тремя обстоятельствами: во-первыхъ, Мишель нравился Соничкѣ, во-вторыхъ— игралъ въ шахматы, въ-третьихъ— угодилъ Платону. А угодить Платону было великое дѣло, такъ какъ безъ его благосклонности человѣкъ рѣшительно ничего не значилъ въ этомъ домѣ.

Платонъ былъ камердинеръ, состоявшій при Петрѣ Александровичѣ для изнашиванія его платья, куренія его сигаръ, а также для глотанія его гомеопатіи. Петръ Александровичъ всегда лѣчился отъ неопредѣленныхъ болѣзней, и Платонъ помогалъ ему истреблять его лѣкарства, находя всякое лѣченіе для себя полезнымъ. Баринъ очень жалѣлъ бѣднаго Платона и часто съ меланхоліей объяснялъ своимъ знакомымъ, что его камердинеръ ужасно страдаетъ нервами. Платону иногда дѣлалось дурно, особенно, если Петръ Александровичъ позволялъ себѣ сомнѣваться въ пригодности для него своихъ жилетовъ или носовыхъ платковъ. Впрочемъ, это случалось рѣдко. Сестрицѣ барина, Прасковѣ Александровнѣ, чрезвычайно нравились усы Платона; стало быть, онъ былъ безопасенъ и съ этой стороны. Что ка-

сается до Сонички, она попробовала было избавить отца отъ диктатуры камердинера, но въ первый разъ въ жизни встрѣтила со стороны Петра Александровича рѣшительный отпоръ. Объявивъ ему однажды, чтобы онъ выбиралъ между нею и Платономъ, она получила въ отвѣтъ: „Помилуй, мой другъ, ты, можетъ быть, надняхъ выйдешь замужъ, а Платонъ всегда при мнѣ останется. Какъ же мнѣ безъ него, сама посуди!“ Она покорилась; Платонъ утвердился на прочныхъ основаніяхъ и навѣки завладѣлъ баринотъ. Лѣтомъ, между нимъ и Петромъ Александровичемъ иногда возникали несогласія, потому что въ деревнѣ Платонъ особенно любилъ отдыхать на лонѣ природы, такъ что баринъ никогда не могъ удостоиться его лицедрвінія. Въ такихъ случаяхъ Мурановъ съ неожиданнымъ геройствомъ отказывалъ ему отъ мѣста; Платонъ величественно удалялся на село къ священнику, тамъ оставался, по большей мѣрѣ, два дня, и снова призывался на царство. Послѣ такихъ размолвоевъ онъ снисходительно принималъ отъ барина, въ залогъ примиренія, запонки или серебряный портъ-сигаръ, и жизнь снова текла обычнымъ порядкомъ. Въ тѣ же минуты, когда Мурановъ мимолетно сердился на своего камердинера, подъ вліяніемъ своего вспыльчиваго нрава, онъ имѣлъ обыкновеніе громогласно ругать его на французскомъ языкѣ, чтобы все-таки не оскорбить его чувствительности и не разстроить его нервовъ. Неотъемлемое достоинство Платона составляла его честность: онъ никогда не воровалъ, и когда присваивалъ себѣ барскія вещи, то всегда дѣлалъ это открыто, предъ лицомъ всего свѣта, съ полною увѣренностью, что имѣетъ на то право. Нашъ герой почему-то пришелся ему по вкусу и сразу былъ принятъ подъ его покровительство. Между прочимъ, Мишель угодилъ ему за обѣдомъ, обнаруживъ глубокое познаніе и тонкое пониманіе винъ, чего, къ величайшему

прискорбію Платона, рѣшительно недоставало Петру Александровичу, который предпочиталъ шампанское всѣмъ винамъ, а сладкую шипучку—шампанскому. Платонъ съ горечью сообщилъ Мишелю, что баринъ не умѣетъ отличить хереса отъ портвейна, и что съ полставки лафита у него въ головѣ шумить. Мишель пожалѣлъ объ этомъ вмѣстѣ съ чувствительнымъ камердинеромъ, и съ этой минуты они стали друзьями. Это скоро замѣтила и Соничка.

— Ну, вы у насъ совсѣмъ получили право гражданства,—смѣясь сказала она однажды послѣ обѣда.— Платонъ рѣшительно къ вамъ благоволитъ; значить, вамъ больше и желать нечего.

На это Мишель не замедлилъ отвѣтить очень глупо, что ему дѣла нѣтъ до Платона и что вовсе не въ томъ дѣло, чтобы Платонъ... Петръ Александровичъ явился во-время, чтобы выпутать его изъ затруднительной фразы и повелъ къ шахматному столу.

Игра въ шахматы продолжалась иногда цѣлый вечеръ. Мурановъ до крайности любилъ это занятіе и игралъ очень хорошо, распѣвая во все время тоненькимъ голоскомъ чувствительные романсы, преимущественно „Скинь мантилью, ангелъ милый“, и „Не искушай меня безъ нужды“. Случалось иногда, что, позабывъ о своемъ будто бы болѣзненномъ состояніи, онъ увлекался за обѣдомъ и до того наѣдался, что не могъ играть въ шахматы и сладко спалъ въ креслѣ. Тогда Мишель блаженствовалъ: онъ разговаривалъ съ Соничкой или, лучше сказать, слушалъ ея рассказы, такъ какъ самъ онъ ужасно глупѣлъ въ ея присутствіи и просто не находилъ словъ. Иногда имъ мѣшала Праксovia Александровна, пускавшаяся въ безконечныя конфиденціи о томъ, какъ вся молодежь московскаго полка повлюблялась въ нее на одномъ балѣ, какъ баронъ Пельцъ не могъ безъ нея жить, а его кузина

ужасная дура, и проч. Ея рассказы сильно надоѣдали Мишелю, а главное мѣшали вполнѣ наслаждаться присутствіемъ Сонички. Сколько бы онъ ни видѣлъ ее, сколько бы ни говорилъ съ нею, ему все казалось мало: весь интересъ его жизни сосредоточился на ней. Домой онъ заходилъ главное для того, чтобы поговорить о ней съ Зиной. Познакомить ихъ ему не удалось: онѣ встрѣтились однажды на танцевальномъ вечерѣ, но обошлись другъ съ другомъ такъ церемонно и сухо, что каждая осталась недовольна. Зина объявила брату, что „его Соничка“ очень хорошенькая, но страшно надменная, и навѣрно холодная кокетка; а Соничка нашла, что Зина должно быть совсѣмъ пустая, легкомысленная дѣвочка. Мишель сначала огорчился, но вскорѣ позабылъ объ этомъ, такъ какъ ни о чемъ не думалъ, кромѣ того, чтобы завтра пойти въ Мурановымъ, и это „завтра“ повторялось каждый день.

Такъ прошло два мѣсяца и наступилъ великій постъ. Мишель вдругъ точно очнулся и принялся размышлять о своей судьбѣ. Случилось это съ нимъ потому, что у Мурановыхъ пошли толки объ отъѣздѣ въ деревню, и онъ вдругъ сообразилъ, что они скоро уѣдутъ и ему больше нельзя будетъ въ нимъ ходить. Ужъ и прежде, втеченіе своего двухмѣсячнаго пребыванія въ семействѣ, онъ нерѣдко слыхалъ разговоры о деревнѣ и замѣчалъ, что Соничка съ необыкновенною любовью вспоминала свое Петровское. Но все это слушалъ онъ смутно, потому что пребывалъ въ какомъ-то чаду, и больше обращалъ вниманіе на звукъ ея милаго голоса, чѣмъ на смыслъ того, что она говорила. Помнилъ онъ, напримѣръ, что одинъ разъ на ней все платье серебрилось и глаза ея были тогда почему-то зеленые; въ другой разъ онъ замѣтилъ въ нихъ совсѣмъ голубой отгненокъ, и по этому поводу началъ про себя сочинять стихи. Первая строчка сейчасъ же нашла: „Твой

лазурные глаза“... Но дальше онъ ничего не могъ придумать, и ему страшно надоѣло слово „аза“, которое неотвязно лѣзло въ голову и просилось въ риѣму.

Когда ему случалось бывать въ оперѣ вмѣстѣ съ Мурановыми, онъ сидѣлъ въ ложѣ позади Сонички и совсѣмъ ничего не видѣлъ, кромѣ нея; музыка куда-то исчезала; исчезали всѣ звуки, кромѣ ея голоса, всѣ лица, кромѣ ея лица. Такое состояніе было довольно бессмысленно, но очень пріятно, и вдругъ приходилось съ нимъ распротисться. Когда онъ ясно сообразилъ, что Соничка скоро уѣдетъ, на него нашло глубокое уныніе.

Мишель заперся на своей половинѣ и въ первый разъ въ жизни принялся анализировать свои чувства.

Итакъ, она скоро уѣдетъ, и надолго. Что же будетъ? Онъ, конечно, не перестанетъ о ней думать и ее любить; ну, а она? Онъ въ первый разъ спросилъ себя, любить-ли она его? И началъ припоминать всевозможные разговоры и случаи, надѣясь отыскать какое-нибудь доказательство ея взаимности. Доказательства не нашлось ни одного — Мишель съ горечью сознался себѣ въ этомъ. Онъ могъ утѣшаться тѣмъ, что если она его не любила, то не любила еще и никого другого. У него столько же шансовъ на ея любовь, какъ и у всѣхъ другихъ ея знакомыхъ, даже больше, потому что, насколько онъ могъ замѣтить, до сихъ поръ она предпочитала его обществу всѣмъ другимъ. Правда, она относилась къ нему совершенно какъ сестра или какъ товарищъ; она даже совсѣмъ перестала съ нимъ кокетничать, что дѣлала по привычѣ въ первое время ихъ знакомства. Но въ этомъ еще нѣтъ большой бѣды: пока она не влюблена ни въ кого другого, можно на все надѣяться. Всѣхъ ея городскихъ знакомыхъ Мишель видѣлъ и могъ съ увѣренностью связать, что никого изъ нихъ она не любила. Вотъ

развѣ въ деревнѣ? Да кто же можетъ быть въ деревнѣ? Попъ да становой, только и всего. Это соображеніе значительно утѣшило влюбленнаго, хоть и не совсѣмъ.

„Какъ это я до сихъ поръ не знаю ея вкусовъ?“ — размышлялъ Мишель. — „Какъ я не узналъ, что ее тянетъ въ эту провлятую деревню, и нѣтъ-ли тамъ чего особеннаго? Хорошо, она теперь ни въ кого не влюблена; но вѣдь это можетъ случиться каждый день, мало-ли что бываетъ... Нѣтъ, такъ нельзя!“

Онъ убѣдился, что нельзя, и съ этою увѣренностью отправился поскорѣе къ Мурановымъ, послѣ трехдневнаго отсутствія.

Хозяинъ дома встрѣтилъ его шумными изъявленіями радости; Платонъ—любезною улыбкой; Соничка очень мило протянула ему руку. Но Мишель страшно нахмурился. Какъ разъ, когда онъ собрался провести вечеръ семейнымъ образомъ и побольше поговорить съ нею, онъ засталъ у Мурановыхъ совершенно лишнихъ гостей. За чайнымъ столомъ, кромѣ тетушки Прасковьи Александровны и пріятеля доктора, сидѣли два неизвѣстныхъ ему лицеиста, дальніе родственники. Мишеля сильно раздосадовали эти лицеисты, особенно одинъ, съ усиками, очевидно, фать страшный.

Еслибы Мишель не былъ влюбленъ, онъ бы тотчасъ замѣтилъ, что эти молодые люди, называвшіеся Полемъ и Жоржемъ, чуть не давились каждую минуту отъ изыщества и употребляли такия изысканныя французскія выраженія, что всякаго француза непременно бы стошнило отъ нихъ. Онъ увидѣлъ бы, что глаза его возлюбленной Сонички въ этотъ вечеръ были совершенно зеленые, и полны то неудержимаго смѣха, то злого огня. Но ничего не понималъ злополучный влюбленный, и ему, напротивъ того, казалось, что Соничка очень весело слушаетъ Поля и съ великимъ удовольствіемъ смотритъ на Жоржа.



Жоржъ съ большимъ апломбомъ называлъ Соничку гузиной, а Поль услаждалъ ее интересными подробностями относительно нѣкоей гнѣдой Фатимы, которая, по его словамъ, имѣла „des jarrets magnifiques“.

Мишель отъ негодованія пролилъ свой чай на ска-терть, причеиъ подмѣтилъ снисходительную улыбку на устахъ лицестовъ, что окончательно привело его въ бѣшенство. На его счастье, эти очаровательные молодые люди, подѣлившись съ Соничвой свѣдѣнiями о Фатимѣ и сообщивъ всѣмъ присутствующимъ о своемъ близкомъ знакомствѣ съ многими послами и посланниками, сочли за нужное вѣжливо распроститься и уйти.

Мишель вздохнулъ свободно, а Петръ Александровичъ громогласно объявилъ, что „терпѣть не можетъ этихъ Полей и Жоржѣй“, дѣлая ударенiе на послѣднемъ слогѣ. Только Прасковья Александровна вступилась за молодыхъ людей, запальчиво утверждая, что у Жоржа удивительно топкая талия... На это ея братъ только пожалъ плечами, а Соничка разсмѣялась.

— Нечего сказать, удивительное достоинство для молодого человѣка!—замѣтила она.

— Соничка, ты сама себѣ противорѣчишь! Ты всегда говорила, что для мужчины—главное фигура, а Жоржъ удивительно какъ сложенъ!

— Удивительно, удивительно!—передразнилъ Мурановъ тонкимъ голосомъ.

— Пожалуйста, безъ глупостей, Пьеръ!—обидѣлась Прасковья Александровна.—Терпѣть не могу несправедливостей! Какъ же, Соничка, ты сама говорила...

— Я совсѣмъ не то говорила, тетя. Я говорила, что мнѣ нравятся мужественныя фигуры, что я не люблю мизерныхъ и мелвихъ мужчинъ...

— Ну да,—невозмутимо продолжала старая дѣва,—и я тоже говорю. Сложенiе, это главное. Да еще волосы... Я просто не понимаю, какъ можно носить

фальшивые шиньоны? Я не скрываю, что у меня свои волосы, я этимъ горжусь!

Петръ Александровичъ сѣлъ играть въ шахматы съ докторомъ, а Мишель предложилъ Соничеѣ походить по залѣ. Она тотчасъ согласилась. У нихъ въ домѣ царилъ полнѣйшая свобода, что произошло отчасти отъ того, что Мурановъ очень рано овдовѣлъ и некому было вводить свѣтскую дисциплину. Прасковья Александровна жила большею частію за границей, и хозяйкою дома, или, лучше сказать, его царицею была Соничеа, надъ которой никогда не бывало никакой власти. Отецъ находилъ всегда прекраснымъ все, что она дѣлала, и баловалъ ее безконечно. У ней перебывало множество гувернантокъ и учителей; ее много учили, но никто не воспитывалъ. Ея умъ подвергся различнымъ влияніямъ и обработкамъ, а характеръ выросъ и сложился самъ собою, почти по произволу судьбы. Можетъ быть, отъ этого происходила нѣкоторая рѣзкость и рѣшительность ея рѣчей и движеній, не смягченныхъ материнскимъ взглядомъ и словомъ. Матери своей она совсѣмъ не помнила; ей казалось, что ея и не было никогда. Все, что ей осталось отъ матери, былъ блѣдный дагерротипный портретъ и могила съ бѣлымъ мраморнымъ ангеломъ на Петровскомъ сельскомъ кладбищѣ. Мать для нея была не воспоминаніемъ, а миеомъ, и въ дѣтствѣ, которое она все провела въ деревнѣ, образъ матери неразрывно связанъ въ ея дѣтскомъ представленіи съ бѣлой мраморной фигурой на ея могилѣ. Она привыкла сама дѣйствовать и рѣшать за себя, сама отвѣчать за свои поступки, и часто сознавала всю тяжесть этой отвѣтственности. Лучше всего въ ея жизни была полная, безграничная свобода, свобода думать и дѣйствовать, какъ она хотѣла. Теперь ей захотѣлось идти въ залу съ Мишелемъ, и ей въ голову не пришло, чтобы это могло считаться неприлич-

нымъ. Они часто ходили взадъ и впередъ по этой залѣ и разговаривали тамъ въ полутьмѣ, при слабомъ отблескѣ камина, освѣщавшаго красноватымъ свѣтомъ золотыя рамы картинъ, неясно-блѣвшія стѣны и группы широколиственныхъ растений, рисовавшихся на фонѣ обоянъ и зеркаль.

Очутившись въ этой спокойной, едва освѣщенной комнатѣ, Мишель почувствовалъ приливъ необыкновенной храбрости и прямо заговорилъ о томъ, что его такъ сильно занимало.

— Софья Петровна, зачѣмъ вы такъ скоро ѣдете въ деревню?—спросилъ онъ.

— Совсѣмъ не скоро: я надѣялась уѣхать на вербной недѣлѣ, а не знаю, удастся-ли. Кажется, папа откладываетъ до еоминной,—сказала она со вздохомъ.

— На вербной? Что же вы тамъ будете дѣлать?

— Какъ, что дѣлать? Да я только тамъ и дѣлаю что-нибудь. Въ Петровскомъ мы всегда живемъ до ноября, а уѣзжаемъ туда на вербной.

— Я рѣшительно не понимаю, какъ вы не скучаете въ деревнѣ! Съ вашимъ живымъ характеромъ, съ вашей общительностью, вы должны были бы ненавидѣть деревенскую жизнь!

— Во-первыхъ, вспомните, что я выросла въ Петровскомъ: до двѣнадцати лѣтъ я никогда не выѣзжала отсюда—этого одного довольно, чтобы его любить. А скучать тамъ даже невозможно. Я вообще не знаю, что такое скука. Я иногда тоскую, но никогда не скучаю. У меня въ Петровскомъ такъ много хорошихъ занятій, такъ много дѣла...

— Вѣроятно, вы занимаетесь школами и больницами? Больше я ничего и придумать не могу для деревни.

— Да, у насъ тамъ есть школа, и больница есть. Но я сама этимъ не занимаюсь. У меня нѣтъ ни тер-

пѣнія, ни охоты учить дѣтей. Я гораздо лучше умѣю возиться съ крошечными дѣтьми, съ новорожденными, чѣмъ поучать большихъ. А въ больницѣ у насъ отличный докторъ. Я туда и не показываюсь.

— Но позвольте, Софья Петровна, что же вы тамъ дѣлаете? Вы говорите, что у васъ такъ много дѣла?

— Представьте себѣ—хозяйствомъ занимаюсь.

— Какъ, хозяйствомъ? не понимаю...

— Да такъ, хозяйствомъ. Папа ужасно любитъ садоводство и, кромѣ того, вѣчно все строить и пристраиваетъ—у насъ чуть-ли не двадцать балеоновъ и пристроевъ въ домѣ. А я люблю большое сельское хозяйство. Вы не можете себѣ представить, какое наслажденіе жить на своей собственной землѣ, слѣдить за тѣмъ, какъ она обрабатывается, какъ на ней все всходить, расти, зрѣть. Я всегда помню, что эта земля, это поле, этотъ садъ составляютъ частицу міра, и что въ этой частицѣ совершаются всѣ тѣ же таинства природы, какъ и во всей вселенной. Въ деревнѣ ихъ лучше понимаешь и чувствуешь, потому что какъ-то ближе къ ихъ источнику. Я не люблю деревни зимой, когда все мертво; но весну я всегда страшно боюсь пропустить. Для меня ничто не можетъ быть лучше той минуты, когда все снова оживаетъ...

— Одна идеализація!

— Нѣтъ, извините, вы не испытали этого чувства только потому, что всегда жили испорченной городской жизнью,—съ жаромъ возразила она.—Вы бы попробовали моей любимой жизни, той здоровой жизни, которую Богъ предназначилъ людямъ, не воображая, какъ они съумѣютъ испортить ее себѣ. Еслибы вы знали, какое это наслажденіе! Я съ каждымъ годомъ все больше привязываюсь къ своему Петровскому и интересуюсь имъ. Знаете, по моему, самый разумный

взглядъ на жизнь былъ у египтянъ: они считали высшимъ благомъ на свѣтѣ занятіе земледѣльемъ. Я думаю такъ же, какъ они. Посмотрите и на современную Европу: тѣмъ цивилизованнѣе государство, тѣмъ выше стоитъ тамъ земледѣліе. Вотъ еслибы вездѣ оно было на первомъ планѣ и вездѣ одинаково совершенно, еслибы и мужики...

— Ну, а мужиковъ-то вы такъ же любите, какъ частичку міра?

— Нечего вамъ смѣяться. И мужиковъ, конечно, люблю. Люблю, потому что много съ ними живу, потому что знаю ихъ...

— Ну, ужъ и знаете! Воображаю, какое вѣрное понятіе вы себѣ о нихъ составили!

— Вѣрнѣе вашего, ужъ за это ручаюсь... Городскіе жители пробавляются тѣми истинами, что мужикъ пьяница, ходитъ въ красной рубашкѣ и играетъ на гармоникѣ. А мужикъ настоящій, будничный мужикъ, справляющій чуть не каторжную работу, переносящій ее терпѣливо, подъ часъ благоговѣнно...

— Опять идеализація!

— У насъ съ папой никакой идеализаціи нѣтъ: мы просто думаемъ, что образованные люди должны какъ можно ближе стоять къ народу. Многіе изъ нашихъ сосѣдей...

Мишель даже вздрогнулъ: сосѣди? Нѣтъ-ли особенно интересныхъ? Но только что онъ собрался замѣчать, какіе сосѣди бываютъ въ Петровскомъ, какъ Прасковья Александровна безпощадно нарушила tête à tête.

— Я совсѣмъ было заснула надъ книгой... О чемъ вы тутъ бесѣдовали, расскажите?—сказала она, входя въ залу.

— Софья Петровна собиралась рассказывать мнѣ о вашихъ деревенскихъ сосѣдяхъ,—отвѣчалъ Мишель.

— Очень мило! Я думала, вы о чемъ-нибудь интересномъ,—презрительно отозвалась старая дѣва.— Нашла, чѣмъ занять молодого человѣка, душечка! Ужь, конечно, бѣдный Жоржъ гораздо интереснѣе.

— Не понимаю, тетя, что тебѣ дался сегодня этотъ Жоржъ!—нетерпѣливо возразила Соничка.

— А я не понимаю, что тебѣ въ немъ не нравится. Ты до того разборчива, душечка, что просто ужась! Я просто представить не могу, кого тебѣ нужно, чтобы понравился!

— Кого?—повторила Соничка.—Михаилъ Ивановичъ, читали вы „Перлино“, сказку Лабула?

— Нѣтъ, не читаль. А что?

— Да вотъ, я вспомнила о ней по поводу нашего разговора. Тамъ разсказывается объ одной разборчивой невѣстѣ; Виолеттой, кажется, ее зовуть. Отецъ выбираль, выбираль ей жениховъ, никто ей не нравился. Ей почему-то казалось, что всѣ они похожи на собаку. Кстати, тетя: твой Жоржъ совершенная левретка!

— Соничка!—ужаснулась тетя.

— Отецъ Виолетты непременно хотѣлъ видѣть свою дочь замужемъ. Наконецъ, она рѣшилась исполнить его желаніе: въ одинъ прекрасный день замѣсила миндальное тѣсто на розовой водѣ, сдѣлала себѣ изъ него мужа и украсила сахаромъ и изюмомъ. Вотъ еслибъ можно было сдѣлать себѣ мужа, изъ чего хочешь! Вѣдь отлично бы тетя?

— И вышелъ бы прятникъ, а не мужъ!

— Да я не говорю, что непременно изъ миндального тѣста. Мужъ Виолетты таялъ и раскисалъ безпрестанно, она была пренесчастная.

— А вы изъ чего сдѣлали бы себѣ мужа, Софья Петровна?—весело спросилъ Мишель.

— Я? Я взяла бы самаго чистаго прозрачнаго горнаго хрустала, потомъ желѣза, кремня, много, много стали...

— Ну, а наружность какая? Брюнетъ или блондинъ?— съ интересомъ перебила Прасковья Александровна, недоумѣвая, какіе бываютъ изъ себя желѣзно-хрустальные люди.

— Ужь этого, право, не знаю. Главное не мелкій, не мизерный, фигура вродѣ античной. А лицо...

Она задумалась на секунду, и потомъ сказала совершенно серьезно:

— Лицо человѣка, умирающаго за идею, то есть способнаго умереть.

— Ну, ужь выдумала! Это значить разбойникъ какой-нибудь! Что за дикая фантазія!..

## V.

Мишель опять получилъ наслѣдство. Въ первую минуту онъ обрадовался, но потомъ это обстоятельство повергло его въ глубокое уныніе.

— И чортъ ее дернулъ умереть!— говорилъ онъ про ту почтенную особу, которая оставила ему значительный капиталъ по смерти, въ знаѣе особаго расположенія при жизни.— Что я буду дѣлать съ этими деньгами?

— Послушай, Миша, ну, что ты ноешь?—разсудительно замѣтила Зина,— вотъ нашелъ о чемъ горевать! Точно ты обязанъ сію минуту истратить эти деньги?

— Положимъ, что не сію минуту, а все-таки... Да ты не обращай вниманія, я скоро привыкну. Это меня только первое время мутить.

Но на другой день забота о помѣщеніи новой фортуны снова обуяла злополучнаго наслѣдника.

— Зина, не хочется-ли тебѣ чего-нибудь?—неожиданно спросилъ онъ утромъ.

— Хочется, Миша: шелковыхъ чулокъ какъ можно больше!

— Какого цвѣта?

— Всякаго, только очень блѣдныхъ, шопант, знаешь?

— Знаю, знаю. Только на это много не истратишь.

Ну, а еще чего?

Зина подумала.

— Право, у меня все есть. Не знаю!—сказала она, качая головой.

— Подумай хорошенько.

— Въ циркъ хочу!—съ торжествомъ возгласила Зина, старательно обдумавъ.

Мишель вздохнулъ съ облегченіемъ и въ тотъ же день абонировался въ циркъ: взялъ ложу у барьера на весь сезонъ. А шелковыхъ чулокъ накупилъ столько, что, по словамъ сестры, „на цѣлый эскадронъ хватило бы“. Онъ всѣмъ рѣшительно предлагалъ денегъ займы и, между прочимъ, обратился съ этимъ предложеніемъ къ Влангу.

— А какіе проценты?—не спѣша освѣдомился Влангъ.

— Проценты? Ты, кажется, съ ума сошелъ! Развѣ я банкиръ? Или ты воображаешь, что я въ ростовщики хочу выйти?

— Такъ зачѣмъ же ты хочешь займы давать? И какъ же это можно безъ процентовъ?

— А такъ же, взявъ, да и отдавъ. Денегъ много— вотъ и предлагаю. Хочешь—бери, а не хочешь—чортъ съ тобой!

Баронъ задумался.

— Нѣтъ, мнѣ теперь не нужно. Благодарю,—сказалъ онъ, помолчавъ.—А я тебѣ хочу совѣтъ дать.

— Давай совѣтъ. Только безъ процентовъ!

— Ты не разговаривай много... я хочу сказать о деньгахъ. Береги ихъ.

— Ну, нѣтъ ужъ, покорно благодарю. Терпѣть не могу, когда у меня много денегъ. Онѣ всегда камнемъ на сердцѣ лежатъ.



— Очень странно. Приятно, когда денегъ много; а ты не радъ.

— По моему, вся мерзость на свѣтѣ изъ-за денегъ. Деньги—это... это северность. И, кромѣ того, я чувствую, что не умѣю ничего путнаго съ ними сдѣлать. Хотѣлъ бы—и не умѣю. Рѣшительно ничего не придумаю.

— О, ты неблагоразуменъ! — проговорилъ Влангъ, зѣвая.

— Ну, тебя къ чорту съ твоимъ благоразуміемъ! Мишель разсердился и пошелъ къ Мурановымъ. Соничка сразу замѣтила, что онъ не въ духѣ.

— Что съ вами?—спросила она съ участіемъ.

— Наслѣдство получилъ,—отвѣчалъ онъ, вздыхая.

— И это васъ такъ огорчаетъ? Люди радуются въ такихъ случаяхъ, а вы вздыхаете. Вотъ вѣдь всегда такъ: кому не нужно, тому и дается!

— Не правда-ли?—съ жаромъ подхватилъ Мишель; —это меня всегда возмущаетъ. И вѣдь чтò северно: никакъ этого не передѣлаешь! Не идти же мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, освѣдомляться, не надо-ли кому моихъ денегъ, да и дарить направо и налево. Одно утѣшеніе, что скоро отъ нихъ не останется ни полушки.

При этой мысли онъ вдругъ повеселѣлъ. Да и Соничка стояла тутъ и смотрѣла на него такъ радостно и привѣтливо, точно она немножко любила его...

— Однако, куда же онъ дѣнется?—спросила она, улыбаясь и усаживаясь въ своей любимой позѣ, положивъ на руку свою маленькую головку, прислоненную къ спинкѣ кресла.

— А право, не знаю. У меня часто много денегъ бываетъ, а часто ихъ совсѣмъ нѣтъ. Богъ ихъ вѣдаетъ, куда онѣ дѣваются.

— Ну, а что же лучше: когда ихъ нѣтъ, или когда есть?—продолжала она допрашивать съ веселымъ взглядомъ.

— Когда нѣтъ — честное слово! Правда, деньги всегда точно чувствуютъ, что мнѣ ихъ не нужно, и спѣшать истратиться. Что-жь, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше: авось попадутъ, куда нужно!

— Прекрасная теорія!

— Да право такъ. Это смѣшно, но совершенно справедливо. Я самъ чувствую, что деньги мнѣ лишнія: я всегда съ ними глупо распоряжаюсь. Вотъ и вчера...

Онъ вдругъ загнулся и умолкъ.

— Что же вчера? переспросила она.

— Такъ, ничего особеннаго. Напрасно я упомянулъ,—проговорилъ онъ вспыхнувъ и отвернулся.

— Рассказывайте сейчасъ, я хочу знать. Ну!—настаивала Соничка.

— Софья Петровна! ради Бога, не спрашивайте!

— Михаилъ Ивановичъ, говорите сейчасъ!

— Вотъ видите-ли... Всѣ знаютъ, что я получилъ наслѣдство... Ну, пришли ко мнѣ товарищи. Говорять...

Онъ вдругъ разсердился и вскочилъ.

— Видите, все деньги виноваты! Ну, отправились кутить. Я напился пьянъ. Вамъ угодно было знать... Интересно, не правда-ли? Ну-съ, напился... Вотъ и сказалъ, и вы теперь...

Голосъ его вдругъ оборвался. Онъ отошелъ и прижался лицомъ къ каминной полкѣ.

Соничка нѣсколько минутъ молчала, потомъ робко заговорила:

— Извините меня, ради Бога; я не знала...

Она не успѣла докончить фразы: онъ быстро повернулся къ ней, и она увидала, при свѣтѣ лампы, его поблѣднѣвшее лицо и глаза, наполненные слезами. Онъ заговорилъ дрожащимъ голосомъ:

— Конечно, вы не знали и никогда бы не узнали... еслибы не моя глупость. Положимъ, это со всѣми бы-

ваетъ... И со мной не въ первый разъ. Но теперь, именно теперь...

Онъ остановился и опять отвернулся.

— Охъ, ужъ этотъ коньякъ! На меня ничто такъ не дѣйствуетъ, какъ коньякъ. Шампанское или...

— Послушайте!—прервала она серьезнымъ, рѣшительнымъ тономъ,—дайте мнѣ честное слово, что никогда больше вы не будете пить коньяку.

Онъ очень удивился. Онъ не ожидалъ этого; но ему стало невыразимо пріятно, что она заботится о его поступкахъ. Ему сдѣлалось вдругъ такъ хорошо, что онъ сказалъ отъ всего сердца:

— Даю вамъ честное, благородное слово.

— А теперь,—произнесла она тихо,—простите меня за неумѣстное любопытство; я огорчила васъ. Конечно, я не имѣла никакого права васъ разспрашивать.

— Пожалуйста, не извиняйтесь. Вы видите, что все къ лучшему вышло,—возразилъ онъ съ жаромъ.—Вы не можете себѣ представить, какое вы мнѣ сдѣлали одолженіе.

— Я?

— Да, вы. Я ужъ сколько разъ давалъ зарокъ не пить коньяку, и ничего изъ этого не выходило. А теперь, конечно! Знаете, еслибы кто-нибудь почаще обращалъ на меня вниманіе, какъ вы, я, можетъ быть, былъ бы другимъ человѣкомъ. А теперь я вѣдь самъ знаю, что я, въ сущности, скотина! Извините...

— Какъ вы можете такъ говорить!—заволновалась Соничка.—Если вы сами сознаете въ себѣ дурное, если вы сами недовольны собой, какъ же вы не передѣлаете?

— Передѣлатъ? Да что же передѣлывать, Софья Петровна? Вотъ еслибы кто-нибудь заботился о томъ, что я такое, да сдѣлалъ бы мнѣ пальцемъ показать, что вотъ, молъ, въ тебѣ то-то и то-то скверно, дѣлай такъ, а не этакъ...

— Да что вы, Михаилъ Ивановичъ! Развѣ вы маленькій? Такъ вамъ говорили, когда вы ребенкомъ были, а теперь...

— Никогда мнѣ никто такъ не говорилъ,—прервалъ онъ запальчиво.—Никто обо мнѣ не заботился! Говорили, что я *charmant*, когда мило рѣзвился и не капризничалъ, а когда ревѣлъ — *emprenez se petit animal*. Это мать. А отецъ...

— Ну?—спросила она, смѣясь и хмурясь вмѣстѣ.

— Отецъ все больше въ клубѣ сидѣлъ. Впрочемъ, иногда бывалъ дома и со мной разговаривалъ: „Уроки учишь?“ Учу. „Молодецъ! А ну, хвати-ка водки! Разъ! Молодецъ мужчина!“—Вотъ вамъ и всѣ родительскія попеченія. Только всего и было.

— Какъ же это вы, однако, цѣлы остались, если о васъ такъ мало заботились? Какъ вы десять разъ не переломали себѣ рукъ и ногъ, не утонули, не объѣлись?

— И тонулъ, и объѣдался, и руки и ноги не разъ были въ опасности, и все, что угодно. А цѣлъ остался, во-первыхъ, потому, что ужь очень здоровъ уродился, во-вторыхъ—ня то былъ *monsieur Michaud*, да *mademoiselle Jeanne*, да мистеръ Шортъ...

— Господи, что за процессія! Это все воспитатели?

— А какъ бы вы думали? Во-первыхъ, съ шестилѣтняго возраста у меня былъ Мишо, гувернеръ—чтобы я не обабился, по выраженію папаши моего: въ семьѣ-то вѣдь все женщины... Ну-съ, на этомъ французѣ я верхомъ ѣздилъ, а онъ меня шансонеткамъ училъ. Потомъ мы съ нимъ ликеръ фабриковали изъ апельсиновъ; бумажныхъ вожитоковъ дѣлали—знаете, пѣтушковъ. По Лѣтнему саду гуляли. Три года онъ у насъ прожилъ. Я такъ болталъ по французски, что мамаша моя благоговѣла. А потомъ нашли, что я сталъ очень шаловливъ и *brutal*. Понадобилось смягчающее женское вліяніе. Мишо прогнали и взяли, для смяг-

ченія, Жанну. Колючая была старая дѣва, а злющая — упаси Боже! Носила желтый пиньонъ, красила брови, а меня щипала и ставила въ уголъ. Я ее разъ и отдулъ!

При этомъ воспоминаніи Мишель задумчиво улыбнулся, какъ будто оно доставляло ему тихое и возвышенное наслажденіе.

— Ну, и что же?

— Конечно, землетрясеніе произошло. Нашли, что я кругомъ виноватъ, а она кругомъ права, да и выгнали ее за это. Было мнѣ тогда лѣтъ десять. Разсудили, что слѣдуетъ ввести нравственное начало въ мое воспитаніе... Это одна grande tante придумала. Вотъ и нанесли мнѣ неизгладимое оскорбленіе, въ лицѣ англичанина Шорта. Подлый былъ англичанинъ: хересь тянулъ съ утра до ночи, читалъ со мной библію по англійски какимъ-то подземнымъ голосомъ. Я его ненавидѣлъ и, конечно, звалъ чортомъ. Боялся я его-таки порядочно и при немъ не слишкомъ громко кричалъ и бѣсновался; но за то за его спиной—второе. Потомъ, отдали меня въ корпусъ...

Мишель остановился и задумался.

— Однако, у васъ такъ много родныхъ и вы всеобщій любимецъ въ семьѣ, насколько я слышала. И, наконецъ, у васъ двѣ сестры?

— Сестры... Да, онѣ, конечно, меня любятъ, особенно Зина. Но что же въ этомъ толку? У нихъ была своя Элиза, цѣлый полкъ учителей, несносныя какія-то подруги, которыя надо мной смѣялись. Я ихъ вѣчно дразнилъ. Зину я очень люблю; но вѣдь она гораздо моложе меня. Она совершенный ребенокъ и ничего не понимаетъ. Ей и въ голову не придетъ отнестись ко мнѣ серьезно, принять во мнѣ участіе.

— А другая сестра?

— Лена? Та, вѣроятно, меня въ молитвахъ поми-

насть, потому что это ея сестринскій долгъ. Вотъ и все. Бабушекъ и тетушекъ пропасть—ну, эти все больше насчетъ объяденія.

— Да, все это не особенно заманчиво. Вамъ должно быть ужасно пусто на свѣтѣ жить?

— Пусто не пусто, а скверно подчасъ—очень! Что мы въ корпусѣ выдѣлывали, я лучше и рассказывать не стану. А какъ въ офицеры вышелъ, пошла такая жизнь, что просто совѣстно вспоминать. Не то, чтобы мы какія-нибудь особенныя гадости дѣлали, а такъ, коптили небо въ неограниченныхъ размѣрахъ. Пили, вращали, скакали—все зря. Что же! не мы первые, не мы послѣдніе. Такая вѣдь иной разъ тоска нападетъ, что просто не знаешь, куда дѣваться. А станешь говорить товарищамъ, что все это опротивѣло, что такъ жить мерзко—на смѣхъ поднимаютъ. Ты, говорятъ, ступай въ филантропы запишись, поступи въ общество покровительства животнымъ... Вотъ и полѣзешь на стѣну!—заключилъ Мишель со вздохомъ.

— То есть, это какъ же, позвольте спросить?

— Да такъ вотъ, возьмешь да и выкинешь съ тоски какую-нибудь невозможную штуку... Разъ я одного высокопоставленнаго попа, на пари, за бороду изъ кареты вывелъ.

— Фу, какая гадость!—всѣричала она.

— Совершенно справедливо: гадость. А потомъ такъ мнѣ его жаль стало, что бросился передъ нимъ на колѣна, и ну плакать... Борода-то сѣдая, старикъ... просто я въ отчаяніе пришелъ!

— Чѣмъ же это кончилось?

— Просилъ, чтобы меня наказали, сдѣлали бы со мной что-нибудь... Вотъ и послали меня на мѣсяцъ въ монастырь, на покаяніе. Лѣтомъ это было, я тогда въ лагерѣ подъ Царскимъ стоялъ. Все обошлось безъ скандала: своимъ писать въ Висбаденъ, что процвѣтаю

въ Царскомъ, а самъ—въ монастырь. Такъ и не узнали. Поселился я въ монастырь, но тутъ... Право, Софья Петровна, вы не можете себѣ представить, что я за скотина!

Лицо его омрачалось все болѣе.

— Я такъ безчинствовалъ, — продолжалъ онъ, — что черезъ двѣ недѣли моего искуса, настоятель Христомъ Богомъ просилъ, чтобы меня убрали куда-нибудь подальше, во избѣжаніе соблазна. Такъ я и не искупилъ ничего. Нашло что-то на меня — точно взбѣсился.

Онъ замолчалъ. Соничка съ тревогой всматривалась въ его поблѣднѣвшее лицо, въ его мрачные глаза, отуманенные воспоминаніями. Ей стало невыразимо грустно и тяжело; она глубоко вздохнула и отвернулась. И вдругъ онъ громко разсмѣялся... Она вздрогнула и съ недоумѣніемъ взглянула на него.

— Вы, кажется, съ ума сошли! — воскликнула она съ досадой.

— Нѣтъ, вы послушайте, какую штуку я разъ устроилъ! Ей-Богу, невозможно вспомнить безъ смѣха! — объявилъ Михаилъ Ивановичъ совершенно неожиданно. — Вы не думайте, что это что-нибудь такое — скандальное или злостное, вовсе нѣтъ; такъ только смѣшно. Вѣдь скука-то страшная! Монастырь былъ самый чинный, уставъ строжайшій. Дали мнѣ келью во второмъ этажѣ, и запирали снаружи. Окно было безъ рѣшетки, но высоко. Однако, я все-таки вылѣзъ и удралъ на деревню... Тутъ деревня недалеко. Купилъ у бабы сарафанъ, платокъ, прочія принадлежности; спряталъ все подъ пальто, погулялъ, да и домой. Подхожу ко вратамъ, звоню: такъ и такъ, молъ, гулять отпускали черезъ калитку, а теперь вотъ назадъ пришелъ, впустите! Вернулся въ келью и нарядился: даже усовъ не пожалѣлъ — сбрилъ, для полноты иллюзій. Сѣлъ у окна, дождался, когда постные отцы собрались для вечерней трапезы, да и

затянулъ самую-то самую именинную пѣсню, тоненькимъ бабьимъ голосомъ. Пронзительно, съ визгомъ— на всю округу! Ну, эффектъ!

Соничка невольно смѣялась.

— У меня въ двери было маленькое окошечко,— продолжалъ онъ съ одушевленіемъ.— Вотъ, слышу поспѣшные шаги, идетъ кто-то. Я еще пронзительнѣе: „Во пи-ру бы-ы-ла-а!“ Чувствую, что въ двери подошли: вижу, что въ окошечко глядятъ. Затѣмъ, восклицаніе ужаса и шаги удаляются. Я половтѣ усаживаюсь спиной въ двери, раскачиваюсь съ боку на бокъ, и ну визжать! Тутъ ужъ что-то много за-разъ въ двери подошло, слышу— толпятся и недоумѣваютъ. Разумѣется, я не выдержалъ и расхохотался такимъ басомъ, что всѣхъ спугнулъ.

— Нисколько не удивляюсь, что васъ оттуда выгнали!

— Да и я не удивляюсь. Да то-ли еще я дѣлалъ! Разъ ко мнѣ товарищи пріѣхали, цѣлой компаніей. Всѣ въ окно повлѣзли и корзину за собой втащили. Мы жжену сотворили, и самъ отецъ келарь съ нами выкушалъ... Чтò это я, однако, вамъ рассказываю!— вдругъ удивился Мишель. — Отчего вы не прикажете мнѣ замолчать?

— Я и сама дивлюсь!—воскликнула она съ досадой.—И странный вы, право, человѣкъ: какъ это у васъ все просто выходитъ: лѣзу на стѣну—и правъ!

— Софья Петровна!—сказалъ онъ печально,— что же прикажете дѣлать? Посудите сами: вѣдь въ самомъ дѣлѣ, ничего не знаешь, ни къ чему не приготовленъ...

— Господи, Боже мой! да что же тутъ готовиться, чтобы быть порядочнымъ человѣкомъ и дѣлать хоть что-нибудь на свѣтѣ!

— Да я и дѣлаю, что могу: служу. Тоже вѣдь офицеръ, какъ и многіе другіе... И даже, если хотите,



лучше многихъ другихъ. Вѣдь это, особенное-то безобразіе только по временамъ на меня находитъ,—объяснял онъ очень серьезно.

— Ахъ, такъ теперь вы собою довольны! Стало быть, нечего и толковать,—прибавила она вспылчиво.

— Да, стало быть, нечего толковать,—повторилъ онъ, какъ эхо, съ глубокимъ уныніемъ.—Да, вы правы: нечего. Зачѣмъ? Развѣ я кому-нибудь нуженъ?

Онъ всталъ и подошелъ къ роюлю.

— Сыграть вамъ что-нибудь?—продолжала она.

— Сыграйте что-нибудь изъ малороссійскихъ пѣсень. Нѣтъ-ли у васъ этой грустной пѣсни... я забылъ, какъ она называется... Кажется, она начинается съ вѣтра—„Віють, віють...“ ну, однимъ словомъ...

Онъ точно усталъ отъ разговора. Ему хотѣлось отдохнуть и помолчать въ присутствіи любимой, милой дѣвушки; хотѣлось подумать... Что это опъ ей наговорилъ, однако? Какъ можно было рассказывать такія вещи! Можетъ-ли она его любить послѣ этого?

Щемящія звуки любимой пѣсни прервали его размышленія. Тѣмъ грустнѣе и тѣмъ пріятнѣе была эта музыка, что въ эту минуту пѣсня и Соничка составляли одно цѣлое, соединялись воедино. По обыкновенію, музыка перенесла его въ особый міръ: слова пѣсни бессознательно припоминались ему и вызывали въ его воображеніи мрачную, унылую картину, а звуки плакали, стонали надъ нею и дополняли ее. Собственная печаль пробуждалась въ сердцѣ и присоединяла свой скорбный голосъ, и все сливалось въ одно томительное, сладкое цѣлое. Ему представлялись гдѣ-то въ неизвѣстномъ пространствѣ—измученныя деревья на фонѣ блѣдно-сѣраго неба, при тускломъ освѣщеніи. Рѣдкія, черныя деревья; они корчатся и гнутся отъ вѣтра, какъ рассказываютъ слова пѣсни; а звуки стонали и ныли, какъ самъ вѣтеръ. Дальше пѣсня говорить, что у кого-

то болить сердце, и Мишель ясно чувствовалъ что это его собственное сердце, что оно-то и болить, и надрывается, переполненное нераздѣленною любовью. Онъ ее любить, любить больше всего на свѣтѣ, и вотъ—она сама извлекаетъ эти звуки, которые такъ хорошо рассказываютъ то, что онъ чувствуетъ. А она и не понимаетъ, и не чувствуетъ ничего! Ему стало безконечно жаль себя; сладкая скорбь наполнила его душу и тихія слезы полились...

## VI.

Наступила вербная недѣля; Мурановы все не уѣзжали.

Мишель дошелъ до того, что твердо рѣшился сказать Соничкѣ о своей любви, узнать, какъ она это приметъ, и, во всякомъ случаѣ, не разставаться съ ней въ неизвѣстности. И какъ только онъ принялъ это твердое рѣшеніе, на него напала такая робость, что онъ вдругъ пересталъ бывать у Мурановыхъ и только бродилъ около ихъ дома.

Наконецъ, въ субботу, онъ съ утра сказалъ себѣ, что сегодня непременно пойдетъ и скажетъ. За обѣдомъ Зинаида Сергѣевна сообщила, что поѣдетъ съ дочерьми во всюнощной, и тонко намекнула на свою слабость и безпомощность, при которыхъ кавалеръ ей необходимъ. Иванъ Владиміровичъ пропустилъ мимо ушей эту инсинуацію; обычные посѣтители, изъ числа друзей дома, также не отозвались на призывъ, и гласъ хозяйки грозилъ остаться вопіющимъ въ пустынь, еслибы Мишель, неожиданно для самого себя, не предложилъ своихъ услугъ.

— Ахъ, очень рада!—сказала мать церемонно, вставая изъ-за стола,—mesdemoiselles, поторопитесь!

Черезъ четверть часа Мишель сидѣлъ въ коляскѣ и ѣхалъ на Литейную, въ фешенебельную домовую цер-

ковъ, и положеніе это было для него такъ ново, что онъ невольно подумалъ: „Что это я? на лонѣ семейства, и притомъ во всеобщей?“ Ему стало даже досадно на себя; но скоро эта досада прошла. Въ самомъ дѣлѣ, его мать и обѣ сестры были такъ изящны, личико Зины такъ мило подъ короткой вуалеткой, воздухъ такой теплый, улицы такъ красиво оживлены, что Мишель мало по малу успокоился и почувствовалъ себя очень хорошо.

Ему было жаль, когда коляска остановилась. На него напала такая сладкая лѣнь, что хотѣлось бы подложить подъ голову подушку и ѣхать. Богъ знаетъ куда, только бы везли безконечно. А тутъ вдругъ выходи и веди на лѣстницу мамашу, которая совсѣмъ повисла на его рукѣ.

Благополучно доставивъ ее въ церковь и снабдивши стуломъ, Мишель совсѣмъ оторопѣлъ отъ томной, ангельской улыбки, которою мать наградила его, кивнувъ ему черезъ плечо. Однако, сообразивъ, что это въ порядкѣ вещей, онъ успокоился и отошелъ къ сторонѣ.

Онъ давно не былъ въ церкви, и ему необыкновенно понравилась служба въ этотъ вечеръ. Хорошенькая маленькая церковь немножко напоминала бонбоньерку своимъ раззолоченнымъ изяществомъ. Святые и ангелы, въ голубыхъ и розовыхъ одеждахъ, улыбались изъ широкихъ золотыхъ рамъ; образа были большею частью безъ ризъ и вся церковь походила на щеголеватую залу, съ картинами изъ священнаго писанія по стѣнамъ. Только раззолоченный иконостасъ нарушалъ эту иллюзію. Золота было даже слишкомъ много: оно облѣпило всѣ карнизы, разсыпалось золотыми звѣздами по блѣдно-голубому потолку, и оттуда сбѣжало на большую люстру, освѣщавшую цѣлымъ лѣсомъ восковыхъ свѣчей массивную серебряную купель, наполненную связанными пучками вербы. Этотъ громадный

букетъ красноватыхъ прутьевъ, съ бѣлыми пушистыми шариками, придавалъ всей церкви какой-то необычный, домашній характеръ. Все празднично сіяло и блестяло; безчисленныя свѣчи передъ образами и въ рукахъ молящихся подробно и ярко освѣщали церковь. Въ тепломъ, немного душномъ воздухѣ мягкой, синеватой дымкой стоялъ ладонъ. Пѣвчіе пѣли хорошо.

Зинаида Сергѣевна осторожно держала свою свѣчку двумя блѣдно-сѣрыми пальчиками и склонивъ свой тонкій станъ, только опиралась на спинку стула. Глаза ея сквозь вуалетку умиленно созерцали потолокъ, и по временамъ она слегка морщилась и кашляла, когда струя ладона доходила до нея. Лена серьезно и горячо молилась, стоя на коленяхъ. Зина тоже стала на колѣни, чтобы не отстать отъ сестры, и внимательно, съ сосредоточеннымъ видомъ, отлѣпляла кусочки воска отъ своей свѣчи.

Мишель сначала наблюдалъ за молящимися, съ любопытствомъ разсматривалъ свою небесную мамашу и любовался серьезными личиками сестеръ. Но мало по малу всѣ отдѣльныя лица какъ-то изгладились въ его глазахъ; остался только блескъ огня и золота сквозь облака ладона, изъ-за которыхъ доносилось точно издали стройное церковное пѣніе. Словъ онъ не могъ разобрать: до него достигала только музыка. Какое-то свѣтлое, нѣсколько грустное чувство наполнило его душу, точно что-то улыбалось внутри его. Пѣли очень хорошо, такъ хорошо, что совсѣмъ расшевелили его и сердце заплакало въ его груди. Тихіе, слишкомъ сладкіе звуки уносились куда-то далеко-далеко и увлекали, тянули за собой, обѣщая что-то таинственное, чуждое, но прекрасное. „О, Боже, сдѣлай то, что я хочу: Тебѣ это такъ легко!“ — лепеталъ дѣтскій голосъ въ глубинѣ души Мишеля. Ему вспомнилось, какъ однажды — много лѣтъ назадъ — онъ испыталъ подобное чувство при

звукахъ органа въ одномъ старинномъ соборѣ въ Швейцаріи. Да, именно это самое ощущеніе. Точно поютъ гдѣ-то въ вышинѣ, голоса улетаютъ вверхъ и тахутъ, уносятъ за собой.

Мишель вышелъ изъ церкви въ самомъ лучшемъ расположеніи духа и, разставаясь съ матерью и сестрами на углу Невскаго проспекта, тихо шепнулъ Зинѣ: „Дай мнѣ руку на счастье“. Зина съ ясной улыбкой протянула ему руку: онъ крѣпко пожалъ ее и отправился къ Мурановымъ.

Спокойный и радостный, онъ медленно шелъ по троттуару, отъ всей души восхищаясь вечеромъ. Это былъ одинъ изъ тѣхъ свѣтлыхъ, блѣдно-зеленыхъ вечеровъ, которые бывають только въ Петербургѣ. Все небо обливалось блѣдный свѣтъ съ металлическимъ отблескомъ, и только на западѣ небосклонъ сіялъ алыми полосами. Рѣдкія звѣзды и блѣдная луна казались лишь немного ярче остального неба; зелено-перламутровый отгѣнокъ разливался повсюду. Казалось, что, еслибы этотъ воздухъ превратить во что-нибудь твердое, и еслибы частица его могла оторваться и упасть, она промелькнула бы въ пространствѣ искрой лѣтняго свѣтляка, и зазвенѣла бы металлическимъ звономъ, ударившись о землю. Газовые фонари и лампы въ окнахъ магазиновъ придавали Невскому нарядный и веселый видъ, но не усиливали свѣта и казались какъ бы ярко нарисованными огнями какой-нибудь декорациі. Весь Невскій сіялъ этими огнями, звенѣлъ и шумѣлъ стукомъ экипажей, говоромъ и звонками конно-желѣзныхъ поѣздовъ. Толпы гуляющихъ сплошной, темной массой двигались по троттуарамъ. У Гостиного двора было особенно шумно и тѣсно.

Мишель остановился напротивъ Гостиного двора и оглянулся вокругъ. Ему бросился въ глаза красный фонарь на Думской каланчѣ. Этотъ фонарь возвѣщалъ

бѣду: гдѣ-нибудь долженъ быть пожаръ. Но кто же объ этомъ думалъ? Какъ эффектно, какъ встали очутился тутъ этотъ фонарь! Точно крупный драгоценный рубинъ, онъ повисъ въ воздухѣ и блестяль кровавымъ огнемъ на фонѣ свѣтлаго зеленоватаго, пеба.

Мишель казалось, что въ этотъ вечеръ все такъ красиво нарочно для него. Богъ знаетъ отчего, въ душѣ его зашевелились самыя сладкія надежды, и онъ подошелъ въ подъѣзду Мурановыхъ съ радостно-бьющимся сердцемъ.

Швейцаръ стоялъ на порогѣ и, узнавъ ежедневнаго посѣтителя, остановилъ его.

— Давно не бывали-сь,—сказалъ онъ любезно.— Господа изволили выѣхать вчерашняго числа и оставили вамъ записку. Не угодно-ли повременить, я сейчасъ принесу.

— Какую записку, куда уѣхали?

— Въ Москву-сь, вчерашняго числа. И приказали записку вамъ...

— Кто уѣхалъ? Одинъ баринъ?

— Со всѣмъ семействомъ-сь. Въ деревню-сь.

— Давай записку... скорѣе!—крикнулъ Мишель.

Изъ записки онъ узналъ немного. Мурановъ сожалѣлъ, что давно не видалъ его, сообщалъ о своемъ внезапномъ отъѣздѣ и объяснялъ, что собрались скоропостижно, такъ какъ всѣ препятствія въ отъѣзду неожиданно устранились. Далѣе онъ прибавлялъ, что надѣется видѣть Мишеля у себя слѣдующей зимой, и желаетъ ему всякаго благополучія.

Мишель, неизвѣстно для чего, далъ швейцару пять рублей и спросилъ, не привазывали-ли чего еще?

— Кланяться привазывали-сь баринъ и молодая барышня. Кланяйся, говорить, и скажи, что очень сожалѣютъ, что давно не бывали. А болѣе ничего-сь!

Мишель повернулся и пошелъ.

Уѣхали! Что же это такое? Куда теперь идти и что дѣлать?

Онъ опять очутился на Невскомъ противъ Думы...

— Что это ты, съ какимъ похороннымъ лицомъ? — раздался веселый голосъ позади его, и, обернувшись, Мишель увидѣлъ тетюшку Елену Владиміровну. Она выходила отъ Рапон, въ сопровожденіи лакея, нагруженнаго свертками, перевязанными розовыми ленточками, и направлялась къ своей коляскѣ.

— Здравствуйте, ma tante. Вы знаете, что Мурановы уѣхали? — сообщил Мишель.

— Ахъ, пассія-то твоя? То-то ты приунылъ. Ну, что же, другъ мой! назадъ пріѣдутъ.

— Да, пріѣдутъ! А до тѣхъ-то поръ сколько ждать? И что имъ тамъ дѣлать въ деревнѣ?

— Какъ, что дѣлать? Софи хозяйничаетъ, отецъ балконы строить. Ну, а старая Пашетта, конечно, не долго наживетъ: недѣли черезъ три вернется. Она всегда такъ, или въ Эмсъ укатитъ, или въ Павловскѣ будетъ блистать на музыкѣ. Вотъ увидишь! А ты куда? Хочешь, довезу? — предложила баронесса.

— Нѣтъ, merci. Я лучше пѣшкомъ пойду. У меня что-то голова болить.

— Ну, какъ хочешь. До свиданія, мой милый. Не забывай меня!

Мишель пошелъ блуждать по улицамъ въ совершенно подавленномъ состояніи и поздно ночью вернулся домой, помышляя о самоубійствѣ.

## VII.

Мурановы жили въ деревнѣ и наслаждались наступающей весной.

Въ первые дни Соничка не могла понять, куда дѣвается ея время? Столько надо было передѣлать

дѣла, столько мѣсть осмотрѣть! Во-первыхъ, надо было разобраться послѣ приѣзда и устроиться такъ, чтобы все имѣло уютный и жилой видъ. Самъ по себѣ большой Петровскій домъ былъ очень удобно расположенъ и такъ загроможденъ старинной мебелью, что тамъ и безъ того было уютно. Но Соничеѣ нужно было разставить по мѣстамъ книги, ноты и разныя мелочи, а главное, лишній разъ велѣть все вычистить. Она находила, что никогда не умѣютъ это хорошо сдѣлать безъ ея надзора. Петръ Александровичъ увѣрялъ всегда, что все прекрасно и не стоитъ поднимать такой возни. Платонъ вполне раздѣлялъ это мнѣнiе; но Соничка была неумолима. Сколько бы ни топили, ни провѣтривали домъ къ ихъ приѣзду, какая бы ни была погода, она неизмѣнно приказывала, тотчасъ по водворенiи, отворять всѣ окна и протапливать всѣ печи въ домѣ для того, чтобы въ комнатахъ не было „нежилого запаха“. Затѣмъ поднималась отчаянная возня. Петръ Александровичъ со вздохомъ покорялся этому, зная по опыту, что вся эта церемонiя неизбежна съ тѣхъ поръ, какъ его дочь выросла.

— Папа, ступай въ диванную. Я тебѣ тамъ газеты положила! — объявляла Соничка рѣшительнымъ тономъ. — Твой кабинетъ будемъ убирать.

И папа уходилъ въ диванную и читалъ газеты. А въ домѣ происходила генеральная уборка, несмотря на протесты влючницы Елены Вареоломѣвны, которую вся прислуга называла „Охромѣвной“.

Когда все было основательно отодвинуто, выколочено, вымыто, снова придвинуто и утверждено на мѣстѣ, Соничка съ жаромъ принималась разбирать привезенныя вещи. Изъ сундуковъ появлялись рабочія корзинки, разныя начатыя работы (которыя обыкновенно увозились въ Петербургъ неоконченными и въ томъ же видѣ потомъ снова возвращались въ деревню), без-



численные ящики, шкатулки, горы книгъ, „безъ которыхъ нельзя же обойтись“, и масса всякихъ вещей, которыми мгновенно наводнялись комнаты.

Прасковья Александровна не могла понять, что за охота ей племянницѣ такъ страшно возиться.

— На что же у тебя Даша?—говорила она неизмѣнно каждый годъ и неизмѣнно получала въ отвѣтъ: „я люблю сама!“

И вотъ мало по малу изъ хаоса начинало выходить нѣчто похожее на порядокъ и уютность. Книги заманчиво располагались на полкахъ, ноты на этажеркѣ въ залѣ, по сосѣдству съ роялемъ; альбомы и эстампы разсыпались по столамъ; здѣсь изящная корзина съ вышиваньемъ, тамъ ваза или статуетка украшали столы и придавали жилой, уютный видъ комнатамъ. Соничка стремительно носилась по всему дому, уставляя то тутъ, то тамъ: въ одномъ мѣстѣ поправляя скатерть, въ другомъ придвигая кресло въ какой-нибудь особенно удобный уголокъ, все время напѣвая и по временамъ останавливаясь передъ окнами, чтобы восхититься легкимъ зеленымъ кружевомъ сада и бѣло-розовыми цвѣтами плодовыхъ деревьевъ, или смотрѣла, какъ садовникъ уставлялъ въ жардиньерки растенія и устраивалъ горки зелени въ комнатахъ.

Послѣ двухъ-трехъ дней такой лихорадочной возни, Соничка приступала къ распоряженіямъ внѣ дома. Экономка являлась со счетами, а управляющій—съ отчетами. У Мурановыхъ не было настоящаго управляющаго, то есть не было нѣмца, не было и ученаго агронома. Всѣмъ завѣдывалъ и распоряжался простой мужикъ Максимъ, правда, грамотный и носившій званіе „управителя“, имѣвшій дочь въ „пенсіонѣ“ и занимавшій очень красивый и удобный домикъ; но все же мужикъ, не разстававшійся со своимъ мужицкимъ одѣяніемъ и со многими чисто-мужицкими привычками

и пристрастіями. Въ числѣ послѣднихъ не послѣднее мѣсто занимала страсть въ дегтю и веревкамъ, такъ что Соничевъ каждый годъ приходилось удивляться, какое количество этихъ ингредиентов выходило въ имѣніи, судя по „вѣдомостямъ“, представляемымъ Максимомъ. Всѣ счета и отчеты принимала она всегда сама и сама вѣдалась съ управителемъ, съ которымъ ея отецъ вступалъ въ сношенія только по поводу своихъ „пристроевъ“.

Соничева дѣлательно вела хозяйственные книги, объѣзжала поля въ шарabanѣ вмѣстѣ съ Максимомъ и постоянно воевала съ нимъ за деревья, которыя онъ всегда покушался срубить въ самыхъ неожиданныхъ мѣстахъ, то для простора, то для воздуха, то на подѣлки. Максимъ любилъ барышню „до страсти“, какъ онъ самъ выражался, и часто говорилъ про нее, что она смыслить больше иного мужика. Это, однако же, не мѣшало ему считать многія изъ ея приказаній за женскіе капризы, или за плоды господскаго безтолковія. Иногда онъ тщился дѣйствовать независимо; но молодая хозяйка твердо стояла на своемъ, и Максимъ покорялся. Воровалъ онъ не особенно много и самъ очень откровенно объяснялъ причину своего безкорыстія.

— Мнѣ что воровать? Я и такъ возьму,— говорилъ онъ благодушно.— Нешто у барина мало? Небось, хватить на всѣхъ.

По возвращеніи въ Петровское, Соничева не досчитывалась обыкновенно множества хозяйственныхъ предметовъ, исчезновенія которыхъ она бы и не замѣтила, если бы сами потребители не докладывали, что вотъ, молъ, то-то было, да сплыло: надо купить. Для обозначенія такого таинственнаго исчезновенія предметовъ въ селѣ Петровскомъ употреблялся особый глаголъ: „сопрѣть“. То оказывалось, что „сопрѣли“ молочныя кривки и маслобойки на скотномъ дворѣ, то лопаты и

заступы; садовникъ просилъ доложить, что „ни горшковъ, ни леекъ — ничего почестъ нѣтъ. За зиму все сопрѣло. Опять же и тесины, которыми ранжереи закрывали для солнца, и четыре парниковыя рамы, какъ есть всѣ сопрѣли, и даже окончательно“, и проч. и проч.

То, что процессъ „сопрѣнія“ дѣлалъ для неодушевленныхъ предметовъ, то же творилъ морозъ для одушевленныхъ. Многіе гуси и индѣйки отмороживали себѣ ноги зимою и оттого околѣвали. Иной разъ корова „пухла“ отъ мороза, такъ что приходилось ее продавать за безцѣнонь.

Всѣ эти извѣстія съ невозмутимою серьезностью выслушивала Соничка въ наказаніе за то, что разъ на всегда приказала докладывать себѣ обо всемъ и безъ себя ничего не покупать и не предпринимать. Мало по малу, количество роговъ, веревокъ, кринокъ, телѣгъ и прочихъ предметовъ, уцѣлѣвшихъ отъ сопрѣнія, приводилось въ извѣстность, недостающее прикупалось, сводились счеты, и Соничка, удовлетворивъ всѣмъ требованіямъ, могла спокойно приняться за обычныя занятія и хозяйничать уже по издавна заведенному порядку. Кстати и весна быстро наступала; уже въ началѣ апрѣля все зазеленѣло, и Соничка могла обходить и осматривать все, что ей хотѣлось.

Въ половинѣ апрѣля наступила особенно теплая, но сѣрая погода. На всемъ лежалъ мягкій колоритъ, ничего рѣзкаго не было въ природѣ. Молодая листва еще не приняла яркихъ изумрудныхъ оттѣнковъ; густой цвѣтъ чернозема едва туманился нѣжною зеленью; небо было окрашено теплыми, сѣрыми тонами; даль тонула въ мягкой голубой мглѣ; вода, отражавшая только блѣдныя оттѣнки, казалась какъ бы подернутою туманомъ. Все будто нѣжилось и лѣнилось. Солнце было гдѣ-то близко, потому что его тепло давало сильно себя чувствовать; но его не было видно. Оно спало въ мягкихъ

пуховыхъ облакахъ... По всѣмъ признакамъ, слѣдовало идти дождю: онъ бы и пошелъ, да очевидно, ему было лѣнь. Наконецъ-таки онъ рѣшился и сначала закапалъ рѣдкими каплями, а потомъ разошелся и полилъ.

И долго лилъ этотъ дождь, частый и сильный. Сѣвось его сѣтку видно было, какъ все зеленѣло и подымалось; всѣ почвы запасались сокомъ, всѣ цвѣты собирались распускаться; земля вбирала въ себя воду, чтобы поить сѣмечки, которыя лежали въ ея темной глубинѣ и ждали питья, чтобы пустить ростки.

Соничка наслаждалась сознаниемъ того, какъ все разросется и зацвѣтетъ послѣ дождя; какъ уютно и удобно теперь въ старомъ Петровскомъ домѣ, съ его большими, немного темными комнатами. Несмотря на дождь и на уединеніе, она не унывала. По уграмъ навѣщала школу, занималась хозяйственными счетами, толковала съ Максимомъ, вмѣстѣ съ нимъ рассчитывала, сколько понадобится лѣсу на новый павильонъ, который Петръ Александровичъ собирался пристроивать къ оранжереѣ, или вела переговоры съ ключницею. Книжки и фортепіано наполняли остальное время до обѣда, а въ обѣду являлся толстый, добродушный докторъ, развлекавшій ее своими разсказами.

По воскресеньямъ, кромѣ доктора, у нихъ обѣдали священникъ и сельскій учитель, что было очень скучно. Кромѣ этихъ обычныхъ посѣтителей, въ эту раннюю пору весны, у нихъ еще никто не бывалъ: многіе изъ деревенскихъ сосѣдей еще не пріѣзжали въ свои помѣстья, а постоянные жители были слишкомъ заняты весеннимъ хозяйствомъ. Одинъ докторъ приходилъ каждый день и былъ въ большой дружбѣ съ Мурановыми, хотя постоянно слегка злилъ Петра Александровича увѣреніями, что никогда не видывалъ болѣе ерѣшкихъ и здоровыхъ субъектовъ, чѣмъ онъ, да Платонъ.

Послѣ нѣсколькихъ дней тихой дождливой погоды съ утра поднялся сильный вѣтеръ. Сплошная масса облаковъ стала разрываться, мѣстами образуя плотныя, темныя тучи, мѣстами обнажая голубое небо. Быстро погналь вѣтеръ клочки сѣрыхъ облаковъ; дождь изъ прамого превратился въ косой, но продолжалъ идти. Къ вечеру вѣтеръ разбушевался до такой степени, что во всѣхъ трубахъ Петровскаго дома слышался его свистъ и завыванье. Ночь наступала темная, какъ осенью, и Соницкѣ было какъ-то страшно. Она съ невольнымъ содроганіемъ прислушивалась къ вою вѣтра, къ стуку дождя, колотившаго въ закрытыя ставни оконъ. Только очень поздно рѣшилась она оставить свою удобную кушетку и интересную книгу и лечь въ постель. Долго она не могла заснуть. Было такъ темно, что первую минуту, когда она потушила свѣчу, и широко раскрыла глаза, ей показалось, что она ослѣпла; только черезъ нѣсколько времени стали слегка выдѣляться и бѣлѣть предметы въ комнатѣ. И эта страшная темнота казалась еще гуще и мрачнѣе отъ завыванія вѣтра. Казалось, что вокругъ дома кто-то ужасный, крылатый, носился съ быстротою молніи, стучался во всѣ окна, выль у всѣхъ дверей, стоналъ въ глубинѣ сада и снова порывался въ домъ, пробуя войти въ закрытыя окна и двери, и яростно потрясая ставнями; потомъ съ глухимъ ревомъ уносился дальше, а то устремлялся внизъ, точно желая подкопаться подъ домъ и съ дикимъ воемъ сотрясалъ его до основанія, то опять подымался въ вышину и, находя свободный доступъ въ трубы, съ чудовищнымъ взвизгомъ радости вривался въ ихъ ходы и переходы, и бушевалъ тамъ, производя зловѣщіе звуки. А дождь рѣже и рѣже колотился въ ставни, и, наконецъ, сталъ стучать мѣрно и вѣрно, какъ звукъ то приближающихся, то удаляющихся шаговъ невидимаго существа. Подъ этотъ равномерный звукъ дождевыхъ

вапель Соничка, наконецъ, уснула, и во снѣ пригрезился ей петербургскій великопостный концертъ.

Проснулась она отъ яркаго свѣта, который вдругъ ударилъ ей въ лицо: Даша отворила ставни. Сначала Соничка отвернулась [отъ этого яркаго, горячаго луча и крѣпче закрыла глаза; но почему-то передумала и сѣла на постели. Въ окно она увидѣла массу зелени, пронизанной солнцемъ. „Кажется, хорошая погода? И такъ ужъ было хорошо, а теперь — какая прелесть, какое наслаждение жить!“ Она радостно улынулась этой мысли и рѣшилась поскорѣе вставать. На часахъ стояло восемь. Даша вошла въ комнату съ вѣткой полурапустившейся сирени, и это обстоятельство значительно задержало барышню: она въ восхищеніи замерла надъ этой свѣжей, блѣдно-лиловой вѣткой и рѣшительно не хотѣла причесываться, несмотря на всѣ увѣщанія Даши.

— Скорѣе, барышня! Вы посмотрите, какой день-то: рай! — говорила Даша.

И дѣйствительно, Даша была права. Господи, что это былъ за день! Весь воздухъ наполнялся пѣніемъ, свѣтомъ и благоуханіемъ. Ароматъ мокрой зелени, пригрѣваемой солнцемъ, миндальный запахъ распустившейся сирени и легкой медовый запахъ акацій разлились по всему саду. Пронизанная свѣтомъ листва сквозила на солнцѣ; между вѣтвями старыхъ липъ и вленовъ проглядывало изумительно-яркое синее небо, кое-гдѣ смягченное плывущими круглыми облаками съ серебряными краями. Все точно торопилось насладиться жизнью, расцвѣсть, пропѣть, пролетѣть. Казалось, что цвѣты во-очію распускаются, листья травъ и деревъ во-очію крупнѣютъ и растутъ. Откуда-то налетѣли цѣлые золотистые рои комаровъ и мушекъ; коричневые и зеленые жучки закопошились въ травѣ; пчелы, шмели зажуужали и загудѣли надъ лугами и цвѣтущими бу-

стами, даже двѣ бѣлыя бабочки закружились въ аллеѣ.

Соничка долго стояла въ этой липовой аллеѣ и смотрѣла то на тѣни листьевъ, играющія и дрожащія на пескѣ, испещренномъ пламенными пятнами свѣта; то впередъ, въ глубину суживающагося изумруднаго свода, свѣтящагося, дрожащаго и слегка шумящаго. Потомъ она устремилась на большую лужайку передъ домомъ, въ самую густую траву, несмотря на то, что отецъ громко закричалъ ей откуда-то, что она промочить себѣ ноги. Она, дѣйствительно, промочила ноги, но за то имѣла наслажденіе утѣнуться лицомъ въ массу сиреневыхъ цвѣтовъ и ощущать ихъ свѣжее, душистое прикосновеніе къ своимъ щекамъ, пылающимъ отъ восторга.

Отъ сиреней она пошла къ дому, убѣдиться въ томъ, что все имѣетъ уже лѣтній видъ. О, Боже, какъ хорошо! Всѣ окна и двери настежь, марезы спущены; вонъ папа въ свѣтломъ лѣтнемъ костюмѣ читаетъ газету на террасѣ; вонъ тетя сидитъ у окна и зѣваетъ... все, все какъ лѣтомъ!

Во весь день Соничка почти не входила въ домъ и пребывала въ какомъ-то восторгѣ то въ саду, то въ огородѣ, то въ цвѣтникахъ, а послѣ обѣда отправилась на самый высокій балконъ, обращенный къ западу, смотрѣть, какъ закатится солнце, въ тучеу или нѣтъ? Солнце зашло удовлетворительно, въ ослѣпительномъ блескѣ оранжевыхъ лучей, зашло и точно унесло съ собой всю радость. Восторженное настроеніе Сонички вдругъ потухло, и она впала въ глубокую задумчивость. Долго, долго стояла она неподвижно и сама не понимала, что съ нею дѣлается. Зачѣмъ все такъ хорошо? Отчего это такъ ужасно, такъ горько хорошо? И зачѣмъ она одна?

Она сама удивлялась своему настроенію. „Слиш-

вомъ много возилась и волновалась, нервы разстроились!“ рѣшила она, и отправилась внизъ, намѣреваясь заняться чѣмъ-нибудь и не думать о пустякахъ.

Но вмѣсто того, до чая она разсѣянно проблуждала по комнатѣ, перетрогивая одну за другою разныя вниги, а послѣ чая очутилась въ темной гостиной у окна, раскрытаго на террасу и, положивъ голову на подоконникъ, почувствовала, какъ мало по малу ее охватило то же настроеніе, та же надрывающая сердце сладкая тоска.

Она долго сидѣла такъ, пока не раздался громкій голосъ отца, звавшій ее. Очнувшись при звукѣ этого голоса, она почувствовала, что все лицо ея омочено слезами. Она сердито нахмурилась, досадуя на себя за такую глупую сентиментальность, и рѣшительными шагами пошла къ Петру Александровичу. Ее звали для какой-то прозаической справки по хозяйству, и она рада была, что такимъ образомъ ее поневолѣ отвлекли отъ „глупыхъ мыслей“.

Эти припадки задумчивости стали повторяться довольно часто, и мало по малу она не только перестала на себя досадовать, но даже начала оправдывать себя и находить въ этомъ наслажденіе. Кругомъ было все такъ-же мирно и хорошо, такъ-же ярко сіяло солнце, такъ-же все цвѣло, пѣло и радовалось. Но та маленькая птичка, что пѣла въ ея сердцѣ, сложила свои радужныя, весело трепетавшія крылышки, и замолчала. Только по временамъ она просыпалась на нѣсколько мгновеній и потомъ опять замирала. Никогда прежде Соничка не замѣчала своего уединенія, никогда природа не дѣйствовала на нее такимъ щемющимъ душу образомъ. Она сама не знала, чего ей нужно, и съ какимъ-то отчаяніемъ повторяла въ душѣ: „Боже, Боже мой, какъ все хорошо! О, зачѣмъ все такъ хорошо? Зачѣмъ я одна и никого, никого нѣтъ, кому бы я могла все рассказать?“



Что ей хотѣлось разсказать, кому и зачѣмъ — объ этомъ она не думала. Съ серьезнымъ, задумчивымъ лицомъ и темными глазами, по цѣлымъ часамъ сидѣла она, не трогаясь съ мѣста, въ какомъ-нибудь прелестномъ уголкѣ сада или лѣса и чувствовала всею душой, что ей чего-то недостаетъ, и мысли ея блуждали гдѣ-то далеко въ пространствѣ, не имѣя ни формъ, ни предѣловъ. И эти мысли никогда не стремились туда, гдѣ день и ночь думалъ о ней человекъ, любившій ее больше всего на свѣтѣ, больше своей жизни. О немъ она вспоминала очень рѣдко, да и то чаще всего въ такихъ случаяхъ, когда отецъ внезапно возглашалъ веселымъ голосомъ:

— А что-то нашъ чижиѣкъ-пыжиѣкъ подѣлываетъ, Соня? Какъ ты думаешь? Вѣдь онъ, кажется, былъ въ тебя влюбленъ немножко?

— Ахъ, какой вздоръ, папа! — возражала Соничка и весело улыбалась, потому что ей смѣшно было, когда отецъ называлъ Мишеля „чижиѣкъ-пыжиѣкъ“, хотя она соглашалась, что это названіе къ нему подходитъ.

Въ одинъ прекрасный день, въ концѣ апрѣля, Петръ Александровичъ объявилъ своей дочери, что вечеромъ будетъ имѣть удовольствіе представить ей нѣкоего „осла“, то есть господина, который, говорятъ, очень хорошо дѣйствовалъ въ земствѣ, но имѣеть привычку воевать съ губернаторомъ и таки добился своего, то есть слетѣлъ съ мѣста. Послѣ послѣднихъ выборовъ губернаторъ не утвердилъ его въ званіи предсѣдателя уѣздной управы. Посадятъ теперь Богъ знаетъ кого, и пойдетъ каша... Осель!

— Да кто осель-то, папа?

— Щербининъ — вотъ кто осель. Да ты увидишь! — добавилъ папа съ сердцемъ. — Единственный порядочный человекъ въ здѣшнемъ земствѣ, да надо же было уродиться такому безповойному!

Соничка давно уже никого не видала, кромѣ двухъ-трехъ сосѣдей, священника да доктора, и была рада увидѣть новое лицо. Щербининъ долженъ былъ прѣхать по дѣламъ и остаться въ Петровскомъ около недѣли. Онъ прѣхалъ и сразу такъ понравился хозяину, что тотъ обошелся съ нимъ, какъ будто бы никогда и не думалъ ругать его „осломъ“.

Вслѣдствіе-ли чрезвычайной любезности Муранова или чего другого, гость продолжилъ свой визитъ на неопредѣленное время, и, что всего удивительнѣе, въ одинъ прекрасный день Соничка открыла, что у него было „лицо человѣка, умирающаго за идею...“

Справедливость требуетъ замѣтить, что съ тѣхъ поръ, какъ въ Петербургѣ была впервые найдена эта формула идеальной мужской наружности, самый идеаль значительно измѣнился. Сначала врядъ-ли это лицо было похоже на лицо Александра Александровича Щербинина, выгнаннаго губернаторомъ изъ предсѣдателей управы. Но къ концу мая Соничка готова была по-вѣяться, что именно такое должно быть лицо у человѣка, умирающаго за идею. И въ концѣ мая этой идеей, за которую онъ готовъ былъ умереть, была она сама— Соничка Муранова. Это она отлично сознавала и ничего не имѣла противъ этого. Теперь, когда она оставалась одна, она больше не плакала и не томилась неопредѣленными желаніями, а тихо улыбалась совершенно опредѣленнымъ мыслямъ и взгляду серьезныхъ сѣрыхъ глазъ, блестящихъ изъ-подъ строгихъ черныхъ бровей, взгляду, съ которымъ теперь всегда встрѣчался ея мысленный взоръ.

Впрочемъ, она теперь рѣдко оставалась одна: Александръ Александровичъ крѣпко держался своихъ убѣжденій и не любилъ расставаться со своею „идеей“. А Петръ Александровичъ до того привязался къ своему новому другу, что даже съ кротостью перенесъ извѣ-

стіе, что онъ не играетъ въ шахматы. Онъ съ лукавой улыбкой слѣдилъ за успѣхами его пристрастія въ дочери; а съ Соничкой сдѣлался особенно нѣженъ и обращался съ нею такъ осторожно, точно боялся ее спугнуть. Съ какаго новаго пути боялся онъ спугнуть ее? Это было еще не совсѣмъ ясно; но Петръ Александровичъ чувствовалъ, что новый путь открывается въ жизни его дочери, и былъ правъ. Онъ радовался этому и часто улыбался про себя.

А май мѣсяцъ цвѣлъ и благоухалъ, и въ сердцѣ Сонички расцвѣтало и вѣрило новое чувство.

### VIII.

Когда, на другой день послѣ своего разочарованія, Мишель очутился одинъ у себя въ комнатѣ, онъ серьезно задумался о своемъ горѣ.

„Что это я, въ самомъ дѣлѣ, раскисъ?“ — размышлялъ онъ. — „Что я дѣлаю и что дѣлалъ всю эту зиму? Еслибы она не уѣхала, что бы я ей сказалъ? Вотъ я, выгнанный изъ гвардіи офицеръ, нигуда негодный и ничѣмъ не замѣчательный, кромѣ скандаловъ, люблю васъ и хочу на васъ жениться... Чортъ знаетъ, что такое! Еслибы она была страшно бѣдна, то, можетъ быть, вышла бы за меня, оттого что у меня есть средства. Но, во-первыхъ, она не такая; во-вторыхъ, я бы и не полюбилъ ея, еслибы она была такая. И къ тому же, она не бѣднѣ меня. Она выйдетъ за меня, только если полюбитъ. Но за что? Развѣ я такой человекъ? Я совершенный дуракъ, ровно ничего не знаю, нигуда не гожусь...“ И проч.; и проч.

Приблизительно такими разсужденіями нашъ герой старался встряхнуть себя, и дѣйствительно встряхнулся. Онъ съ жаромъ принялся дѣйствовать, искореняя въ себѣ дурака и воспитывая человѣка. Для этого онъ на-

чалъ читать множество книгъ, рано вставать, какъ мальчишъ, желающій вести себя благонаравно, и даже рано ложиться.

Насколько и почему все это могло его сдѣлать болѣе желательнымъ мужемъ для Сонички, онъ самъ хорошенько не сознавалъ; но дѣлалъ все, что обыкновенно ему было трудно и неприятно дѣлать, постоянно переламывая себя въ пустякахъ и чувствуя отъ этого нѣкоторое удовлетвореніе и довольство собою, какую-то правоту. Онъ твердо рѣшилъ, что если Соничка полюбитъ его и согласится выйти за него замужъ, онъ подастъ въ отставку и будетъ жить въ деревнѣ, занимаясь хозяйствомъ. И къ этому нужно быть готовымъ, на всякій случай: надо быть образованнымъ человѣкомъ.

Онъ засѣлъ за книги и такъ усердно погрузился въ свои занятія, что почти не выходилъ изъ дома. Переменная въ его привычкахъ и даже въ характерѣ удивляла всю семью; но особенно поражена была Зина, открывъ въ одинъ прекрасный день, что Мишель сталъ религіозенъ. Однажды она отправилась къ обѣднѣ въ Исаакиевскій соборъ и тамъ совершенно случайно увидѣла своего брата: онъ стоялъ въ темномъ углу, прислонившись къ стѣнѣ и закрывъ глаза. Она не сразу повѣрила собственнымъ глазамъ, но это былъ онъ. Онъ не крестился, не вставалъ на колѣни и все время стоялъ съ закрытыми глазами, но съ такимъ лицомъ, что Зина была увѣрена, что онъ молился. Она инстинктивно почувствовала, что ему неприятно было бы встрѣтиться съ кѣмъ-нибудь изъ своихъ, неприятно, чтобы его здѣсь видѣли, а потому она не подошла къ нему и даже поспѣшила уйти на другой конецъ собора. Но черезъ нѣсколько времени ей ужасно захотѣлось посмотреть, тутъ-ли еще Миша, не ошиблась-ли она? Она осторожно подошла опять поближе и, остановившись такъ, чтобы онъ не могъ ее увидѣть, взглянула

на него. Ее поразила его блѣдность и страдальческое выраженіе лица: она видѣла, какъ онъ вдругъ сжалъ брови, закрылъ лицо рукою и наклонилъ голову.

„О, мой бѣдный мальчикъ, какъ ему гадко!“ подумала Зина со вздохомъ и съ того дня стала еще вдвое нѣжнѣе къ нему.

Въ концѣ апрѣля онъ рѣшился взять отпускъ на лѣто и ѣхать въ Калужскую губернію къ себѣ въ имѣніе, въ которомъ съ незапамятныхъ временъ распоряжался управляющій и куда никто изъ семьи не заглядывалъ за послѣднія десять лѣтъ.

„Тамъ я буду совершенно одинъ,“ — думалъ онъ, — „узнаю здоровую, естественную жизнь, какъ она ее называетъ. Попробую что-нибудь дѣлать. Отецъ вѣчно жалуется на воровство управляющаго, а самъ ничего не предпринимаетъ. Можетъ быть, я могу что-нибудь сдѣлать, можетъ быть, съумѣю помочь!.. А главное, я буду одинъ“.

Когда это рѣшеніе окончательно созрѣло въ его головѣ, все пошло ему наперекоръ. Бѣдному Мишелю рѣшительно ничто не удавалось. Дѣло въ томъ, что Зинаида Сергѣевна съ нѣкотораго времени начала часто приглядывать руку къ сердцу, вздыхать, охать, и нюхала столько спиртовъ и ароматическихъ уксусовъ, что, по увѣренію Зины, совсѣмъ пропиталась ими. Однажды, утромъ, она такъ усиленно культивировала свои болѣзненные симптомы, что обратила на себя вниманіе мужа: онъ устремилъ на нее саркастическій взглядъ, всталъ и, по обыкновенію, ушелъ изъ комнаты. Но вечеромъ того же дня онъ сдѣлался свидѣтелемъ другого болѣзненнаго припадка, не выдержалъ и отправился въ клубъ. Тогда Зинаида Сергѣевна заказала себѣ новый капоть и медлительную лихорадку. Она купила ужасающихъ размѣровъ мѣховое одѣяло, помѣстилась на кушеткѣ передъ каминомъ и, устре-

мивъ томный взоръ на горящіе уголья, приказала готовить для себя куринный бульонъ. Дѣло приняло серьезный оборотъ. Закутанная въ мѣховое одѣяло, окруженная флакончиками и пастилями, она вздыхала, зѣвала, кашляла и непреклонно кушала одинъ куринный бульонъ, пока, наконецъ, не послали за тѣмъ изъ друзей дома, который былъ докторомъ.

Послѣ его посѣщенія, болѣзненные симптомы исчезли и расположеніе духа больной значительно улучшилось. Она послала просить къ себѣ Ивана Владиміровича.

Онъ испустилъ сокрушающій душу вздохъ, но явился. Жена встрѣтила его съ убитымъ видомъ и произнесла подавленнымъ голосомъ:

— Mon ami, намъ необходимо разстаться.

— О-о, неужели?

— Да. Le docteur ne m'a pas laissé de doutes à ce sujet...

Мнѣ необходимо уѣхать.

Иванъ Владиміровичъ отлично понялъ, куда гнеть его супруга; но, желая немного поломаться, спросилъ, зѣвая:—Куда это?

— Сначала въ Эмсъ, pour les poumons.

— Ну, а еще?

— Въ Швейцарію, une cure de raisin. Докторъ полагаетъ, что это неизбежно, — смиренно прибавила больная.

— А еще?—продолжалъ спрашивать Иванъ Владиміровичъ.

— Ахъ, Боже мой, ничего!—заволновалась его жена.

Но Иванъ Владиміровичъ ждалъ слова „Парижъ“, а потому упорствовалъ.

— А еще?—подумай, Зинаида Сергѣевн а!

— Я и такъ совершенно épuvée, а ты все пристаешь... Я не понимаю, чего тебѣ! C'est à peine si je respire; докторъ даже говоритъ, что надо поторопиться, а то въ Парижѣ будетъ жарво совсѣмъ...

— Давно бы такъ!—прервалъ Иванъ Владиміровичъ, вставая и потягиваясь.

Зинаида Сергѣевна разсердилась.

— Вы сегодня невыносимы, Иванъ Владиміровичъ! Приговоръ доктора вамъ извѣстенъ: je me meurs, peut être!—И она поднесла платокъ къ губамъ.—Эмсъ мнѣ необходимъ...

— А Парижъ?—прервалъ неугомонный мужъ.

— Въ Парижъ я должна захватить. Ems exige des toilettes, а модистки здѣсь просто inabordables! Я берегу ваши деньги,—съ достоинствомъ прибавила Зинаида Сергѣевна.

— И прекрасно, мой другъ, береги!—вдохнулъ Иванъ Владиміровичъ.—„Ужь два лѣта сидѣла на мѣстѣ, дольше не усидить. Ну, и чортъ съ ней!“—подумалъ онъ про себя.—Съ кѣмъ же ты хочешь ѣхать?

— Я не могу ѣхать безъ дѣвочекъ, я не расстаюсь съ ними! Это hors de question. Но я желала бы тоже немножко promener par le monde и Мишеля: онъ сталъ ужасно taciturne!—живо заговорила Зинаида Сергѣевна.

— Всея компаніей, значить? А меня одного оставите... Ну, что же, и прекрасно. Я постараюсь все это устроить. Когда же ты хочешь выѣзжать?

— Я бы хотѣла въ половинѣ мая. Vous savez, les préparatifs...

— Ну, да, ну, да! Я устрою. Деньги будутъ. Можешь успокоиться.

— Ахъ, ты меня успокоилъ! Отыщи мнѣ Мишеля, мой другъ, и, если онъ дома, пришли его ко мнѣ. Я сейчасъ съ нимъ переговорю. Слава Богу, что его можно будетъ развлечь: il devient inquietant!

Мишелю его участіе въ заграничной поѣздкѣ было преподнесено не въ видѣ предложенія, а въ видѣ ультиматума; и онъ, конечно, согласился. Что же ему было

дѣлать, какъ не согласиться, такъ какъ мамаша непременно этого хотѣла? За-границу, такъ за-границу.

Рѣшено было торопиться отъѣздомъ; но изъ Парижа писали, что тамъ еще очень холодно, и Зинаида Сергѣевна не отважилась уѣхать въ половинѣ мая, какъ предполагала вначалѣ. Къ тому же, у ней было хлопотъ „*rag dessus la tête*“, и, въ довершеніе бѣдствій, знакомые сообщали изъ Эмса, что больныхъ тамъ очень мало и скука страшная. Но дѣлать было нечего. Въ концѣ мая, она выѣхала изъ Петербурга съ дочерьми и Мишелемъ, который выговорилъ себѣ право не заѣзжать въ столицу міра, а прямо изъ Берлина отправиться въ Эмсъ для приготовленія помѣщенія своей семьѣ.

Въ какомъ-то безучастномъ и апатичномъ состояніи, Мишель вошелъ въ вагонъ вмѣстѣ съ матерью и сестрами, разсѣянно пожалъ руки провожавшихъ знакомыхъ и принялъ отъ нихъ бонбоньерки, предназначенныя для услажденія дамъ во время путешествія. Спокойно проводилъ онъ глазами удаляющуюся платформу, со всей ея возней, толпой и суматохой.

Когда поѣздъ тронулся, Лена перекрестилась, Зинаида Сергѣевна замахала батистовымъ платкомъ подъ самымъ носомъ жандарма, стоявшаго на платформѣ, а Зина со слезами на глазахъ высунулась изъ вагона и начала посылать воздушные поцѣлуи отцу, не взирая на двухъ жантильныхъ офицеровъ, которые приняли ея нѣжности на свой счетъ и усердно отвѣчали ей тѣмъ же.

Мишель смотрѣлъ въ окно вагона на удаляющійся Петербургъ, и ему не было жалко оставлять его. Когда городъ совсѣмъ скрылся изъ глазъ, Зина окончательно расплакалась и воскликнула съ пафосомъ: „Что это, какъ мнѣ грустно! Точно я никогда, никогда больше не увижу папы и Петербурга! Это страшная вещь!..“

— Никакой вещи нѣтъ; все вздоръ, Зиночка! — отозвался Мишель спокойно. — Скоро и въ Петербургъ вер-



немся. Не хочешь-ли, я твои конфеты достану или книжку?

И въ его голосъ было столько спокойной увѣренности, что Зина тотчасъ развеселилась и согласилась на его любезное предложеніе, замѣтивъ, однако же, съ опасеніемъ, не рано-ли приниматься за конфеты? Вѣдь только-что отъѣхали.

На станціи въ Лугѣ, гдѣ всѣ выходили обѣдать, Зинаида Сергѣевна почувствовала себя уже столь иностранной, что съ величайшимъ пренебреженіемъ объявила: „Какъ въ Россіи дурно кормятъ!“ И съ этой минуты пришла въ самое радужное настроеніе, съ каждою секундою чувствуя себя все ближе и ближе къ Парижу. Она курила пахитоски, перелистывала французскую книжку и безпрестанно пересчитывала свои мѣшки и дорожные несессеры.

Часы проходили, поѣздъ мчался. Зинаида Сергѣевна устала и томно объявила, что въ Германіи очень дурно кормятъ. Даже перспектива Парижа не оживляла ея бодрости, и Мишель привезъ мать въ Берлинъ до такой степени раскисшею, что ее пришлось чуть не ложками собирать, чтобы усадить въ карету. Впрочемъ, въ Берлинѣ она скоро оправилась и, подерѣпившись титуломъ Generalin и вываренной говядиной съ черничнымъ вареньемъ, которыми ее угощали въ отелѣ, вскорѣ совсѣмъ приготовилась ѣхать далѣе.

Однажды утромъ, въ послѣднихъ числахъ мая, Мишель усадилъ мать и сестеръ въ вагонъ и проводилъ въ Парижъ, а самъ вечеромъ того же дня выѣхалъ чрезъ Франкфуртъ въ Эмсъ. Онъ добрался туда рано утромъ, въ подавленномъ, апатичномъ настроеніи, и безъ всякой энергіи принялся отыскивать будущее помѣщеніе для своей семьи. Зинаида Сергѣевна ни за что не хотѣла жить въ отелѣ и поручила ему нанять непременно отдѣльную виллу. Въ отелѣ „Четырехъ Башень“, гдѣ

остановился Мишель, его, конечно, завѣрили, что посѣтителей бездна и ни одной свободной виллы не найдешь. Вечеромъ, въ томъ же отелѣ, когда онъ выразилъ удивленіе по поводу возвышенныхъ цѣнъ на кушанья, ему объяснили, что въ виду немногочудного сезона и недостатка посѣтителей, всѣ отели принуждены повысить цѣны. Мишель понялъ, что въ этомъ благословенномъ мѣстѣ онъ толку не добьется, и отправился блуждать по Эмсу, съ твердымъ намѣреніемъ исходить весь городъ до мельчайшей подробности, какъ по лѣвому, такъ равно и по правому берегу рѣки.

Наконецъ, послѣ нѣсколькихъ дней тщетнаго блужданія, поиски его увѣнчались успѣхомъ: онъ нашелъ небольшой домикъ съ хорошенькимъ садомъ, носившій трогательное названіе „Vergissmeinnicht-villa“ и стоявшій недалеко отъ курвала, обстоятельство, которое должно было привести его мать въ величайшее восхищеніе.

Вилла состояла изъ очень кокетливаго домика съ мезониномъ, съ двумя балконами и крытой террасой. Въ саду были и розовыя бесѣдки, и амуръ съ отбитымъ крыломъ, и красивая платановая аллея, и вазы съ настурціями. Въ ожиданіи пріѣзда своихъ, Мишель тотчасъ же поселился въ новой квартирѣ, и зажилъ спокойно, проводя время въ мирной зѣвотѣ и блужданіи по парку, или по саду своей виллы и мечтая о возвращеніи въ Россію и о „ней“. Спалось ему плохо, и потому въ шесть часовъ утра онъ съ удовольствіемъ отправлялся наслаждаться музыкой, наравнѣ съ прочими обитателями Эмса; а такъ какъ ему ничего не нужно было пить, то онъ и ходилъ по парку медленнымъ шагомъ, безъ всякой цѣли, слушая оркестръ и критически оглядывая немощныхъ и здоровыхъ больныхъ.

Въ одно прекрасное іюньское утро, лѣниво бродя такимъ образомъ по парку, онъ наткнулся на двухъ дамъ, сразу обратившихъ на себя его вниманіе. Онъ

шли впереди его и громко говорили по русски; голосъ одной изъ нихъ показался ему очень знакомымъ. Гдѣ онъ слышалъ этотъ голосъ? Онъ поспѣшно прибавилъ шагу, обогналъ ихъ, оглянулся и въ неистовомъ восторгѣ воскликнулъ:

— Прасковья Александровна!..

Да, это была Прасковья Александровна Муранова, но значительно помолодѣвшая и измѣнившаяся. Ея глаза, очерченные интереснымъ оттѣнкомъ бистра, ярко блестя на фонѣ удивительно лилейнаго лица, подъ защитой прехорошенькихъ новыхъ бровей. На ея взбитыхъ волосахъ граціозно сидѣла маленькая шляпка, обвитая сиренью, которую игриво клевала парижская райская птица, а платье Прасковьи Александровны представляло собою восхитительное лиловое облако. Обновленная дѣвица очень мило вскрикнула отъ изумленія и съ энтузіазмомъ протянула Мишелю сиреневую ручку.

— Ахъ, monsieur Мишель, какъ я рада! У насъ такой милый кружокъ петербургскихъ знакомыхъ, только васъ не доставало!

У Мишеля замерло сердце.

— Вы здѣсь однѣ?—проговорилъ онъ въ волненіи.

— Одна, совсѣмъ одна!—жалобно заговорила Прасковья Александровна.—Кстати! позвольте васъ представить моей компаньонѣ, m-lle Сеницыной. Анна Михайловна! мой другъ, monsieur Загребскій!

Мишель позволилъ себя представить и раскланялся съ молодой особой, чрезвычайно строгаго вида, имѣвшей очень острый носъ, тонкія губы и пронзительные глаза. Она была облечена въ влѣтчатую одежду темныхъ цвѣтовъ, носила шляпку самаго эмансипированнаго фасона и съ рѣшительнымъ видомъ опиралась на коричневый зонтикъ.

Мишель предложилъ руку Прасковьи Александровнѣ и нерѣшительно спросилъ, гдѣ же ея братъ?

— Ахъ, онъ тамъ въ деревнѣ киснетъ, оранжереи перестраиваютъ! Но объясните мнѣ, ради Бога, какими судьбами вы очутились здѣсь? Такая пріятная случайность!

— Мать у меня больна...—началь было Мишель.

— Больна? Скажите, пожалуйста, какой непріятный случай! И вы пріѣхали сюда?

— Я здѣсь пока одинъ; приготовилъ квартиру и жду папаша съ сестрами...

— Онъ еще не пріѣхалъ? Ну, скажите, какая жалость! Вы, должно быть, умираете отъ скуки, бѣдный молодой человекъ! Какое счастье, что я васъ встрѣтила... У васъ здѣсь есть знакомые?—затараторила Прасковья Александровна.

— Нѣтъ, знакомыхъ нѣтъ, но...

Мишель небрежно освѣдомился о здоровьѣ ея племянницы.

— Софи? Мегсі, здорова совершенно. Страшно загорѣла и подурнѣла ужась! Ужь я ей сколько говорила: ты, душечка, окончательно испортишь цвѣтъ лица, если не будешь избѣгать солнца... Надо вамъ сказать, что я старше ея,—обязательно сообщила Прасковья Александровна:—а между тѣмъ, посмотрите, какой у меня цвѣтъ лица!

„Полтора рубля банка“, подумалъ Мишель съ годованіемъ.

— А что ваша племянница не скучаетъ? Деревня еще не надоѣла ей?

— Ей? Нѣтъ, у нея самые странные вкусы; ей деревня никогда не надоѣсть. Вотъ я—другое дѣло. У меня такая живая природа, я такъ привыкла къ цивилизаціи, что рѣшительно не могу жить въ деревнѣ: сейчасъ начинаю тосковать, такъ меня и тянетъ въ Европу!

— А давно вы оставили вашихъ?

— Я здѣсь очень недавно, всего нѣсколько дней, какъ изъ Россіи. Я выѣхала изъ Петровскаго въ по-

слѣднихъ числахъ мая; такъ мнѣ тамъ надоѣло, вы не повѣрите! Ну, вотъ я и дома: я живу въ Hôtel Royal, надѣюсь, что вы ко мнѣ? Русскимъ чаемъ васъ угощу... Такъ пріятно вспомнить родную землю!

Мишель принялъ приглашеніе и нѣсколько времени еще слушалъ рассказы Прасковьи Александровны. На прощанье, онъ долженъ былъ дать ей два обѣщанія: во-первыхъ, посѣтить ее опять въ скоромъ времени, а во-вторыхъ, помнить, что она извѣстна въ Эмсѣ отнюдь не въ качествѣ дѣвицы, но какъ молодая вдова, и при случаѣ называть ее сообразно этому обстоятельству „фрау“, а не „фрейлейнъ“. Она съ жаромъ объясняла, что это необходимо ради ея удобства и для сохраненія приличій. Сохрани Богъ, если въ Германіи узнаютъ, что такая одинокая особа „еще“ дѣвица! Мишель обѣщаль то и другое и отправилъ домой въ самомъ лучшемъ расположеніи духа, такъ какъ услыхалъ отъ Прасковьи Александровны, что въ Петровскомъ не было „ни души“, и проч. Прасковья Александровна увѣряла между прочимъ, что о немъ вспоминаютъ ежечасно и говорятъ ежеминутно; а это было ему очень пріятно, хотя онъ и чувствовалъ, что она вретъ.

Время прошло незамѣтно до половины іюня, когда пріѣхали его сестры и мать. Послѣдняя немедленно познакомилась съ Прасковьей Александровной: обѣ дамы нашли другъ друга очаровательными и заключили дружескій союзъ, хотя за глаза каждая отзывалась о новой пріятельницѣ въ нѣсколько саркастическомъ тонѣ. Обѣ рассказывали знакомымъ одна про другую, что она „ужасно молодится и воображаетъ о себѣ“. Къ этому Зинаида Сергѣевна прибавляла: „mais bonne fille au fond, cette vieille Pachtette; а Прасковья Александровна при-сокупляла: „передніе зубы вставлены, душечка, ужъ я вижу... И тянется—страхъ!..“ Это, конечно, не мѣшало имъ быть друзьями.

Къ несчастію, Прасковья Александровна почти не получала писемъ изъ дому; только короткія увѣдомленія, что всѣ здоровы. Мишель очень сожалѣлъ объ этомъ; но и то было хорошо, что съ Прасковьей Александровной можно было поговорить о предметѣ его страсти. Однажды онъ чуть было не признался ей въ своей любви къ ея племянницѣ, но остановился на полдорогѣ, замѣтивъ во-время, что Прасковья Александровна не на шутку приняла его чувства на свой счетъ и собралась упасть въ нему на грудь, чуть только онъ выскажется яснѣе.

Все это было прекрасно; но и этому прекрасному скоро суждено было кончиться. Время неумолимо шло впередъ; прошелъ іюнь, и Прасковья Александровна съ обществомъ своихъ знакомыхъ уѣхала въ Интерлакенъ, тысячу разъ обѣщавъ непремѣнно посѣтить дорогую Зинаиду Сергѣевну въ Петербургъ и выразивъ надежду встрѣтиться съ нею еще раньше, въ Швейцаріи.

Вскорѣ и Зинаида Сергѣевна начала находить перемѣну мѣстности необходимой для своего здоровья и стремилась вонъ изъ Эмса, хотя всѣмъ тамъ было очень хорошо. Зина находила, что довольно глупо жить въ Фергиссмейнъ-нихтъ-виллѣ, но самую виллу очень любила и ей не хотѣлось разставаться съ Эмсомъ. Лена вообще предпочитала осѣдлую жизнь странствіямъ и готова была жить гдѣ угодно, лишь бы сидѣть на мѣстѣ. Но мать совсѣмъ заняла; эмскія воды сдѣлались ей вредны, и въ двадцатыхъ числахъ іюля семейство переселилось въ окрестности Женевы; тутъ предполагалось прожить до начала винограднаго леченья, которое Зинаида Сергѣевна намѣревалась предпринять въ Вевѣ.

## IX.

Мишель скучалъ. Ему страшно надоѣлъ Вевэ. Наступили двадцатя числа сентября, по новому стилю, а Зинаида Сергѣевна и слышать не хотѣла объ отъѣздѣ: она толковала что-то о тропикахъ, о нѣжности своей кожи, о „grands tableaux de la nature“, и изъ всего этого у нея выходило, что уѣзжать изъ Вевэ невозможно, и главное не слѣдуетъ.— „C'est imprudent“, рѣшила почему-то Зинаида Сергѣевна и такъ прониклась этимъ „диетономъ“, чо и сама увѣровала.

Единственную отраду Мишеля составляли прогулки, въ одиночествѣ или съ Зиной. Особенно часто уходилъ Мишель на кладбище въ Sлагенс, гдѣ проводилъ многіе часы. Зина охотно сопутствовала ему туда, хотя всегда сердилась, что нельзя было рвать великолѣпныхъ цвѣтовъ, которые дѣлають всё кладбища на берегахъ Жевевскаго озера похожими на колоссальные цвѣтники, среди которыхъ разсыны надгробные памятники, часовни, статуи, ивы и кипарисы. Тѣнистое, душистое уединеніе кларанскаго кладбища, видъ на озеро и горы отъ его каменной ограды—все это совершенно гармонировало съ настроенемъ Мишеля.

Однажды, Мишелъ вернулся изъ столовой въ свою комнату и подошелъ къ окну, выходящему на улицу; глазамъ его представилось печальное зрѣлище: густой туманъ, скрывающій дома на противоположной сторонѣ, мокрая мостовая, мутныя ручейки вдоль троттуара, и въ довершеніе картины Торжественная процессія—девять дождевыхъ зонтиковъ въ борьбѣ съ непогодой, свидѣтельствующіе о томъ, что семья Смитовъ возвращается съ вечерняго богослуженія, отецъ во главѣ, шестая дочь въ хвостѣ шествія. Мишель зѣвнулъ отъ всей души и рѣшился прилечь, не спать, конечно, а такъ только,

полежать послѣ обѣда. Но онъ тотчасъ заснулъ и проспалъ часа два, къ своему величайшему удивленію.

Когда онъ уже пришелъ въ себя и разсуждалъ самъ съ собою о томъ, какъ могло случиться, что онъ заснулъ, къ нему постучались и въ комнату вошелъ мистеръ Уайзъ, американецъ, съ которымъ онъ познакомился на дняхъ. Они другъ другу очень нравились и часто отправлялись вдвоемъ кататься въ лодкѣ. И на этотъ разъ Уайзъ объяснилъ по-англійски, что пришелъ предложить прогулку по озеру.

— Въ такой дождь?— удивился Мишель по-французски, такъ какъ они всегда объяснялись на двухъ языкахъ.

— Дождь? Nonsense; посмотрите, какая свѣтлая лунная ночь!

И дѣйствительно, дождя и помину не было; полная луна сіяла на небѣ. Сѣрый пейзажъ, расположившій ко сну, остался за предѣлами сна. Когда длинный Уайзъ отдернулъ занавѣску, спущенную Мишелемъ за два часа передъ тѣмъ, въ окно взглянулъ новый, таинственный пейзажъ—серебряный съ чернью.

Открыли окно: въ комнату ворвался теплый воздухъ, съ запахомъ мокрой земли, цвѣтовъ и листьевъ. Мишельдохнулъ полною грудью и невольно подумалъ, что это какое-то волшебство.

Онъ согласился, что на озерѣ должно быть теперь хорошо, и отправился съ американцемъ. Они прошли сквозныя сѣни отеля, вышли въ садъ и направились къ маленькой пристани, которая бѣлѣла при лунѣ своими каменными плитами, подъ навѣсомъ прибрежныхъ деревьевъ. Сѣли въ лодку: Мишель на руль, Уайзъ взялся за весла и легкая лодка тихо поплыла по направленію къ Кларансу и Монтре, по серебряной дорогѣ, которую провладывалъ лунный свѣтъ по черной поверхности озера.

Мишель былъ въ странномъ состояніи; точно въ



полуснѣ видѣлъ онъ строгое, серьезное лицо американца; при бѣломъ лунномъ свѣтѣ еще рѣзче казались его рѣзкія черты, еще блѣднѣе его блѣдное лицо, еще чернѣе его черные волосы съ просѣдью. Тѣнь отъ шляпы рѣзкою чертой рисовалась на его лбу, а коротенькая сигара, которая вспыхивала красными искорками, казалась частью его самого, точно она выростала изъ стиснутыхъ зубовъ. Онъ справлялся съ веслами лѣниво и небрежно, безъ малѣйшаго усилія, и вся его фигура въ сѣромъ пальто была ярко освѣщена луною. Вокругъ лодки трепетали черныя и серебряныя струи; по берегу искрились огоньки въ окнахъ; дома блестѣли черепичными крышами и неосвѣщенными стеклами. Ярко бѣлѣя стѣны, рѣзкія черныя тѣни, черные силуэты зданій, горъ и деревьевъ—все это двигалось, двигалось, уходило. Мишель закрылъ глаза на половину, и ему представилось, что его уносить куда-то въ пространство, въ воздухъ...

Они долго плыли, не говоря ни слова; только и слышались удары веселъ и всплескиваніе воды. Отъ берега они были близко; но оттуда не доносилось звуковъ: все точно замерло. Мишель такъ глубоко и сладко задумался, что не понималъ больше, гдѣ онъ и что съ нимъ. Женевское озеро, берега и небо—все слилось съ тѣмъ сномъ, который онъ видѣлъ на-яву, и все вмѣстѣ составляло что-то прекрасное, волшебное, по неопредѣленное, что видѣла больше его душа, чѣмъ глаза. Это продолжалось долго, подъ аккомпаниментъ воднаго плеска; потомъ къ звуку воды, прорѣзываемой веслами, примѣшалась музыка. Сначала ему чудилось, что она звучитъ вмѣстѣ съ водой, въ водѣ; потомъ она стала яснѣе и ближе. Онъ ясно различалъ знакомую мелодію итальянской народной пѣсенки, которую пѣли струнные инструменты; гитара выдѣлялась изъ хора и звенѣла короткими, серебристыми аккордами.

— Серенада, — сказалъ голосъ близко отъ Мишеля.

Говорилъ Уайзъ. Мишель вернулся изъ своей экскурси въ волшебную страну къ волшебной дѣйствительности. Уайзъ сложилъ весла, снялъ шляпу и прислушивался съ яснымъ, спокойнымъ выраженіемъ на лицѣ. Они были недалеко отъ берега, у Кларанса. Въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ нихъ по озеру медленно двигалась цѣлая вереница лодокъ, наполненныхъ людьми, и съ одной изъ нихъ доносилась музыка. Тамъ и сямъ отъ береговъ отчаливали еще другія лодки и присоединялись къ поѣзду. Музыка раздавалась все громче; къ инструментамъ присоединилось нѣсколько голосовъ. На берегу стали появляться группы людей; на набережной, на балконахъ, всюду виднѣлись человѣческія фигуры, бѣлѣвшія при лунѣ. Вотъ громкій заключительный аккордъ; музыка смолкла, и съ берега слышались рукоплесканія. Опять зазвенѣли аккорды гитары, сильный мужской голосъ запѣлъ, вмѣстѣ со скрипками, популярную итальянскую пѣсню, и хоръ дружно подхватывалъ: „Santa Lucia! Santa Lucia!“ Звуки пѣсни разносились въ воздухѣ, точно сливаясь съ серебрянымъ луннымъ свѣтомъ, дополняя его своими дрожащими, задумчивыми возгласами.

Мишель слушалъ, очарованный; Уайзъ наклонилъ свою темную голову, облокотился на руку и подпѣвалъ сквозь зубы. Лодку тихо несло къ берегу, все ближе и ближе. Они очутились у самаго сада вновь выстроеннаго пансіона, съ низкими, недавно посаженными деревьями. Самый домъ, двухъ-этажный, съ большими, ярко освѣщенными окнами, стоялъ близко у берега: можно было слышать голоса людей, разговаривавшихъ на балконѣ второго этажа.

Музыка удалялась, берегъ приближался. Уайзъ взялся за весла и только что хотѣлъ повернуть лодку и послѣдовать за удаляющеюся флотиліей, какъ лодка

закачалась: Мишель вскочилъ, перепрыгнувъ черезъ лавочку, шагнулъ впередъ, точно собирался выйти изъ лодки и пуститься пѣшкомъ по озеру.

— What about? Что такое?—проговорилъ американецъ.

Но Мишель рѣшительно не могъ ничего сказать: руки и ноги его дрожали; ему хотѣлось зачѣмъ-то взять весла у Уайза; сердце его страшно билось, а глаза не отрывались отъ освѣщеннаго фасада дома, видѣвшагося изъ-за низенькихъ деревьевъ.

— Что съ вами?—переспросилъ Уайзъ.

Мишель не слышалъ вопроса и ничего не понималъ; онъ видѣлъ только окно со спущенной стороной, на которой ясно рисовался темный силуэтъ. Неужели это она?.. Вотъ она, маленькая головка, увѣчанная фригійской шапкой дѣвы-республики; вотъ ея тонкій профиль, съ его незабвенными очертаніями...

Темный силуэтъ задвигался, исчезъ со сторы. Въ сосѣдней комнатѣ съ открытыми окнами быстро мелькнула фигура, и на балконѣ показалась женщина въ свѣтломъ платьѣ. Она перегнулась черезъ перила и громко, весело закричала, обращаясь къ кому-то стоявшему внизу, подъ деревьями:

— Поѣдемъ за ними! Поѣдемъ, я хочу!

Это была она. Слова были произнесены по-русски, и несомнѣнно это былъ ея голосъ.

— Des connaissances... Au rivage, plus vite... Je vous prie...—залепеталъ Мишель дрожащимъ голосомъ и сѣлъ не потому, чтобы понять, что стоять не слѣдуетъ, а потому, что ноги не держали его больше.

Уайзъ ничего не понималъ, а, впрочемъ, послушался. Лодка подошла къ берегу; Мишель прыгнувъ на ступеньку пристани, въ одну минуту очутился подъ балкономъ и закричалъ прерывающимся отъ волненія голосомъ, съ фанатической радостью:

— Софья Петровна, у меня лодка здѣсь! Хотите?

— Ай, кто тамъ? — воскликнулъ голосъ съ веселымъ испугомъ. — Папа, кто съ тобой?

— Это я, я... Загребскій. Здравствуйте! Гдѣ Петръ Александровичъ?

— Здѣсь я, батюшка. Вы-то откуда взялись, съ неба что-ли упали? — возвѣстилъ Петръ Александровичъ подъ бокомъ.

— Я изъ Вевэ... Да это все вздоръ... А вы какъ здѣсь, дорогой, дорогой Петръ Александровичъ?

Петръ Александровичъ съ жаромъ ухватилъ его за руку и началъ трести, объясняя что-то о своей поясицѣ, и о катаррѣ, и о виноградѣ. Мишель ничего не слыхалъ; онъ ждалъ, и не долго ждалъ. Соничка явилась, какъ ураганъ; съ разбѣгу насилу остановилась, протянула ему обѣ руки и привѣтствовала съ какою-то необузданною радостью.

„Она меня любить!“ закричалъ онъ въ душѣ.

— Какъ я рада, какъ я рада! — воскликнула она въ восторгѣ и десять разъ принималась разспрашивать и рассказывать, все время увѣряя, что рада его видѣть.

Никогда онъ ея не видалъ такую: она не могла успокоиться; но не лихорадочное возбужденіе, а яркое, счастливое веселье точно разливалось вокругъ нея. Уайзъ былъ представленъ и не обнаружилъ ни малѣйшаго неудовольствія, когда Мишель предложилъ Соничкѣ свою лодку. Петръ Александровичъ съ ужасомъ взобрался на среднюю скамейку, а Соничка замѣшлась на берегу, успокоивая какого-то господина, который вломился въ амбицію изъ-за того, что не воспользовался его услугами; но Мишель не обратилъ на это вниманія. Она усѣлась, наконецъ; Уайзъ занялъ свое мѣсто, и лодка отчалила.

Мишель смотрѣлъ на Соничку и думалъ, что это волшебство. Да, волшебная встрѣча, точно въ сказкѣ.

Но всего страннѣе все-таки было ея лицо. Что такое было въ ея лицѣ особеннаго? Мишель рѣшительно не понималъ ея новаго взгляда и выраженія, но каждый разъ, какъ она на него смотрѣла, изъ глазъ ея сіялъ восторгъ, счастье, и сердце его трепетало, и онъ повторялъ себѣ: „она меня любитъ“. Да, она любила его, любила Уайза, любила озеро, музыку, лодку, все, все любила, потому что она была счастлива.

Она должна была уѣхать изъ Петровскаго, когда ей всего менѣе хотѣлось уѣзжать; но она уѣхала съ увѣренностью въ своемъ счастьѣ. Ей принадлежала любовь, которая заставляла ее любить весь міръ; и она знала, что тотъ, въ комъ теперь сосредоточивался весь ея міръ, скоро будетъ съ нею и навсегда. Когда она уѣзжала, онъ ей самъ сказалъ, что вскорѣ послѣдуетъ за нею, что ему необходимо покончить съ нѣкоторыми дѣлами, а потомъ онъ будетъ съ нею, гдѣ бы она ни была. Онъ ей не говорилъ, что прійдетъ, потому что не можетъ жить безъ нея; онъ не просилъ ея быть его женой, но она знала, что это такъ, что она скоро будетъ его женою. Послѣ этого какъ же ей не любить всего міра, не радоваться жизни? Черезъ нѣсколько дней „онъ“ прійдетъ; его лицо—лицо умирающаго за идею—всегда представляется ей, и сердце ея полно ликованія. Она искренно обрадовалась Мишелю, но въ этой радости примѣшался еще весь восторгъ ея счастливой души, и она обманула его. „Она меня любитъ!“ раздавалось въ глубинѣ его сердца.

И онъ потерялъ сознание дѣйствительности и окончательно погрузился въ очарованный сонъ.

## Х.

Когда Мишель на другой день проснулся и вспомнилъ вчерашній вечеръ, весь міръ показался ему пол-

нымъ новой прелести. Онъ повторялъ себѣ, что она его любитъ, доказывалъ себѣ это, и приходилъ все къ болѣе и болѣе восторженное состояніе. Наканунѣ онъ вернулся поздно, спать не могъ всю ночь, заснулъ только съ разсвѣтомъ, но дольше семи часовъ утра не могъ проспять и къ девяти былъ уже въ пансіонѣ „Clos du Lac“, гдѣ жили Мурановы. Онъ засталъ Соничку оживленной и веселой. Она собиралась съ отцомъ и съ цѣлымъ обществомъ ѣхать въ Саксонъ смотрѣть на рулетку. Мишеля она встрѣтила съ тѣмъ же сіяющимъ и счастливымъ лицомъ...

— Скажу ей сегодня же, — подумалъ онъ съ замирающимъ сердцемъ.

Она весело пригласила его присоединиться къ „partie de Saxon“.

— Можетъ быть, вы опять наслѣдство получили, такъ вотъ вамъ случай отъ него избавиться! — сказала она, смѣясь, и тотчасъ куда-то исчезла. Онъ еще наканунѣ замѣтилъ, что она удивительно похорошѣла, хотя прежде ему казалось невозможнымъ, чтобы она могла быть еще лучше.

Мишель никого и ничего не видѣлъ, кромѣ нея, и готовъ былъ отнестись благодушно и даже нѣжно ко всѣмъ, потому что думалъ, что она любитъ его. Однако, даже и онъ, въ своемъ чаду надеждъ и сладкаго ожиданія „той минуты“, не могъ не замѣтить, что среди компаніи, отправлявшейся въ Саксонъ, у Сонички было два поклонника: молодой голландецъ съ загорѣлымъ лицомъ и военной осанкой, и вялый, томный бельгіецъ лѣтъ тридцати пяти, безпрестанно лавировавшій между своей толстой женой и Соничкою, которую называлъ „cette blonde enfant“, закатывая глаза и проводя рукою по лбу и по темнымъ, жидкимъ волосамъ, словно приклееннымъ въ его головѣ.

Поѣздъ отходилъ въ половинѣ десятого. До отъѣзда,

въ тѣ полчаса, которые Мишель провелъ въ отелѣ Clos du Lac, ему, конечно, не удалось ни минуты побыть вдвоемъ съ Соничкой. Общество собралось не безъ затрудненій. Дамы все забывали что-нибудь, отправлялись „на одну секунду“ въ свои комнаты и тамъ застрявали; но все-таки дольше всего пришлось дожидаться томнаго бельгійца, который, позабывъ о своихъ нервахъ, съ ожесточеніемъ гонялся у садовой ограды за ящерицей, такъ какъ, по его убѣжденію, хвостъ ящерицы приносилъ счастье на рулеткѣ.

Наконецъ, всѣ собрались и отправились пѣшкомъ на станцію, до которой было минутъ десять ходьбы. Общество заняло чуть-ли не цѣлый вагонъ. Мишелю не удалось сѣсть возлѣ Сонички, но онъ все время видѣлъ ее съ своего мѣста и слышалъ, что она говорила. Впрочемъ, разговоръ былъ общій: Соничка рассказывала, что видѣла во снѣ, будто она выиграла семьсотъ франковъ ровно въ полдень въ какой-то средней залѣ.

— Тамъ и есть три залы: непременно играйте въ средней! — съ энтузіазмомъ внушалъ бельгіецъ: — *je vous préterai ma queue de lézard.*

Около полудня пріѣхали въ Саксонъ. День былъ жаркій и оказалось, что на открытомъ воздухѣ ничуть не легче, чѣмъ въ вагонѣ. Дулъ довольно сильный сирокко, и въ горячемъ воздухѣ стояла мелкая песчаная пыль.

— Какое гадкое мѣсто! — удивленно воскликнула Соничка, выходя изъ вагона. — Какъ тутъ непріятно!

Дѣйствительно, мрачный видъ необыкновенно узкой въ этомъ мѣстѣ ронской долины, сама Рона мутная, злобная, пѣнистая, обрывистая, темная, совершенно обнаженные горы, сердито обступившія долину, и жалкая, колючая, какая-то сѣрая растительность очень негостепріимно смотрѣли на пріѣхавшее веселое общество, а маленькое зданіе станціи, грязное и тѣсное,

было ужь вовсе непривлекательно. Экипажей не было, да и не требовалось въ виду близости курзала, гдѣ помѣщается рулетка. Въ курзалѣ или, какъ его тамъ называютъ, въ казино, общество прежде всего отправилось завтракать, и, очутившись въ большой прохладной комнатѣ со спущенными жалузи, всѣ вздохнули полегче.

— Vous me donnerez le bras pour me porter bonheur, — говорилъ бельгіецъ Соничѣвъ умирающимъ голосомъ. — Знаете, ничто такъ не приноситъ счастья, какъ присутствіе невиннаго существа — d'une innocente enfant! — пояснялъ онъ Петру Александровичу.

— Ah, oui, oui! — басомъ соглашался Петръ Александровичъ, набивая ротъ форестью. — Garçon, бутылку Иворна!

— Мы будемъ пить шампанское, général, не такъ-ли? Aux premières armes de mademoiselle... — убѣдительнымъ тономъ говорилъ голландецъ, который, неизвѣстно отчего, звалъ Петра Александровича генераломъ; вѣроятно, потому, что самъ былъ капитаномъ. Впрочемъ, Петръ Александровичъ былъ этимъ доволенъ. Противъ шампанскаго онъ тоже ничего не имѣлъ.

За десертомъ всѣ встали; мужчины, роняя салфетки и перепрыгивая черезъ дамскіе трѣны, поспѣшили съ бокалами къ дамамъ; всѣ разомъ заговорили, оживились и, рѣшившись выиграть множество денегъ, собрались идти на рулетку. Петръ Александровичъ вдругъ началъ уговаривать свою дочь не волноваться и „ужь лучше не играть“.

Рулетка помѣщалась, какъ и ресторанъ, въ зданіи казино. Первая зала, небольшая странная комната съ зелеными обоями и съ множествомъ оконъ во всѣхъ стѣнахъ, только промелькнула въ глазахъ Сонички. Бельгіецъ повелъ ее въ среднюю залу, дабы ея сонъ, по возможности могъ сбыться. Въ этой длинной, узкой



комнатѣ во всю длину стоялъ столъ, въ срединѣ котораго помѣщалась рулетка, съ своимъ вогнутымъ, вдѣланнымъ въ столъ металлическимъ кругомъ, оваймленнымъ желобками, по которымъ катался костяной шарикъ. Весь столъ окруженъ былъ играющими: нѣкоторые сидѣли у самаго стола, другіе стояли за рядомъ стульевъ; многіе отмѣчали что-то карандашемъ на картонныхъ таблѣткахъ, считали, соображали; безпрестанно протягивались руки, оставлявшія деньги на столѣ, въ квадратахъ, разграниченныхъ на сукнѣ желтою краской. Банковые билеты, золотыя, серебряныя монеты безпрестанно разсыпались по столу то кучками, то тщательно составленными столбиками; снова протягивались руки и собирали, загребали эти монеты и билеты, и опять размѣщали ихъ по сукну. Чаще всего протягивалась рука толстаго, блѣднаго крупье, вооруженная лопаточкой. Онъ стоялъ у середины стола, полузакрывъ свои заплавышіе глаза, которые, въ сущности, зорко слѣдили и за движеніями костяного шарика, и за ставками; лѣвой рукой онъ часто гладилъ свои лоснящіеся, напомаженные усы и эспаньолку, и повторялъ однообразнымъ, соннымъ голосомъ: „Faites votre jeu, messieurs, faites votre jeu...“

Соничка сначала ничего не поняла. Вся эта разнородная толпа, совершенно безмолвная, не спускающая глазъ съ катающагося костяного шарика и съ длиннаго стола, испещреннаго цифрами и разноцветнаго на вѣтвѣ, ошеломила ее. Она оглядывалась вокругъ въ недоумѣніи и съ какимъ-то неприятнымъ чувствомъ. Тяжелое молчаніе, среди котораго раздавался свучающій голосъ жирнаго крупье и жужжащій звукъ костяного шарика по металлическому желобу, иногда глубокій вздохъ, или осторожный кашель въ разныхъ углахъ залы — все это подавляло ее.

— Ну, что же, начнемъ? — предложилъ ей кавалеръ.

— Вы сами хотите ставить?

Она какъ-то машинально вынула двадцати-франковый золотой, повертѣла его въ рукахъ и остановилась.

— Сколько вамъ лѣтъ? Поставьте на цифру вашихъ лѣтъ, — совѣтовалъ голландскій капитанъ.

Она отыскала глазами на сукнѣ цифру 21 и протянула руку.

— Ne risquez pas sur le numéro, mettez à cheval! — торопливо шепталъ бельгіецъ надъ самымъ ея ухомъ. Она не поняла его словъ и положила монету около цифры 21. Потомъ вынула другой золотой, оглянулась, увидѣла около себя Мишеля, улыбнулась и протянула ему монету:

— Положите за меня! — шопотомъ сказала она, — на ваше счастье.

Мишель успѣшилъ исполнить ея желаніе. Шарикъ остановился, соскочилъ; врупье проговорилъ тѣмъ же голосомъ: „Rien ne va plus!“

— Вотъ вамъ и сорокъ франковъ, — сказалъ Мишель. — Что же, довольно? Насмотрѣлись?

— Да, больше сорока франковъ я не намѣрена проигрывать.

— Такъ, стало быть, и пойдете, — сказалъ Мишель, радуясь, что бельгіецъ, увлекшись игрой, оставилъ свою даму.

— Сейчасъ, я только посмотрю, что изъ этого выйдетъ. Можетъ быть, и выиграю, почему вы знаете?

— Выиграете? Да вы ужь давно проиграли!

— Какъ? — удивилась она, — когда же?

— О, это скоро дѣлается; не успѣешь оглянуться — и конецъ.

— А вы не будете играть?

— Я ужь все проигралъ, едва на обратный билетъ хватить. Да у меня и было съ собой немного: (франковъ двѣсти всего.

— Какъ скоро... Я просто не могу понять, какъ

это дѣлается. Ужасно глупая игра!

— Ну, и пойдѣте прочь, пойдѣте въ садъ!—убѣдительно просилъ Мишель.—Право, нечего здѣсь больше дѣлать.

Она взяла его руку и согласилась идти въ садъ, но только ей хотѣлось еще посмотрѣть на играющихъ. Ее особенно поразила одна молоденькая дѣвушка, которая сидѣла возлѣ крупье, и, безпрестанно протягивая худыя, обнаженныя руки и вытягивая шейку, быстро собирала и ставила передъ собою столбики монетъ. Она безпрестанно выигрывала. Ея хорошенькое лицо съ тонкими чертами, съ чуть замѣтнымъ чернымъ пушкомъ надъ верхней губой и съ черными блестящими глазами, все разгорѣлось; завитки темныхъ волосъ выбились на лбу и на затылкѣ изъ-подъ витайской шляпки. Она перебирала монеты тонкими пальцами и все озиралась кругомъ. За ея стуломъ стояла въ спокойной выжидательной позѣ старая, полная женщина въ черномъ—очевидно, компаньонка. Соничьѣ стало ужасно жалко этой тоненькой дѣвочки съ лихорадочнымъ румянцемъ на щекахъ, въ полу-дѣтскомъ бѣломъ нарядѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ, лучше уйдемъ!—прошептала она съ чувствомъ какой-то внезапной робости.

Мишель чуть не заставилъ себѣ это повторить: сердце его забилось, ноги задрожали, онъ не сразу двинулся съ мѣста. Теперь самое удобное время—онъ зналъ, что вотъ сейчасъ все рѣшится. Ему стало страшно; увѣренность въ ея любви вдругъ поколебалась.

— Да, очень тяжелое впечатлѣніе!—сказала она, быстро взглянувъ на него и истолковывая его слишкомъ замѣтное волненіе по своему. Она подумала, что ему, какъ и ей, тяжело было смотрѣть на эту толпу у рулетки. Они вышли изъ главной залы, прошли первую игорную комнату, спустились съ лѣстницы и очутились въ саду. Несмотря на сирокко, Соничья почув-

ствовала необыкновенное облегченіе, выйдя на воздухъ. Она взглянула на блѣдное небо, на свѣжую зелень газона, на блестящую струю фонтана, бьющаго среди лужайки въ саду, и въ одну минуту почувствовала, какъ возвращается въ ея сердце счастье ея свѣтлой жизни, ея любовь къ этой жизни, сладкія надежды и блаженная перспектива будущаго.

— Хорошо жить, — чувствовалось ей. — Какая счастливая! — И она взглянула на Мишеля весело и ласково. — Вы видите, какъ я счастлива: надѣюсь, что и вамъ хорошо! — говорили ея глаза.

Онъ ихъ не понялъ; онъ посмотрѣлъ на нее съ безавѣтнымъ, фанатическимъ обожаніемъ. Они шли по аллеѣ невысокихъ деревьевъ, шли тихо и никого не было около нихъ. Аллея была пуста. Они дошли до скамейки.

— Сядемъ, — сказала она, и голосъ ея прозвучалъ такъ мягко и нѣжно; прежде она такъ не говорила, ея голосъ былъ рѣзче. Она сѣла, а онъ остановился передъ скамейкой и собирался говорить, сказать ей „все“. Онъ только ждалъ, когда сердце его перестанетъ такъ страшно биться, когда ему можно будетъ говорить, не задыхаясь.

„Не сказать-ли ему?“ подумала она вдругъ.

Она сорвала травку у скамейки и тихонько кусала ее кончикомъ зубовъ.

„Онъ такъ расположенъ ко мнѣ! Онъ будетъ радъ... Нѣтъ, послѣ. Теперь не хочу. Пусть все остается въ моемъ сердцѣ, на самомъ днѣ... Это мое, мое — только мое!“

И она сладко задумалась, разглядывая золотистый песокъ дорожки и покусывая свою травку.

— Мнѣ хочется сказать вамъ... — сказалъ Мишель вдругъ взволнованнымъ голосомъ и остановился.

Она быстро подняла голову и взглянула на него оживленно и радостно.

— Вы влюблены? Это вы хотите сказать, да?—сказала она и вся вспыхнула яркимъ румянцемъ, а глаза ея потемнѣли и загорѣлись.

— Да, да... и вы знаете это... О, Боже мой, наконецъ, я дожидь до этой минуты... Вы знаете, я это вижу, а то бы я никогда не рѣшился самъ сказать... Неужели это можетъ быть, неужели вы, въ самомъ дѣлѣ, рады? И ты также... Вы меня любите?—заговорилъ онъ, совершенно не помня себя.

Онъ сѣлъ около нея, дрожащей рукой схватился за спинку скамейки, и ему показалось, что все затрепетало и закружилось, небо, земля, деревья; передъ его глазами все несло, все уходило, исчезало—осталось только ея лицо, ея милое, безконечно-прекрасное лицо. И онъ увидѣлъ, какъ на этомъ лицѣ вдругъ потухла улыбка; какъ перестали сиять эти темные глаза и подернулись голубой тѣнью; румянецъ пропалъ, брови сдвинулись; онъ увидѣлъ сначала испуганное, потомъ скорбное выраженіе... Потомъ все исчезло: она закрыла лицо руками, и онъ очнулся.

Не понимая, что съ ней, онъ мгновенно почувствовалъ, что случилось что-то ужасное. Все молчало, кромѣ его сердца: оно страшно билось.

— Я надѣялась, что вы *не меня* любите! — сказала она, отнимая руки отъ лица.

Онъ увидѣлъ, что она была очень блѣдна.

— Вы надѣялись?..

— Да, я надѣялась. Я очень... (она запнулась) расположена къ вамъ. Я желала бы, чтобы вы были счастливы...

„Какъ я“, хотѣла она прибавить, но что-то удержало ее и она остановилась.

— Но вы не любите меня? Вѣдь вы меня не любите—я такъ понялъ?

И слабая надежда вспыхнула въ его сердцѣ.

— Нѣтъ, не люблю; и никогда, никогда не могу любить,—сказала она рѣзко, съ жестокой опредѣленностью старательно выговаривая слова.—Никогда! никогда!

Она быстро взглянула на него и замерла на мѣстѣ. Никогда она не видывала такого лица и никогда не забыла потомъ того, что увидѣла. Онъ смотрѣлъ на нее такъ, какъ смотритъ безумно-любящій человекъ на мертвое лицо своего сокровища, передъ тѣмъ, какъ его на вѣки закроютъ гробовою крышкою. Онъ былъ страшенъ; но онъ замѣтилъ, какое испуганное страданіе выразилось на ея лицѣ, онъ увидѣлъ, что испугалъ ее.

— Уйдите!...—проговорилъ онъ съ усиленіемъ.—Прощайте!

Голосъ его прервался, дыханіе сперлось въ груди, онъ весь задрожалъ и упалъ на колѣни, на песокъ. Она бросилась къ нему; но онъ отстранилъ ее и припалъ лицомъ къ землѣ. Она не могла выдержать дольше, и слезы заструились по ея лицу.

„Какъ онъ меня любилъ!—подумалось ей отчего-то въ прошедшемъ.—Бѣдный, какъ мнѣ его жаль! Какъ онъ меня любилъ!..“

Онъ не перемѣнялъ положенія. Она тихо пошла по дорожкѣ, прочь отъ него, и, дойдя до самаго отдаленнаго угла въ саду, усѣлась въ какой-то бесѣдкѣ и предалась слезамъ.

Черезъ часъ ее нашелъ здѣсь Петръ Александровичъ, блѣдную, но спокойную, и, замѣтивъ, что съ ней что-то не ладно, съ тревогою освѣдомился, въ чемъ дѣло. Она отвѣчала, что отъ сирокко у нея разболѣлась голова, а рулетка произвела на нее тяжелое впечатлѣніе.

— Экіе вы всѣ нѣжные!—съ неудовольствіемъ перебилъ Петръ Александровичъ.—Вотъ и Михаилъ Ивановичъ: не выношу, говорить, сирокко! И ужь въ Вевѣ уѣхалъ. А еще военный!... А твой этоть—какъ его?

бельгіецъ-то, все проигралъ, жена чуть не прибила. Тоже голова болитъ, охаетъ. Говорилъ я, что дрянъ этотъ Савсонъ. Поѣдемъ-ка домой.

Она рада была уѣхать. Обратное путешествіе совершилось далеко, не такъ весело, какъ утреннее, и большая часть общества вернулась домой не въ духѣ. Но Соничку ожидала большая радость; письмо отъ Щербинина. Онъ писалъ Петру Александровичу, что черезъ двѣ недѣли будетъ съ ними.

## XI.

Во все время обѣда Соничка улыбалась и ничего не могла ѣсть. Черезъ двѣ недѣли онъ прійдетъ—это сознание заслонило передъ нею всѣ остальные мысли и соображенія, всѣ впечатлѣнія дня. Въ ея сердцѣ не было мѣста ни для чего, кромѣ радости. Счастливая любовь сіяла въ ея сердцѣ и освѣщала ея лицо. Она чувствовала кипучее, необузданное восхищеніе; въ ея глазахъ былъ восторгъ, который могли принять на свой счетъ тѣ, на кого она смотрѣла, но съ такимъ же правомъ, какъ и небо, и озеро, и деревья, которыя она окидывала своимъ радостнымъ взглядомъ.

Послѣ обѣда Соничка пошла удить рыбу, для чего уѣхала подъ деревьями, на низенькой каменной стѣнкѣ, отдѣлявшей садъ пансіона отъ озера. Голландскій капитанъ состоялъ при ней и любезно развлекалъ ее разговорами. Она слушала его рассказы, и лицо ея выражало оживленіе и ласковость, потому что она думала не о немъ. Но онъ, къ счастью для себя, не подозрѣвалъ, гдѣ были ея мысли, и приписывалъ ея сіяющей видъ влиянію своихъ интересныхъ повѣствованій. Конечно, пріятно думать, что такая хорошенькая дѣвушка живо интересуется вашими похождениями, и потому голландецъ съ особымъ удовольствіемъ перешелъ къ

описанію одного изъ самыхъ эффектныхъ, по его мнѣнію, эпизодовъ своего путешествія въ Нижній Суданъ. Его не смущало то обстоятельство, что собесѣдница все молчала и только по временамъ бивала головой, въ знакъ того, что слушаетъ. Она часто улыбалась и со всѣмъ забыла о своей дочкѣ. Глаза ея не отрывались отъ грандіозной картины озера и его береговъ.

Солнце садилось и закатъ былъ великолѣпный, несмотря на то, что воздухъ не отличался прозрачностью и туманная мгла сгустилась въ сторонѣ Женева. Слѣва освѣтилась заходящимъ солнцемъ вершина Dent-du-Midi, гордо возвышавшая свою сіяющую голову надъ моремъ бѣлой дымки, наполнявшей ропскую долину. Прямо напротивъ заалѣлись угрюмые склоны савойскихъ Альпъ. Бѣлые домики прибрежныхъ селеній засверкали своими окошками, косые паруса мелкихъ судовъ вспыхнули яркимъ заревомъ и будто алыя крылья вырѣзались тамъ и сямъ среди мглы, стоявшей надъ озеромъ.

Голландецъ обинулъ озеро одобрительнымъ взоромъ, поощрилъ природу нѣсколькими лестными словами и продолжалъ свой разговоръ. Въ самомъ интересномъ мѣстѣ, какъ разъ въ ту минуту, когда капитанъ слѣзъ съ верблюда и собрался укрыться за спиною этого добродѣтельнаго животнаго отъ приближающагося урагана, послышались тяжелые, поспѣшные шаги, и, обернувшись, онъ увидѣлъ Петра Александровича, который шелъ по дорожкѣ. Соничка тоже обернулась, черезъ плечо улыбнулась отцу, но не двинулась съ мѣста, ожидая его.

— Соня!—позвалъ онъ странно взволнованнымъ голосомъ.

Она сразу поняла, что случилось что-то.

— Pardon,—извинилась она передъ своимъ собесѣдникомъ, быстро встала и бросилась на встрѣчу отцу.

Онъ протянулъ ей листокъ почтовой бумаги съ



большимъ синимъ вензелемъ. Эта бумага была ей знакома: въ Петербургѣ она не разъ получала отъ Мишеля записки на такой бумагѣ. На листѣ было нѣсколько словъ, написанныхъ карандашомъ дрожащими буквами:

„Пріѣзжайте проститься, пока не поздно. И она... ради Бога!“ Внизу, вмѣсто подписи, стояло кривое М.

Глаза ея быстро скользнули по бумагѣ и съ ужасомъ поднялись на отца.

— Что это?—спросила она.

— Застрѣлился!—тихо сказалъ Петръ Александровичъ,—проститься хочеть. Надо ѣхать...

Слезы въ одно мгновеніе затуманили ея свѣтлые, веселые глаза, и что-то страшную тяжестью легло на ея душу. Ее охватило страстное, горькое сознаніе какой-то ужасной виновности. Не отчаяніе, не острая, жгучая боль наполнила ея сердце, но глубокая, нѣжная печаль.

— Папа, какъ это случилось?

— Мать пишетъ: вернулся изъ Саксона, да и застрѣлился. Какъ только очнулся, просилъ за нами послать. До вечера, можетъ быть, проживеть. Больше ничего не знаю. Эхъ, Соня, Соня!

Петръ Александровичъ пріостановился и, помолчавъ, прибавилъ печально:

— Поѣдемъ, что-ли? Кто бы могъ ожидать?...

Черезъ десять минутъ они уже ѣхали въ Вевэ и во всю дорогу не проронили ни одного слова. Быстро темнѣло. Когда экипажъ остановился у Hôtel d'Angleterre, было уже почти совсѣмъ темно.

Ихъ, очевидно, ждали. Кто-то помогъ Соничѣвъ выйти изъ коляски. Подымаясь по лѣстницѣ вслѣдъ за гарсономъ, показывавшимъ дорогу, она чувствовала, что готова сейчасъ расплакаться. На первой же площадкѣ лѣстницы, на поворотѣ, открылась дверь, и Соничва

увидѣла на порогѣ стройную и — какъ ей показалось — молодую даму, которая сдѣлала шагъ ей навстрѣчу, взяла за руку, проговорила спокойнымъ, обиденнымъ голосомъ: „il vit encore!“, послѣ чего вдругъ закрыла глаза и замотала головой.

Соничку такъ изумилъ этотъ спокойный голосъ и эта французская фраза, что она мгновенно овладѣла собою и вошла въ комнату.

— Attendez! — прошептала Зинаида Сергѣевна, такъ-какъ это была она, и исчезла въ боковую дверь.

Соничка поняла, что за этой дверью былъ Мишель. Ей стало страшно. Дверь опять отворилась — она вздрогнула. Вошелъ пожилой господинъ средняго роста, съ сѣдыми усами и эспаньолью à la Napoléon III, съ тонкими, красивыми чертами лица и съ красной ленточкой въ петлицѣ. Онъ подошелъ къ Петру Александровичу и быстрымъ шопотомъ спросилъ:

— Вы родственникъ молодого больного?

— Нѣтъ, знакомый только. Я пріѣхалъ по желанію больного — онъ посылалъ за мною...

— A! monsieur de ..

— Мурановъ, подсказалъ Петръ Александровичъ.

— Monsieur de Mouganò, charmé. Позвольте рекомендоваться: докторъ Du Mondet.

— Каково ему, докторъ? Неужели смертельно?

— Peuh! — Докторъ вытянулъ губы. — Не абсолютно, но мало надежды. Въ ночь, вѣроятно, умретъ.

Онъ взялъ Петра Александровича за рукавъ и, близко наклонившись къ нему, сталъ рассказывать громкимъ шопотомъ, что пуля засѣла подъ лѣвой лопаткой и вынуть ее невозможно. Больного уже и теперь не было бы на свѣтѣ, еслибъ не американецъ, мистеръ Уайзъ. Этотъ monsieur Wise, рассказывалъ докторъ, занимаетъ комнату рядомъ съ молодымъ monsieur Zagrebsky: онъ услышалъ выстрѣлъ и тотчасъ пріѣхалъ. П а

trouvé le malheureux étendu sur le sang. Загребскій непремѣнно захлебнулся бы своею кровью, еслибы не присутствіе духа Уайза, который сейчасъ же поднялъ его и влилъ ему въ горло полбутылки шампанскаго. „Вы понимаете—le sang s'est refoulé, и потомъ все назадъ—и дыханіе облегчилось. Да еще что! — продолжалъ докторъ съ одушевленіемъ,—вы не можете себѣ представить, какъ съ нимъ трудно было сладить—comme il a été difficile! Сначала шампанскаго не было—Уайзъ принесъ первое что попало подъ руку—коньякъ, а раненый сцѣпилъ зубы и ни за что не далъ влить себѣ въ ротъ ни капли. Принесли случайно шампанское—и онъ не сопротивлялся. Потомъ ужъ, когда могъ говорить, онъ посмотрѣлъ на коньякъ и сказалъ: „я далъ слово не пить его;—et puis il s'est évanoui pour tout de bon!“ заключилъ докторъ.

Дверь растворилась; Зинаида Сергѣевна вошла и пальцемъ поманила Соничку съ порога. Соничка оглянулась на отца и, видя, что онъ идетъ за нею, пошла въ ту комнату. Ее встрѣтилъ горячій, враждебный взглядъ большихъ темныхъ глазъ, которые устремила на нее очень блѣдная и молоденькая дѣвушка съ темными волосами и растрепавшейся прической. Соничка узнала Зину. Потомъ она увидѣла лицо Мишеля, который лежалъ назвничъ на постели, у стѣны направо. Она только потому узнала его, что это не могъ быть никто другой; но онъ страшно измѣнился. Она бы не узнала этого красиваго лица, цвѣтомъ не отличающагося отъ подушекъ, въ которыхъ безсильно утонула голова. Особенно поразили ее большіе, лихорадочно-блестящіе глаза, удивительно красивые и странные: несмотря на весь блескъ, они ничего не выражали, и на лицѣ написана была только усталость. Она ожидала увидѣть что-нибудь ужасное, ожидала прочесть страданіе на этомъ лицѣ; но ничего не было, кромѣ усталости и непо-

движности. Она поняла, что онъ умираетъ, что его душа ничего не сознаетъ, а тѣло ожидаетъ смерти; она поняла, что этотъ неопредѣленный взглядъ тоже ждетъ: онъ уже видитъ смерть. Въ одну секунду все стало ей ясно; она вспомнила, что онъ умираетъ изъ-за нея, и невольно, повинуясь безотчетному чувству, опустилась на колѣни.

Это движеніе разомъ дало тонъ всему, что происходило тутъ: всѣ признали его любовь къ ней и ея право его оплакивать. Теперь мѣсто у постели умирающаго принадлежало ей по праву; безъ словъ и объясненій всѣ это поняли. Зина съ своего мѣста посмотрѣла на нее примиреннымъ взглядомъ, потомъ взглянула на брата и тотчасъ испуганно вскочила. Губы его двигались, точно онъ хотѣлъ что-то сказать, а лицо выражало ужасное страданіе. Зина наклонилась къ нему низко, низко.

— Здѣсь? — проговорилъ онъ едва слышно и сдѣлалъ усиліе, чтобы повернуться, но не могъ и слабо застоялъ.

Этотъ стонъ привелъ Соничку къ сознанію дѣйствительности: она вздрогнула, поднялась и подошла къ самой постели. Онъ увидѣлъ ее: глаза его остановились на ея лицѣ съ какимъ-то таинственнымъ, глубокимъ выраженіемъ, и пальцы правой руки, лежавшей на одѣялѣ, слегка шевельнулись. Она поняла и положила свою руку въ его руку, сдерживая трепетаніе своихъ губъ. Онъ улыбнулся, на секунду перевелъ глаза на Зину и повторилъ: „здѣсь“.

Нѣсколько секундъ Соничка смотрѣла на него, удерживая слезы, но потомъ онѣ затуманили ея глаза и быстро закапали на одѣяло. Его бездонный, таинственный взглядъ слабо просвѣтлѣлъ, и улыбка опять тронула его губы. Зина обвила рукою шею Сонички, нѣжно отерла ея слезы своимъ платкомъ и поцѣловала ее.

Докторъ подошелъ къ постели.

— Pardon, — сказалъ онъ, — я бы васъ попросилъ удалиться, mesdemoiselles; онъ слишкомъ слабъ, устанеть. Вы придете потомъ опять.

Соничка осторожно высвободила свою руку изъ руки умирающаго, стремительно наклонилась, поцѣловала эту горячую, сухую руку и, не оглядываясь, поспѣшно вышла изъ комнаты.

Въ этотъ вечеръ ея больше не пустили къ Мишелю. Отецъ рѣшительно послалъ ее спать, но ей и въ голову не пришло ложиться. Очутившись въ отведенной ей комнатѣ, она сѣла въ кресло и, бессильно опустивъ руки на колѣни, стала ждать, сама не зная чего, прислушиваясь и вздрагивая при каждомъ шорохѣ. Около часу ночи, дверь ея комнаты тихо отворилась: вошла Зина. Соничка нисколько не удивилась ея приходу, такъ же какъ и Зина не удивилась тому, что Соничка еще не легла.

— Что? — спросила Соничка, порывисто вставая.

— Ничего, еще живъ. — Зина помолчала.

— Милая, милая! — воскликнула она вдругъ, съ внезапнымъ порывомъ прижимаясь къ ней. — Милая! я ненавиждаю васъ, а теперь я вижу...

Она заплакала. Онѣ сѣли на диванъ и долго просидѣли, не говоря ни слова, крѣпко обнявшись. Наконецъ, Зина заснула, положивъ голову на плечо Сонички. Та смотрѣла на нее съ нѣжностью, стараясь не двигаться, чтобы не разбудить ея. Но ей недолго пришлось охранять сонъ Зины. Раздался громкій стукъ въ дверь. Зина вздрогнула и проснулась.

— Est-ce qu'on entre? — послышался недовольный голосъ доктора.

Соничка поспѣшила сама отворить дверь.

— Eh, je savais bien que vous ne dormiez pas! — сказалъ докторъ и отчаянно зѣвнулъ. — Позвольте васъ по-

безпокоить: больной васъ звалъ, лихорадка усиливается; потрудитесь идти, я за вами.

Онѣ нашли Мишеля въ лихорадочномъ состояніи, съ горячимъ румянцемъ на щекахъ, блестящими глазами и страдальческимъ выраженіемъ губъ. Онѣ безпрестанно пытался двинуться и при каждомъ движеніи стоналъ. Глаза его выражали тоску, безпокойство. Зинаида Сергѣевна сидѣла около него, съ какой-то выскокой, смуглой дамой въ темномъ платьѣ и черныхъ кружевахъ на головѣ. Соничка подошла къ постели, съ неудовольствіемъ чувствуя на себѣ любопытный взглядъ незнакомой дамы, и тихо сказала Зинаидѣ Сергѣевнѣ: — Меня звали?

— Oui, ma chère enfant, — отвѣчала Зинаида Сергѣевна любезно, — онѣ все вспоминаетъ васъ. — Мишель, — заговорила она плаксиво, обращаясь къ сыну, — mademoiselle Sophie здѣсь: ты звалъ ее?

— Не бойтесь, онѣ теперь можетъ говорить, — сказалъ докторъ громко.

— Могу... — тоскливо и лихорадочно заговорилъ больной.

Соничка вздрогнула отъ жалости при звукѣ этого голоса.

— Могу... — Онѣ перемѣнили положеніе головы, полузакрывъ лихорадочно-горѣвшіе глаза и тяжело дыша. — Зачѣмъ... уходите?... конецъ скоро, конецъ...

Онѣ закрылъ глаза.

— Не говорите этого, не говорите! Вы выздоровѣете, вы будете жить, милый, хорошій! — заговорила Соничка быстро, взявъ его руку въ обѣ свои руки.

Онѣ открылъ глаза и вперилъ въ нее пристальный взглядъ.

— Жаль? Вамъ жаль?.. — сказалъ онѣ. — А тогда? отчего?

— Бредить! — подумала она и тихонько высвободила а

опять свою руку; но онъ слабо удержалъ ее и сказалъ вдругъ громче: — Моя жена... тогда легче... жена — потому умереть...

— Что онъ, Зина? Зина, я не поняла... Бредить? — обратилась Соничка къ Зинѣ, стоявшей около.

— Не понимаю и я. Миша милый, ты чего хочешь?

— Жена моя, она... передъ смертью... Все равно — конецъ... Мнѣ легче... Пускай она...

— Что она? чтобы была твоя жена? Чтобы она вышла за тебя замужъ? Да?

— Да, да... Да!

Въ голосъ его послышалось больше силы, но все тоже тоскливое, страдальческое выраженіе не сходило съ его лица.

— Софи, вы слышите?

— Слышу. О, Зина, посмотрите, какое у него лицо...

— Вы согласны? Вы согласитесь это сдѣлать?

— Что? Ахъ, все что хотите... Боже мой, Зина, развѣ вы не видите?..

— *Allez vous en*, — торопливо прошептала докторъ: — *je crains que ce ne soit l'agonie.*

Зина разслышала только это послѣднее слово: она хотѣла что-то сказать, рванулась впередъ и упала безъ чувствъ. Ее вынесли изъ комнаты, и Соничка поспѣшила къ ней. Высокая дама въ кружевной мантильѣ опустилась на колѣни у постели умирающаго и углубилась въ торжественную молитву. Лена тихо рыдала въ углу. Зинаида Сергѣевна сидѣла въ креслѣ, откинувъ голову назадъ, и съ неестественно сморщенными бровями нюхала спиртъ.

## ХІІ.

Соничка не помнила, какъ Зина пришла въ себя, не помнила, когда сама заснула и проснулась часовъ

въ 8 утра въ своей комнатѣ, совершенно одѣтая, на диванѣ. Видъ незнакомой обстановки сразу напомнилъ ей, гдѣ она и по какому поводу.

„Живъ-ли онъ?“ пронеслось въ ея головѣ. Она встала, поспѣшно привела въ порядокъ свой туалетъ и позвонила. Въ отвѣтъ на звонокъ явилась горничная и доложила, что уже нѣсколько разъ спрашивали, не встала-ли mademoiselle. Le jeune monsieur еще живъ, а madame sa mère приказала доложить, какъ только Соничка встанетъ. Угодно-ли Соничкѣ принять эту даму? Соничка сказала, что сама пойдетъ къ ней, и попросила горничную указать ей дорогу.

Зинаида Сергѣевна встрѣтила ее съ нѣжностью и, значительно намекнувъ, что ей нужно съ Соничкой поговорить, попросила ее сѣсть.

— Мой бѣдный Мишель немного спокойнѣе, — сказала она съ чувствомъ: — *la tranquillité de la mort, vous savez...* Докторъ говорить, *qu'il ne passera pas la journée.* Онъ слабѣетъ съ каждой минутой. *Mais, ma chère mademoiselle Sophie* — и Зинаида Сергѣевна, придвинулась ближе: — *il tient à son idée, и я должна васъ попросить уважить ее. Vous savez, la volonté d'un mourant...*

— Я не понимаю, что вамъ угодно? — сухо сказала Соничка тихимъ и серьезнымъ голосомъ.

— Онъ говорилъ вчера, чтобы вы позволили ему назвать васъ своею женой, передъ смертью. Мы умоляемъ васъ согласиться на это!..

— Я совершенно готова исполнить его волю, я готова все сдѣлать, лишь бы успокоить вашего сына въ его послѣднія минуты. Я, въ несчастію, такъ виновата передъ нимъ, что не знаю, чего бы не сдѣлала, чтобы искупить мою вину.

Такъ она думала и чувствовала въ эту минуту, хотя ей казалось, что все то, чѣмъ собирались облегчить умирающему его послѣднія минуты, было слишкомъ



мелко и мизерно, сравнительно со смертью, его ожидавшей.

Докторъ, которому сообщили объ этомъ желаніи больного и о согласіи Сонички, только пожалъ плечами.

— *Faites!*—сказалъ онъ безучастно. — *Je veux bien que vous en ayez le temps;* онъ до вечера не проживетъ.

При взглядѣ на Мишеля, Соничка почувствовала, что докторъ правъ. Смерть была уже въ его глазахъ; но онъ все повторялъ свои вчерашнія слова и все спрашивалъ, сзоро-ли?

Да, нечего было скрываться: смерть была близко, и никто больше не сомнѣвался въ этомъ. И умирающій, и всѣ окружавшіе его ждали ея съ минуты на минуту.

Мучительно шло время. Дыханіе Мишеля становилось все тяжелѣе, онъ часто впадалъ въ забытѣе и бредилъ. Соничку не разъ высылали изъ его комнаты, но и въ сосѣдней комнатѣ она ясно слышала его звучное, прерывистое дыханіе, и всюду ей мерещилось его лицо. Она ничего не замѣчала, что дѣлалось кругомъ. Много что-то ходили, возились, много шептались, вздыхали, кто-то плакалъ, всѣ суетились; но на нее нашло какое-то странное состояніе: она сидѣла и ходила будто въ тяжеломъ снѣ, и севозъ этотъ сонъ чудилась ей смерть, и слышалось трудное дыханіе умирающаго.

— *Le prêtre, préparez-vous, ma chère!*—сказала ей Зинаида Сергѣевна.

„Развѣ уже его хоронять?“ подумалось ей, но она не двинулась съ мѣста.

Комната наполнялась людьми: вонъ ея отецъ, вотъ американинецъ Уайзъ, вотъ и сестры Мишеля, и дама въ черномъ кружевѣ, и другая дама съ четками, и еще какіе-то люди. Кто-то сунуль ей въ руку нѣсколько живыхъ померанцовыхъ цвѣтовъ.

— *Allons!*—шепнула Зинаида Сергѣевна, и всѣ

пошли въ комнату Мишеля. Вошла и она и встала у его постели.

Тутъ только она увидѣла высокаго, еще молодого человека, въ облаченіи русскаго священника, но по прическѣ и по общему виду какъ-то непохожаго на священника.

— Невѣста?—спросилъ онъ у Зинаиды Сергѣевны и, получивъ утвердительный отвѣтъ, безмолвно и серьезно поклонился.

Соничка никого не видѣла, кромѣ умирающаго, около котораго стояла. Онъ лежалъ съ открытыми глазами, а дама съ четками, стоя у его изголовья, держала зажженную свѣчку возлѣ его руки. Затѣмъ произошло что-то странное. На ея палецъ надѣли золотое кольцо. Незнакомый голосъ быстро и однообразно произносилъ молитвы, сокращая и проглатывая окончанія; сама она повторяла въ-полголоса слова, которыя шептала ей кто-то на ухо, трогая ее за плечо. Читала что-то еще и другой голосъ. Она была занята только тѣмъ, что смотрѣла на Мишеля и слѣдила, не умираетъ ли онъ: ей все казалось, что онъ сейчасъ умереть, и она напряженно ждала этого ужаснаго мгновенія. По временамъ она машинально крестилась, но все ея вниманіе было приковано къ этому умирающему лицу, съ его жалкимъ, дѣтскимъ выраженіемъ, мертвенною блѣдностью и большими, потухшими глазами. Его приподняли вмѣстѣ съ подушками, чтобы онъ могъ отпить изъ церковной чаши; потомъ выпила она. Священникъ началъ читать еще быстрѣе и поспѣшнѣе, и церемонія кончилась.

— Поздравляю васъ съ законнымъ бракомъ!—сказалъ незнакомый голосъ съ любезной интонаціей и она очнулась.

Она была женой этого жалкаго, умирающаго человека: она поняла это. Теперь она имѣетъ право не

отходить отъ него до самой смерти, ухаживать за нимъ... Только это пока и сознавала она.

Петръ Александровичъ подошелъ съ заплаканнымъ лицомъ и поцѣловалъ ее молча. Также безмолвно цѣловали ее Зинаида Сергѣевна, и Зина, и Лена. Кромѣ священника, никто не рѣшился произнести слово пожеланія: смерть была близко, и всѣ знали это. Кто же могъ говорить о будущемъ счастьѣ, когда смерть уносила будущее?

Онъ жилъ, но чувства его уже умирали. Соничка сѣла у его постели и тихо назвала его своимъ мужемъ. И странно — точно откуда-то издали звучали ей самой эти слова, точно не она говорила ихъ. Она думала, что это вызоветъ въ немъ хоть искру радости, хоть на минуту оживить его. Но она ошиблась: жизнь такъ слабо теплилась въ этомъ бѣдномъ искудавшемъ тѣлѣ, что ничто не могло разбудить ее. Онъ лежалъ съ закрытыми глазами, и опять, кромѣ усталости и страданія, ни чего не выражало его лицо. Неровное, тяжелое дыханіе подымало его грудь, и свинцовыя тѣни лежали на его закрытыхъ вѣкахъ. Счастіе, которое нѣкогда придало бы ему двойную жизнь, теперь, казалось, только приближило минуту смерти. Вѣдь оно и было дано ему только съ тѣмъ условіемъ, что онъ, не насладившись имъ, умретъ. Соничка не выдержала этого зрѣлица, опустилась на колѣни и прижалась лицомъ къ постели. Безконечная жалость и нѣжность заговорили въ ея сердцѣ вмѣстѣ со страстной мольбою о прощеніи. Она чувствовала себя безконечно виноватой передъ нимъ, и все лицо ея обливалось горячими слезами.

Кто-то тронулъ ее за плечо. Голосъ доктора мягко проговорилъ:

— Allons, calmons nous, madame!

Она быстро встала и, не заботясь о томъ, что всѣ могли видѣть ея плающее лицо, омоченное слезами,

нагнулась надъ своимъ мужемъ и въ первый разъ въ жизни прикоснулась губами къ его горячему лбу. И вдругъ ей представилось въ это мгновеніе, что завтра, можетъ быть, она поцѣлуетъ этотъ самый лобъ, холодный и мертвый, прощаясь съ нимъ передъ тѣмъ, какъ его навсегда закроютъ гробовою крышкою.

Она закрыла лицо обѣими руками и выбѣжала изъ комнаты.

### XIII.

Была ночь, но почти никто не спалъ. Въ комнатѣ умирающаго оставались только докторъ и Соничка. Остальные входили отъ времени до времени, и слышался торопливый шопотъ: что, еще живъ? И дверь опять затворялась, и все стихало, кромѣ тяжелаго, коготваго дыханія Мишеля.

Тишина и полумракъ. Соничка смотрѣла на умирающаго. Сухія губы его были полуоткрыты, вѣки опущены. Темныя тѣни и пятна слабаго свѣта на подушкахъ, на стѣнѣ, на бѣломъ одѣялѣ составляли мертвенный фонъ, на которомъ едва бѣлѣло въ полутьмѣ блѣдное лицо съ безпомощнымъ, дѣтски-страдальческимъ выраженіемъ. Полоса свѣта падала на подушки сбоку, а за изголовьемъ еще чернѣе сгустились тѣни и повисли надъ головой страдальца. Его блѣдныя, исхудавшія руки бессильно лежали на одѣялѣ. Онъ не стоналъ, не бредилъ и не открывалъ глазъ. Долго, долго Соничка сидѣла у постели, глядя на него, ни о чемъ не думая, ничего не ощущая, кромѣ утомленія и тяжести во всемъ тѣлѣ. Но эта тяжесть все усиливалась; наконецъ, Соничка опустилась глубже въ кресло, прижалась къ его мягкой спинѣ, голова ея поникла на руку, глаза стали закрываться; обрывки неясныхъ мыслей, безсвязныя, отдѣльныя слова промелькнули въ головѣ,

затѣмъ все исчезло. Прошло нѣсколько совершенно пустыхъ мгновений, ничего не было нигдѣ; была только она сама, но гдѣ-то далеко, далеко, въ сторонѣ, и она чувствовала про себя, что она существуетъ какъ-будто въ третьемъ лицѣ. Потомъ она очутилась въ саду. Густой, чудный садъ, и кусты розъ такихъ удивительныхъ, что каждый цвѣтокъ величиной съ ея голову. Она знала, что это Петровский садъ, но только онъ совсѣмъ былъ не такой, какъ на самомъ дѣлѣ. Потомъ вдругъ все перемѣнилось, и она увидала себя въ комнатѣ, гдѣ была цѣлая толпа людей. Она ходила, все кого-то искала и не находила. „Кого ты ищешь?“ сказалъ ей вдругъ голосъ, и она почувствовала, что вся вздрогнула отъ радости: это былъ *его* голосъ, голосъ того, кого она любила больше всего на свѣтѣ.

— Ты ужь здѣсь? Гдѣ ты?—спросила она и обернулась, и стала оглядываться во всѣ стороны. Но его нигдѣ не было. — Гдѣ же ты, о милый, милый! Гдѣ ты?—закричала она и проснулась...

Она проснулась и посмотрѣла вокругъ. Сердце ея страшно билось. Такъ живо почувствовала она присутствіе своего милаго, такъ ясно слышала его голосъ во снѣ, что и теперь, оглядываясь кругомъ, она точно ожидала увидѣть его около себя.

Она увидѣла своего мужа.

Мужа? Это слово вдругъ представилось ей въ своемъ настоящемъ значеніи, оно внезапно вспыхнуло яркимъ пламенемъ въ ея отуманенной головѣ.

„Мой мужъ... мой мужъ! Я жена — не *его* жена? О, что же это такое!“—пронеслось въ ея мысляхъ. Она взглянула на Мишеля съ какимъ-то ужасомъ.

„Нѣтъ, нѣтъ—онъ умираетъ. Господи! Что это со мной! Ужь послѣднія минуты“...

Она упрекала себя въ чемъ-то, но вся дрожала, и грудь ея волновалась. Она наклонилась надъ постелью,

посмотрѣть поближе на своего мужа... Но вѣдь онъ сейчасъ умереть?—повторялось ей мысленно.

Она наклонилась еще ниже. Что это? Онъ не дышетъ! Ничего не слышно.

— Докторъ, докторъ! Онъ умеръ? Онъ умеръ?

Задремавшій докторъ рванулся къ постели, положилъ свою руку на мертвенно блѣдную руку, лежавшую на одѣялѣ, наклонился лицомъ къ самому лицу умирающаго и разомъ отшатнулся.

— Докторъ?..

— *Il est sauvé, ma chère, chère dame, il vivra, il est sauvé!* — заговорилъ докторъ съ лихорадочнымъ волненіемъ, схвативъ ее за обѣ руки. — Вы возвратили ему желаніе жить, счастье сдѣлаетъ остальное (*le bonheur fera le reste*).

Она почувствовала, какъ вдругъ похолодѣли ея руки и ноги. Она медленно перекрестилась; потомъ холодъ поднялся къ ея сердцу, и она потеряла сознание...

Желаніе жить настолько сильно проснулось въ душѣ умирающаго человѣка, что жизнь вернулась къ нему. Медленно, тихо, точно не-хотя возвращалась она на отчаянный призывъ его души, его воли, его любви; но все же возвращалась, и всѣ кругомъ его ожили. Всѣ, кромѣ той, ради которой онъ захотѣлъ жить.

Она была рада, что силы ее оставили: это послужило ей предлогомъ провести нѣсколько часовъ вдали отъ него. Но ея честное сердце говорило ей, что это малодушно, и черезъ нѣсколько часовъ она вернулась къ постели своего мужа.

Съ тѣхъ поръ она не отходила отъ его постели. Нѣсколько дней она провела въ тяжеломъ забытїи, углубленная въ свою душу, ничего не понимая, кромѣ того, что какой-то страшный, грозный вопросъ — вопросъ жизни и смерти — тяготѣлъ надъ нею. И сердце ея откладывало разрѣшеніе этого вопроса, а лицо ста-

новилося прозрачно-блѣднымъ и глаза углублялись, блестя лихорадочнымъ блескомъ.

Прошло десять дней. Съ каждымъ днемъ ея мужу становилось лучше. Онъ ослабѣлъ еще больше, такъ что долго совсѣмъ не могъ говорить; но исхудалое лицо его просвѣтлѣло, и глаза смотрѣли съ какою-то заискивающей нѣжностью на любимое лицо, которое теперь всегда было тутъ, близко около него.

Петръ Александровичъ съ безпокойствомъ смотрѣлъ на свою дочь. Онъ былъ въ совершенномъ недоумѣніи и рѣшительно не зналъ, радоваться ему или нѣтъ. Онъ не могъ удержаться, чтобы не радоваться обѣщанному выздоровленію Мишеля: онъ его искренно любилъ. Но съ другой стороны онъ боялся и недоумѣвалъ. Онъ смотрѣлъ на Соничку, со дня на день ожидая какого-нибудь порывистаго объясненія, слезъ, истерики. Но дни проходили безъ истерики, и Петръ Александровичъ началъ успокоиваться.

„Вѣдь вотъ, подите съ ними: кто ихъ разберетъ! Кажется, любила Александра Александровича, чуть не невѣста его была, а теперь вышла за Михаила Ивановича—и ничего. Какъ съ гуся вода!“ думалъ Петръ Александровичъ.

Въ одно прекрасное утро Соничка нашла своего мужа уже настолькоъ бодрымъ, что его могли приподнять съ подушками и посадить на постели. Когда она подошла къ нему и машинально, какъ автоматъ, оперлась на край кровати, онъ взглянулъ на нее улыбающимся, робкимъ взглядомъ и слабо сказалъ:—Вы меня простите, что я не умеръ?

Вмѣсто отвѣта, она разразилась истерическими рыданіями, которыя были непонятны ни для кого, кромѣ ея измученнаго сердца.

— Онъ совсѣмъ, совсѣмъ не умретъ! раздался отчаянный крикъ въ ея сердцѣ. — Онъ будетъ жить.

Она сама испугалась того, что ея сердце заговорило потомъ: она чувствовала, что это ужасно, что она сама ужасна, но въ тоже время ей ясно представлялось, что она имѣетъ право быть такою.

Докторъ совѣтовалъ ей поберечься. Больной въ такомъ положеніи, что ея постоянное присутствіе больше не нужно, какъ ни хочется ему безпрестанно видѣть свою молодую жену — *ce qui est très naturel*, улыбаясь прибавлялъ докторъ: — тѣмъ не менѣе онъ пойметъ, что ей надо же и отдохнуть.

— *Soignez vous pour son bonheur*; подумайте, что вѣдь это не только для васъ, но и для вашего мужа, — убѣждалъ докторъ.

Она согласилась. Она рада была, что нашелся предлогъ, чтобы не выходить изъ своей комнаты и побыть одной.

— Абсолютный покой! — предписалъ докторъ.

Покой! Покой смерти — только съ этимъ она и могла помириться. Но она не хотѣла умирать: она хотѣла жить, жить *съ нимъ*, любить его и быть любимой *имъ* же. Молодость, солнце, любовь, его взглядъ, его ласка... Со всѣмъ этимъ она не хотѣла разставаться. Онъ представлялся ей во всемъ блескѣ своей силы, съ горячими рѣчами, со страстью пылаго чувства, прорывающагося среди серьезныхъ рѣчей... Она не могла съ этимъ разстаться, она хотѣла жить, жить *съ нимъ* и для него...

Сердце ея болѣзненно сжималось, рвалось куда-то, голова горѣла; она чувствовала, что ее душитъ, что передъ ней стала глухая стѣна. Стѣна стоитъ и давитъ, и не пускаетъ... Мысли ея разбиваются объ нее. Стѣна, стѣна — куда она ни бросится... отчаяніе росло. Ей казалось, что она сходитъ съ ума.

Она задыхалась. Она дрожала и чувствовала, что она ненавидитъ *того*, своего мужа...



„Пускай онъ умретъ! потому я... Нѣтъ, я хочу жить... О, мой милый, люблю, люблю тебя! Ты мой, мой... я твоя. И никому... никогда“...

Слова безумно толпились и обрывались на ея губахъ. Она бросалась на постель и лежала вниз лицомъ неподвижно, въ какомъ-то туманѣ, прислушиваясь къ бурѣ, которая бушевала въ ея душѣ.

Прошелъ еще день, и другой, и третій.

Въ одно утро докторъ сказалъ ей, что мужу ея можно сегодня въ первый разъ встать и посидѣть въ креслѣ. Прошло ровно двѣ недѣли съ того дня, какъ онъ стрѣлялся.

Зина вошла въ ея комнату стремительно и съ сіяющимъ лицомъ бросилась къ ней на шею.

— О, какъ ты измучилась! — нѣжно сказала она. — Но теперь все будетъ хорошо, все! Вотъ ты увидишь. Ты опять сдѣлаешься красавицей, и мы всѣ будемъ счастливы. Соня милая, пойдемъ, сами уберемъ его комнату: знаешь, чтобы все имѣло праздничный видъ. Вѣдь онъ сегодня въ первый разъ встанетъ... Пойдемъ, побѣжимъ!

И Зина потащила ее за собою.

Онѣ вошли къ Мишелю. Его въ первый разъ одѣли, и Зина даже засунула ему розовый бутонъ въ петлицу. Въ обычной темной одеждѣ еще замѣтнѣе было, какъ онъ измѣнился. Что бы тамъ ни было, Соничка не могла не почувствовать жалости при видѣ его. Но даже эту жалость отравляла та радость, которая засвѣтилась въ его глазахъ. Онъ сидѣлъ въ креслѣ, окруженный подушками, хотѣлъ подняться, когда она вошла, но не могъ и только привсталъ, держась правой рукой за ручку кресла. Зато вся его душа устремилась къ ней навстрѣчу и засіяла въ его глазахъ.

Она подошла съ мертвой улыбкой на лицѣ. Онъ поцѣловалъ ея руку, и дрожь пробѣжала по этой рукѣ.

Она сѣла около него и что-то заговорила, удивляясь звуку своего голоса, страннаго, точно чужого голоса.

Зина возилась въ комнатѣ, что-то переставляла, убирала, вертѣлась.

— Зина, ты такъ вертишься, что у него голова закружится,—сказала Соничка, чувствуя особенное облегченіе отъ того, что могла обратиться не къ нему.

— Надо же убрать, Соня, всѣ эти противныя стекляночки, баночки: — онъ скоро совсѣмъ здоровъ будетъ. Что за аптека! Я букеты вездѣ поставлю.

— Только не душистые, Зина: ему нельзя.

— Жаль. Такія розы—прелесты! Ай, что это!..

Зина вытащила изъ-за какаго-то ящика на коммодѣ револьверъ.

— Не трогай, Зиночка. Онъ, можетъ быть, еще заряженъ... Двустольный... это тотъ...—заговорилъ Мишель слабымъ, счастливымъ голосомъ.

— Вонъ его отсюда!—злобно закричала Зина.—Зачѣмъ онъ здѣсь?

— Должно быть, во время болѣзни забыли убрать, не до того было,—сказала Соничка безучастно.

— Это не мой, я взялъ въ комнатѣ Уайза. Давай его сюда, Зина.

Зина исполнила желаніе брата и подала ему револьверъ.

— Положи тутъ на столъ, около меня,—сказалъ Мишель, — а то опять забудемъ. Уайзъ придетъ и возьметъ.

И онъ слабо улыбнулся, глядя на револьверъ.

— Вотъ, совсѣмъ было...—началъ онъ, переводя глаза на свою молодую жену, и не договорилъ. Заискивающая, виноватая, жалобная нѣжность появилась въ его взглядѣ.

Она поникла головой. Ей слишкомъ тяжело было выносить этотъ взглядъ.

— Соня! — сказалъ онъ тихо.

Зина быстро взглянула на нихъ и вышла изъ комнаты.

— Зачѣмъ она ушла? — тоскливо подумала Соничка. Въ дверь постучались. — Слава Богу! Entrez!

— Un télégramme pour madame. — Вошедшій лакей подалъ ей телеграмму и исчезъ за дверью.

Телеграмма была не къ ней, а къ ея отцу. Но это все равно: она знала, отъ кого эта телеграмма. Она встала и отошла отъ мужа, раскрыла телеграмму и скорѣ почувствовала, чѣмъ прочла ее.

„Retenu à Berlin. Samedi arrive à Clarens. Retenez chambre dans votre hôtel. Alexandre“.

Черезъ два дня онъ будетъ здѣсь.

Она повернулась къ своему мужу и устремила на него безумный взглядъ. Лицо ея покрылось мертвою блѣдностью.

— Что случилось? — спросилъ онъ тревожно, и дыханіе его участилось.

— Что случилось? — вскрикнула она, не помня себя, ничего не вида. — Что случилось? А то, что онъ будетъ здѣсь черезъ два дня, тотъ, кого я люблю больше жизни, больше всего на свѣтѣ! Онъ меня любитъ, и я не могу жить безъ него... Онъ пріѣдетъ, а я... а теперь... все кончено, все! ты...

Раздался выстрѣлъ. Облачко синега дыма... и что-то грохнулось на полъ.

Она бросилась впередъ, увидѣла его на полу и упала на колѣни. Страшный крикъ вырвался изъ груди ея. Она наклонилась надъ нимъ: онъ былъ мертвъ. Изъ его виска текла тонкая струйка крови.



## ВЪ СТАРОМЪ ДОМѢ.

(Святочный разсказъ).

---

### I.

Все было тихо.

Тихо сіялъ на зимнемъ небѣ ярвій мѣсяць; тихо горѣли крупныя звѣзды.

— Постой... Пусти меня, милый... Пусти! Кто-то идетъ...

— Не бойся, моя радость! Это обледенѣвшая вѣточка упала на землю... Это хрустнулъ снѣгъ подъ нашими ногами... Не бойся!

— Мнѣ кажется, я слышу шаги! Кто-то идетъ...

— Мы одни, совсѣмъ одни! Никого нѣтъ...

Никого не было. Только заяцъ пробирался по бѣлоснѣжной полянѣ, бросая черную тѣнь на свербающій снѣгъ. Только волчьи глаза мелькали красными искрами далеко, далеко за рѣкой, скованной морозомъ.

Высокія деревья окутались кружевомъ инея; поля одѣлись снѣговой пеленой, и все сверкало и искрилось отъ луннаго свѣта. Ледяная бахрома звенѣла отъ дыханія морознаго воздуха; снѣгъ хрустѣлъ подъ лѣнными шагами влюбленныхъ.

Они шли, прижавшись другъ къ другу. Онъ вѣрно обвилъ ея станъ могучей рукою. Маленькая и воздушная, она прильнула къ нему, высокому и сильному.

Надъ ихъ головами сплетались хрустальныя вѣтки, образуя сіяющій бѣлый сводъ. Подъ ихъ ногами разстиралась серебряной скатертью широкая дорога, спускавшаяся къ рѣкѣ. А за рѣкой бѣлѣла необозримая степь, поросшая кустарникомъ, окутанная снѣжной пеленой.

Они идутъ, попирая звѣзды на землѣ, любуясь звѣздами надъ головой, любуясь другъ другомъ.

Онъ наклоняется къ ней.

— Ты не озябла? Тебѣ не холодно?

— О, нѣтъ, нѣтъ, мнѣ не холодно!

— Но ты вся дрожишь... Я боюсь, что тебѣ холодно. Морозъ такъ силенъ. Скажи правду — холодно? Тогда мы вернемся.

— Нѣтъ, нѣтъ — право не холодно! Но мнѣ страшно: каждую минуту насъ могутъ хватиться... Посмотри, какъ мы далеко ушли: дома уже не видать за деревьями... Какъ хороши эти деревья! Что за ночь!

Они остановились; они забыли все.

Нѣжнымъ, серебрянымъ звукомъ звенѣлъ надъ ними бѣлоснѣжный сводъ, уходя фантастической аркой въ глубь морознаго неба. Тайно и улыбалась свѣтлая ночь. Она окружила влюбленныхъ блескомъ и молчаніемъ; она сіяла и искрилась.

Заяцъ выскочилъ изъ-за куста, зашумѣлъ обледѣлыми прутьями шиповника, увѣшаннаго красными ягодами, и промелькнулъ по снѣгу черной тѣнью...

Влюбленные встрепенулись...

— Пора, пора, милый... Вернемся!

— Постой. Надо же придумать, какъ намъ видѣться. Такъ невозможно! Домъ полонъ гостей — ни минуты не пробудешь съ тобой наединѣ. А я не могу... я умру!

Она засмѣялась. Она крѣпче прижалась въ нему.

— Нѣтъ, нѣтъ — живи! Мы устроимъ это какъ-нибудь...

— Одно средство — сказать всѣмъ о нашей...

— Ни за что въ мірѣ! Теперь совсѣмъ не время...

Ни за что...

— Ты права; лучше подождать. Особенно пока она здѣсь...

— Лидія?

Она быстро подняла голову. Мѣсяць освѣтилъ нѣжное личико съ глазами газели, тонкія сдвинувшіяся брови и озабоченный, вопросительный взглядъ.

— Ну да, Лидія... Нечего такъ смотрѣть на меня. Вѣдь ты знаешь, что этого хотѣлъ только мой отецъ. Я ему ужъ давно сказалъ, что никогда я на ней не женюсь!

— Но она сама...

— Что за дѣло? Тебѣ ли заботиться объ этомъ, мой ангелъ?

Глаза газели загорѣлись огнемъ любви; горячій вздохъ раскрылъ розовыя губки... Онѣ были слишкомъ близко отъ его страстныхъ устъ. Его блѣдное лицо вспыхнуло подъ луннымъ свѣтомъ, онъ наклонился, и опять жаркій поцѣлуй заставилъ ихъ забыть холодъ морозной ночи.

— Довольно, довольно... милый! Намъ пора! Идемъ скорѣе!

— Но мы такъ и не придумали ничего...

— Знаешь что? Будемъ встрѣчаться въ угловой комнатѣ, наверху? Вѣдь она совершенно пустая?

— Въ самомъ дѣлѣ! Туда никогда никто не входитъ. Она стоитъ запертою съ незапамятныхъ временъ. Только одно...

— Чего же лучше? Развѣ это не блестящая мысль?

— Пожалуй... Хотя, можетъ быть, лучше бы было не тревожить этой комнаты...

— Кому же она нужна?

Онъ не отвѣчалъ; на минуту его блестящіе глаза

подъ длинными рѣсницами подернулись задумчивостью. Но ненадолго: безпечная усмѣшка снова освѣтила молодое лицо, и онъ весело отряхнулъ серебристый иней съ темныхъ кудрей.

— Пусть будетъ по твоему! Какъ только выдастся удобная минута — сейчасъ въ угдльную комнату, и отыскивай насъ, кто хочетъ!

— А теперь домой! Надо торопиться—ужь поздно... Пусти меня... ты меня совсѣмъ задушишь...

— На прощанье!.. Моя радость... Моя звѣздочка...

— Ну, теперь идемъ...

Алмазы неба горѣли надъ ихъ головой; алмазы инея сверкали у ихъ ногъ и сіяли въ воздухѣ на опушенныхъ деревьяхъ.

Они оглянулись еще разъ на волшебное царство зимы и пошли, обнявшись, углубляясь подъ своды бѣлоснѣжной аллеи. А впереди, изъ-за осеребренной чащи столѣтняго сада, старый деревенскій домъ сіялъ безчисленными огнями.

## II.

Домъ былъ полонъ гостей.

Съ незапамятныхъ временъ этотъ домъ славился своимъ широкимъ гостепріимствомъ. Поколѣнія за поколѣніями собирались праздновать святки въ его патриархальныхъ стѣнахъ. Со всѣхъ сторонъ, на двадцать верстъ въ округности, спѣшили туда веселые люди въ погоню за весельемъ, и находили его въ старомъ домѣ.

Чудный это былъ домъ.

Онъ стоялъ среди глухой степи со своими безчисленными службами и со своимъ вѣковымъ, огромнымъ садомъ. Кругомъ простиралась степь, и далеко-далеко ничего не было видно, кромѣ гладкой степи. Но усадьба сама составляла цѣлый городъ, а садъ составлялъ цѣ-



лый лѣсъ. Подъ садомъ протекала быстрая рѣка; она ватилась и извивалась, и уходила въ голубую даль, пробираясь по золотымъ пескамъ, по разноцвѣтнымъ камнямъ, среди частыхъ кустовъ, обвитыхъ лѣтомъ зеленымъ хмѣлемъ.

Старый каменный домъ со своими колоннами и бельведеромъ, со своими террасами и крытыми подъездами, возвышался монументально и величаво между садомъ и обширнымъ дворомъ, обставленнымъ службами и флигелями.

И внутри стараго дома благодатно жилось большой семьѣ: жилось прохладно и привольно знойнымъ лѣтомъ, тепло и уютно холодной зимой. Были тамъ и большія, высокія залы съ хрустальными люстрами въ бѣлыхъ чаклахъ, съ тяжелой штофной мебелью и стариннымъ дубовымъ паркетомъ. Были тамъ и уютныя, смѣющіяся комнатки, гдѣ сладко спалось свѣжей молодости въ бурю и въ мятель, и сладко мечталось ей въ полные аромата весенніе вечера, когда вѣтеръ приносилъ въ открытыя окна благоуханіе сирени и снѣжныя лепестки вишневыхъ и яблочныхъ цвѣтовъ.

Прадѣдовскіе нортреты въ золотыхъ тяжелыхъ рамахъ охраняли старый домъ и новыя поколѣнія, стерегли ихъ честь и покой.

И теперь, когда глубокой снѣгъ окуталъ всю степь и улегся на крышахъ, когда сѣдой иней опушилъ и осеребрилъ всѣ деревья столѣтняго сада, всѣ колонны и всѣ узорныя рѣшетки огромнаго дома, когда быстрая рѣка присмирѣла подъ толстымъ слоемъ хрустальнаго льда—уютнѣе и теплѣе, чѣмъ когда-либо, жилось внутри стараго дома, и тепло и веселье сіяли севозь его окна безчисленными огнями.

## III.

— Женя! Женя! Наконецъ-то!

Цѣлая толпа дѣвушекъ тѣснится на широкой лѣстницѣ, подымающейся изъ сѣней во второй этажъ. Онѣ перевѣшиваютъ черезъ перила, смѣются и кричатъ.

— Гдѣ ты была?—Куда ты дѣвалась?—Пора гадать.

— Да откуда ты? Вся въ снѣгу! — кричитъ хоръ веселыхъ голосовъ.

— Я гадала!—сочиняетъ Женя.—Я была въ саду... въ полѣ...

— Одна? Вотъ храбрая! Что же ты выгадала? Что тебѣ вышло?—раздается со всѣхъ сторонъ.

— Вышло все хорошее... самое лучшее!.. — Она звонко смѣется.

— Ты спрашивала, какъ зовутъ?

— Какъ его зовутъ?

— Кого ты встрѣтила?

— Смотрите, какъ она покраснѣла!

Дѣйствительно, она вся покраснѣлась. Ея глаза сіяютъ. Вьющіеся, каштановые волосы выбились изъ-подъ мѣховой шапочки и падаютъ крупными кольцами на плечи и на нѣжный лобъ. Волосы, мѣхъ, бархатъ шубки — все осыпано блестящимъ инеемъ. Смѣясь и отряхивая серебристую снѣжную пыль, она бѣжитъ на лѣстницу, легкая и стройная. Дѣвушки окружаютъ ее съ радостью и поцѣлуями, но она отбивается и хохочетъ.

— Какъ-же мы будемъ гадать? Когда-же мы начнемъ?

— Сними шубу сначала!

— Въ столовую, въ столовую! Тамъ бабушка ждетъ!

— Мы будемъ лить воскъ и олово!

Только красный огонь камина освѣщаетъ рѣзныя стѣны и дубовую мебель столовой, отражаясь въ блестящемъ полу. Дрова ярко пылаютъ, дробятся на крас-

ные угли, выпускаютъ синіе и желтые языки, распространяя смолистый запахъ сосны и ели. Другого освѣщенія не должно быть при гаданьѣ.

— Такъ страшнѣе,—говорить бабушка.

Сама она сидитъ у камина въ своемъ большомъ вольтеровскомъ креслѣ. Изъ-подъ кружевъ ея бѣлаго чепчика видны ея черные волосы, до сихъ поръ едва тронутые сѣдиной и заложеныя на вискахъ колечками, по старинной модѣ. Строгій, красивый профиль бабушки, сохранившій свое изящество, несмотря на то, что ея лицо давно покрылось морщинами и темные глаза утратили свой блескъ, озаренъ краснымъ свѣтомъ камина. Въ молодости бабушка была красавица, и это замѣтно.

Но на Женю видъ ея наводилъ страхъ. Это *ею* бабушка. Что-то скажетъ она, когда узнаетъ? Согласится-ли быть бабушкой и ей?..

На столѣ стоитъ глубокое блюдо со снѣгомъ. Расплавленное олово влокачетъ въ кастрюлькѣ, которую бережно держитъ за деревянную ручку старая няня.

— Барышни! Барышни! Живѣе! Остынетъ... Кто первая вылетѣтъ?

— Я! — Я! — Я! — кричатъ со всѣхъ сторонъ.

Въ столовую врывается толпа молодыхъ людей.

— Прочь! Прочь! Идите вонъ! Бабушка, скажите имъ, чтобы они ушли! Уходите! Нельзя! Мы про жениховъ гадаемъ!—кричитъ веселый хоръ.

— Мы тоже хотимъ гадать! Бабушка, мы тоже! Позвольте намъ...

Страшная суматоха, крикъ и смѣхъ. Женя чувствуетъ, какъ кто-то схватилъ ея руку и сжимаетъ крѣпко, крѣпко, до боли. Ай! Это *онъ*!

— Володя!—кричатъ его сестры.—Удостоилъ! Какая честь!

Бабушка водворяетъ порядокъ съ свсего кресла. Наступаетъ молчаніе.

Склонивши голову на бокъ, затаивши дыханіе, Нина первая выливаетъ олово. Расплавленная струя шипитъ, клокочетъ и застываетъ въ снѣгу. Бабушка и няня надѣваются очки и внимательно осматриваютъ причудливую фигуру на тѣни, падающей на стѣну, освѣщенную отблескомъ камина. Всѣ ждутъ.

— Садъ! — объявляетъ няня. — Садъ!.. и, какъ будто, деньги!... снопы! Богато будешь жить, матушка!

— Да, садъ, — подтверждаетъ бабушка, кивая чепцомъ.

— И глядите, барыня, словно какъ двое гуляютъ... Двое и подъ однимъ зонтикомъ! — оживляется няня.

— Двое, двое! — соглашается бабушка.

— Подъ однимъ зонтикомъ! — подхватываютъ всѣ. — Слышишь, Нина? Поздравляю, Нина! Няня, какъ *ею* зовутъ? — Всѣ хохочутъ. Смѣется и Нина, довольная.

Дѣвушки льютъ олово одна за другой. Черныя тѣни принимаютъ въ разгоряченномъ воображеніи самыя разнообразныя формы; бабушка вѣщаетъ съ своего кресла о ихъ таинственномъ значеніи. Но потолку движутся другія причудливыя тѣни, тѣни зимней ночи; на стѣнѣ шевелятся тѣни молодыхъ головъ, седлонившихся надъ столомъ съ оживленіемъ и любопытствомъ.

Бабушка приказываетъ принести свѣчи, чтобы жечь бумагу и топить воскъ.

— Бабушка, пѣтуха! Велите принести пѣтуха, бабушка! Мы хотимъ пѣтуха!

Няня отправляется за пѣтухомъ. Кто-то идетъ за овсомъ.

— У кого есть кольцо? Кто дастъ кольцо?

Одинъ изъ кузеновъ, надъ которымъ немало смѣются, оттого что онъ носитъ на мизинцѣ бирюзовое кольцо неизвѣстнаго происхожденія, предлагаетъ свои услуги.

— Сашино кольцо! Саша даетъ знаменитое кольцо! — возглашаетъ неумолимая Соня.

Никто не замѣчаетъ, какъ укоризненно смотритъ на него Нина, какъ онъ смѣется и пожимаетъ плечами въ отвѣтъ на ея взглядъ. Няня является съ пѣтухомъ, и испуганный крикомъ и смѣхомъ пѣтухъ хлопаетъ крыльями и мечется по комнатѣ. Его ловятъ, яростно размахивая полотенцами и платками; онъ забивается подъ буфетъ, и оттуда его съ триумфомъ вытаскиваютъ, причемъ онъ влѣкаетъ руки храброму гусарскому вороту, который взялъ его въ плѣнъ.

— Самый злющій пѣтухъ! — съ гордостью говоритъ няня. — Таеъ и влѣкется: ѣсть хочеть!

Столъ съ шумомъ и грохотомъ отодвигается къ стѣнѣ. Стулья поставлены полукругомъ; овесъ насыпанъ передъ каждымъ. Няня прячетъ кольцо; всѣ садятся. Негодующій пѣтухъ стоитъ, поджавши одну ногу, и презрительно моргаетъ круглыми глазами. Его поощряютъ и бранятъ. Наконецъ, онъ встрахиивается, вытягиваетъ шею, склоняетъ голову на бокъ и гордо двигается въ путь. Вотъ онъ подбирается къ овсу...

— Ключуль! Ключуль у Володи! — восторженно кричатъ его сестры и кузины.

Сама бабушка въ волненіи приподнимается на креслѣ и не спускаетъ глазъ съ пѣтуха. Всѣ, всѣ, кромѣ Жени, смотрятъ на Лидію, и потому не замѣчаютъ, какъ волнуется Женя.

Пѣтухъ рѣшительно идетъ къ Женѣ и влѣкаетъ у ея ногу. Что-то звенитъ подъ его клювомъ... Кольцо! Нѣтъ, каково — у Жени! Женю поздравляютъ и дразнятъ; шумный восторгъ наполняетъ столовую. Женя наклоняется, чтобы скрыть свое смущеніе и поднять кольцо. Она наклоняется низко, низко и почти сталкивается своей золотистой головкой съ чьей-то другой темной кудрявой головой. Ея сердце сильно бьется; надъ ея ухомъ раздается знакомый шопотъ:

— Завтра, въ это-же время! Я буду ждать!

## IV.

Смеркается. На западѣ еще догораютъ пурпуровыя и палевыя полосы, но небо уже темнѣетъ. Бѣлая степь слегка зарумянилась отъ прощальнаго поцѣлудя солнца. Прозраченъ морозный воздухъ.

Подымая цѣлыя облава снѣжной пыли, звеня сбруей и колокольчиками, несутся по степи тройки одна за другой. Синія тѣни бѣгутъ за ними по блестящему снѣгу. Далеко разносятся звонкіе молодые голоса и веселый смѣхъ. Сѣдой иней осыпалъ серебряными звѣздочками бровные воротники и вьющіяся кудри, убѣлилъ усы и бороды, опушилъ мѣховыя полости, осыпалъ и сани, и лошадей. Все бѣло, все сіяетъ и смѣется. Мчатся тройки и несутъ домой, въ гостепріимную усадьбу, равнодушныхъ и веселыхъ, отверженныхъ и влюбленныхъ.

Они вмѣстѣ. Они не одни въ саняхъ, но никто не обращаетъ на нихъ вниманія. Прижавшись другъ къ другу, они точно замерли, и имъ кажется, что они несутся по серебряной дорогѣ, въ серебряное царство, вмѣстѣ съ блестящими снѣжинками. Дыханіе захватываетъ отъ бѣшеной ѣзды, снѣжная пыль окружаетъ ихъ искристымъ облакомъ, и звенить-звенить колокольчикъ, и бѣжить изъ глазъ, мчится бѣлая степь...

Ахъ, если-бы никогда не кончилась эта безумная скачка!

Они смотрятъ другъ на друга и смѣются. Его темные волосы и усы, его борода и бровная шапка— все посѣдло и побѣлѣло. Еще чернѣе, еще ярче блестятъ его пронизательные глаза. Еще краснѣе кажутся изъ подъ бѣлыхъ усовъ насмѣшливыя, гордыя уста.

— Какой ты смѣшной! — шепчетъ она.

А сама она вся разгорѣлась отъ мороза; легкія пряди волосъ серебряными кольцами падаютъ на лобъ и на плечи. Глаза сіяютъ сквозь серебристую бахрому

рѣсницъ. И странно, и весело ему смотрѣть на молодое разрумяненное личико, увѣнчанное свѣгомъ. Они смотрять другъ другу въ глаза, и улыбаются, и забываютъ все на свѣтъ. Онъ наклоняется все ниже и ниже...

— Помни, въ одиннадцать часовъ! Я жду...—слышитъ она, какъ во свѣ...

— Съ нами крестная сила!—кто-то громко вскрикиваетъ.

— Кто? Что случилось?

Блѣдный, какъ полотно, старый слуга, сидѣвшій на козлахъ, оборачивается и указываетъ впередъ дрожащей рукой.

А впереди бѣлѣеть огромный садъ и виднѣется старый домъ на фогѣ потемнѣвшаго неба.

— Что съ тобой, Емельянъ? Что случилось?

— Развѣ вы не видите, батюшка Владиміръ Николаевичъ? Развѣ вы не видите? Дымъ!

— Что? Горитъ? Пожаръ?—заволновались въ саняхъ.

— Изъ этой трубы! Вѣдь это каминъ угольной комнаты! О, Господи!—бормочетъ старикъ.

Влюбленные переглядываются и улыбаются.

— Что-жъ такое... затопилъ кто-нибудь.

— Сохрани Богъ!

— Да и не оттуда совсѣмъ дымъ! Не та труба!..

Тройка остановилась. Молодой баринъ первый выпрыгнулъ изъ саней и поспѣшно шепнулъ старому слугѣ:

— Тише! Молчи объ этомъ! — и прибавилъ еще тише, но уже въ другую сторону: — Такъ я жду? Въ одиннадцать часовъ! — Она вивнула и засмѣялась. До одиннадцати ужъ недолго!

## V.

Въ спальняхъ барышень хаосъ и смятеніе. Барышни вздумали наряжаться. Бабушкины старинные сундуки перевернуты вверхъ дномъ; горничныя сбились съ ногъ. Мужчины не отстаютъ: они также требуютъ маскарадныхъ костюмовъ. Этого только недоставало! Положимъ — очень весело, но какъ-же зато и несносно! Вѣдь ничего они сами не умѣютъ; поминутно стучатся у дверей, присылаютъ то за тѣмъ, то за другимъ, угрожаютъ войти, когда... ну, невозможно, рѣшительно невозможно! Соня только начинаетъ одѣваться, Нина и Лиза и на-половину не готовы, а тутъ вдругъ... булавкою Владиміру Николаевичу! (Ну, зачѣмъ ему булавки!). Анатолій Дмитріевичъ проситъ стараго капота... Скажите на милость — гусарскій корнетъ, и вдругъ — капотъ!! Опять стучатся... Еще что?

— Саша проситъ помады! Саша хочетъ вымазаться помадой! — объявляетъ Соня съ негодованіемъ.

— Не давать ему! — кричитъ Нина изъ-подъ желтой юбки испанскаго костюма, которая пока еще у нея на головѣ.

— Скоро-ли вы? Я сейчасъ войду! — угрожаетъ кто-то изъ корридора, потрясая дверью.

— Нѣтъ, это невыносимо! Держите дверь, не пускайте!

— Да и такъ не войдетъ, не безпокойся! — спокойно замѣчаетъ Лидія.

Она въ польскомъ костюмѣ. Зеленый атласъ такъ идетъ къ ея рыжимъ косамъ; ея бѣлыя плечи и руки такъ картинно выдѣляются изъ собольей опушки; задорная конфедератка такъ граціозно сидитъ на ея головкѣ... Это ужасно! Женя смотритъ на нее съ отчаяніемъ... Такъ она и знала — она непременно влюбится въ Лидію въ этотъ вечеръ! Это ужасно, ужасно!



Сама Женя стоитъ передъ высокимъ трюмо, въ облакъ серебряной пудры, которою покрываютъ ея каштановыя кудри.

Скорѣе! Скорѣе! Ножки въ атласныхъ туфляхъ танцуютъ отъ нетерпѣнія. Кончено! Слава Богу! Прочь батистовый пенюаръ... Трюмо отражаетъ игрушечную маркизу въ розовомъ атласѣ, затканномъ серебромъ. Нѣжная шея тонетъ въ старинныхъ кружевахъ и сіяетъ брилліантами. Брилліанты на груди, на маленькой головѣ, — брилліанты и розы. Она готова. Только еще мушкетю посадить рядомъ съ ямочкой на лѣвой щекѣ... Нѣтъ, Лидія ужь не такъ эффектна въ своемъ польскомъ костюмѣ! Скорѣе-бы эти одиннадцать часовъ!..

Воскликанія и восторги. Женю находятъ ослѣпительной. Какова испанка вышла изъ Нины! Какъ, эта сумасшедшая Соня одѣлась таки пажомъ? Какъ не стыдно! Каково, Лиза ужь готова! Вотъ такъ русская боярышня — прелесть! Всѣ? Скорѣе! Кто забылъ вѣеръ? Ну, что тамъ еще такое? Кто стучится въ дверь?

Бабушка прислала домино и маски. Вотъ такъ веселье! Кому розовое? Женя беретъ голубое — прекрасно. Сѣрое — фи, какая гадость! Лидія великодушно выбираетъ сѣрое. Внизъ, внизъ!

Всѣ старшіе въ сборѣ. Вся прислуга у дверей залы. Одна изъ тетушекъ уже сидитъ за фортепіано.

Гусарь въ капотѣ и чепцѣ возбуждаетъ негодованіе пажъ. Пажъ предпочитаетъ гусарскій мундиръ; гусарь въ восторгѣ отъ пажескаго наряда. Испанка тщетно скрывается подъ капюшономъ краснаго домино отъ взоровъ любопытнаго турка, увѣнчаннаго чалмой изъ бабушкиной турецкой шали.

— Я васъ узналъ по ногамъ, — шепчетъ турокъ. Подъ краснымъ капюшономъ смѣхъ. — А помада зачѣмъ понадобилась? — слышитъ онъ оттуда.

Розовую маркизу преслѣдуетъ монахъ въ бѣлой рясѣ;

она тщетно стремится къ маркизу. Она въ отчаяніи. Она не терпитъ духовенства,—особенно въ такую минуту. А минута рѣшительная: сѣрое домино совершенно завладѣло маркизомъ, и часовая стрѣлка показываетъ половину одиннадцатаго...

Неизвѣстно откуда, въ залу врывается толпа ряженыхъ. Тутъ преобладають хвосты и рога, носы и копыта. Все смѣшивается, все кружится и хохочетъ. Тетуха у фортепіано выбивается изъ силъ. Вальсъ грозитъ продолжаться до безконечности. Часы бьютъ одиннадцать...

Маркиза вырывается изъ объятій чорта съ красными рогами и кавалерійскими сапогами, обличающими его происхожденіе. Она оглядываетъ залу. Ею нѣтъ. Но и сѣраго домино тоже нѣтъ... Она пробирается къ двери, потомъ черезъ толпу глазѣющихъ слугъ, и бѣжитъ по лѣстницѣ, стуча своими розовыми каблучками. Пусто, никого нѣтъ. Всѣ внизу. Сердце ея бьется. Она бѣжитъ дальше и дальше по корридору — на самый конецъ, туда, гдѣ угловая комната. Онъ тамъ, онъ ждетъ! Розовыя губки улыбаются при мысли о поцѣлуяхъ, которые ихъ ждуть за этой дверью... Она добѣжала, она остановилась, чтобы перевести дыханіе. Навстрѣчу ей дверь открывается; горячею, удушливою струею вырывается оттуда воздухъ, и вмѣстѣ съ нимъ стремительно выскакиваетъ что-то... Женская фигура въ сѣромъ платьѣ... Что-то неопредѣленное, темное... Сѣрое домино! Это она, она, Лидія... И онъ за ней...

— Кто это? Съ кѣмъ ты здѣсь былъ?

Онъ ничего не отвѣчаетъ. Его лицо блѣдно, какъ полотно. Онъ весь дрожитъ,—должно быть, отъ волненія. Его глаза неподвижно, дико устремлены въ глубь корридора—туда, гдѣ скрылась сѣрая фигура...

— Ты не отвѣчаешь? Ты даже не оправдываешься? Такъ это была она?

Въ ея голосѣ звучать слезы.

— Не спрашивай меня... Молчи, ради самого Бога!

Она быстро откинула на плечи свой голубой капюшонъ. Ея глаза засверкали гнѣвомъ. Бриллианты переливались на груди, подымавшейся отъ волненія.

— Скажи мнѣ сію минуту, кто былъ съ тобой въ этой комнатѣ! — произнесла она, задыхаясь. — Скажи сію минуту, или...

Онъ схватилъ ее въ свои объятія и крѣпко прижалъ къ груди, точно боялся, что ее отнимутъ у него. Его руки были холодны, какъ ледъ. Она вырвалась и оттолкнула его.

— Ты не хочешь говорить...

— Жена, уйдемъ отсюда! Не спрашивай меня никогда, никогда...

— Такъ я и знала! Ну, и люби ее... Люби! — закричала она въ отчаяніи. — Оставь! Не подходи, не говори со мной!.. Я не хочу больше ничего, ничего...

Голосъ ея прервался. Она повернулась и бросилась отъ него по корридору, шурша атласомъ платья. Онъ рванулся за ней. И вдругъ... Въ глубинѣ корридора показалась сѣрая фигура, странно закружилась на мѣстѣ и устремилась къ розовой бѣглянкѣ. Онъ вскрикнулъ. Жена оглянулась на его крикъ.

— А, такъ она еще подсматривала! — прозвенѣлъ ея негодующій голосъ, и быстрые каблучки застучали, спускаясь по лѣстницѣ. Онъ пошатнулся, схватился за перила; огненные круги завертѣлись у него передъ глазами, и онъ лишился чувствъ.

## VI.

Долго спалъ старый домъ, утомленный бессонной ночью.

Странныя вѣсти встрѣтили его пробужденіе: бабушка

не дожилаась совѣмъ и провела всю ночь у постели старшаго внука. Его принесъ въ спальню бабушки старый Емельянъ, который нашель молодого барина лежащимъ на полу, въ верхнемъ корридорѣ.

Старикъ не могъ привести его въ чувство и долженъ былъ перенести безчувственнаго, съ помощью другихъ слугъ. Пораженный этимъ печальнымъ случаемъ, старый Емельянъ еще постарѣлъ и сгорбился въ одну ночь, хотя все обстояло благополучно къ полудню. Эти странныя вѣсти заставили приунуть всю молодежь, собравшуюся въ столовой къ позднему чаю. Тутъ были всѣ, кромѣ Жени: она не выходила изъ своей комнаты, у нея болѣла голова.

День прошелъ тихо и печально въ старомъ домѣ. Но молодость и святки взяли свое. За обѣдомъ всѣ развеселились, особенно когда оказалось, что бабушка заняла свое обычное мѣсто въ вольтеровскомъ креслѣ, а за нею появился и молодой хозяинъ дома, блѣдный и немного томный, но совершенно похожій на самого себя. Его встрѣтили радостью и любопытными взорами; но распросы сами собой не сходили съ любопытныхъ устъ. Со своего мѣста онъ отыскалъ глазами Женю. Глаза ихъ встрѣтились. Она отвернулась.

Она не видала, какъ его взглядъ постоянно оставался на ея блѣдномъ личикѣ, непонятно сіяя неизреченнымъ счастьемъ...

## VII.

Большая темная зала тонула въ вечернемъ сумракѣ. Отблескъ камина игралъ въ хрусталѣ люстры и зажигалъ золотыя искры въ массивныхъ рамахъ прадедовскихъ портретовъ. Слабо потрескивали угли, слегка подернутые пепломъ... Черныя тѣни скользили по лѣпному

потолку и варнизамъ. Тайнственно и жутко было въ большой залѣ. Всѣ оробѣли и притихли.

— Давайте играть въ-прятки!—завричалъ кто-то.

— Милые мои, довольно вы набѣгались и навозились за эти дни, — ласково промолвила бабушка. — И завтра вамъ опять хлопоты—елку будете убирать. Посидите-же смирно хоть одинъ вечерокъ! Я вамъ сказку расскажу, по-святочному.

— Сказку! Сказку! Вотъ отлично, бабушка! По-страшнѣе!

— За этимъ дѣло не станетъ. Да нечего далеко ходить—я вамъ настоящую страсть расскажу, не выдуманную. Только не мѣшайте...

— Не будемъ! Не будемъ! Рассказывайте, бабушка!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Сейчасъ, дайте срокъ, не торопите. Женичка, сядьте около меня,—сказала старушка.

Удивленная Женья повиновалась. Бабушка оглянулась кругомъ, ласково кивнула старшему внуку, который стоялъ недалеко отъ ея кресла, и начала тихимъ, ровнымъ голосомъ:

— Надо вамъ сказать, что не только въ сказкахъ, но и въ жизни бываютъ очень странныя, необыкновенныя вещи,—такія, что и не вѣрится сначала. Вотъ такъ было и въ той семьѣ, въ которой случилось то, что я хочу рассказать...

— А, такъ это въ самомъ дѣлѣ было? Это правда, бабушка?

— Не перебивай, Соня. Да, было. Я хорошо знала эту семью... Странные рассказы ходили про нее... Говорили,—и солидные люди говорили, не то что кто-нибудь,—что всѣ члены этой семьи, а особенно старшіе въ родѣ, одарены несчастной способностью видѣть страшныя привидѣнія... иногда. Являлась имъ сѣрая сгорбленная старуха, съ огненными глазами, съ синими воло-

сами, вся сѣрая съ головы до ногъ, и такая страшная, что нѣкоторые разсудка лишились или умирали, встрѣтившись съ ней...

— Бабушка! Отчего-же она имъ видѣлась?

— А Богъ ее знаетъ, другъ мой, съ чего. Видѣлась, и говорила съ нѣкоторыми... „Милости просимъ, старшій въ родѣ!“ скажетъ—ну, и такъ страшно, такъ страшно, что выдержать нельзя. Впрочемъ, другіе и выдерживали. Только послѣ озирались черезъ плечо,—такую привычку на всю жизнь имѣли. Да... — Бабушка задумалась и повачала головой.

— И являлась эта старуха, милые мои, не однимъ членамъ семьи, а иногда и другимъ. Старымъ преданнымъ слугамъ, напримѣръ. И еще... если вступала въ эту семью дѣвушка, вступала съ истинной, глубокой любовью, и она получала роковую способность видѣть фамилійный призракъ...

Тутъ бабушка взглянула на Женю и, не спуская глазъ съ ея мертвенно-блѣднаго лица, продолжала:

— Являлось видѣнье, какъ рассказываютъ, и днемъ, и ночью. И замѣтили, что выходитъ оно всегда изъ одной и той-же комнаты, и прослѣдили, будто-бы, что является старуха, если затопить старинный каминъ въ этой угловой...

Страшный крикъ прервалъ бабушку. Отъинувшись назадъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, Женя устремила дивій взоръ въ топившійся каминъ. Всѣ взоры обратились по тому-же направленію, но кромѣ углей, подернутыхъ пепломъ, никто ничего не увидалъ. Одинъ только человѣкъ, кромѣ нея, видѣлъ, какъ поднялся пепель сѣрой кучей, зашевелился и задвигался; какъ выросла изъ него сгорбленная фигура сѣрой старухи, выскочила и беззвучно понеслась по комнатѣ, какъ листъ жженой бумаги, гонимый вѣтромъ. Синіе волосы вырывались изъ-подъ сѣраго капюшона, глаза сверкали, какъ раскален-

ные угли. Простирая сѣрыя руки, точно собираясь ловить кого-то, она пронеслась и задѣла Женю краемъ пепельной одежды. Женя глубоко вздохнула и упала, какъ подкошенная, въ ногамъ бабушки.

— Володя!—сказала бабушка дрожащимъ, но громкимъ голосомъ:—помоги мнѣ привести въ чувство твою невѣсту!

### VIII.

Шире, чѣмъ когда-либо, распахнулъ свои гостеприимныя объятія старый домъ: со всѣхъ сторонъ собирались веселые люди праздновать веселую елку, отложенную до новаго года по болѣзни Жени, нареченной невѣсты молодого хозяина. И вмѣстѣ съ елкой старый домъ торжествовалъ другое радостное событіе: помолвку влюбленныхъ.

И радость, и веселье наполняли старый домъ, и онъ сіялъ безчисленными огнями...

---





## ВЪ ТЕАТРѢ.

---

### I.

Даютъ Фауста. У меня очень неудобное мѣсто въ креслахъ—въ самомъ послѣднемъ ряду, у ложъ бенуара. Я съ неудовольствіемъ замѣчаю, что передо мной цѣлый лѣсъ дамскихъ громадныхъ шляпъ: мнѣ плохо будетъ видно. Боже мой, зачѣмъ это носятъ такія безобразныя шляпы! Отъ нихъ еще некрасивѣе кажутся лица и безъ того некрасивыхъ петербургскихъ дамъ, ужь не говоря о томъ, что онѣ заслоняютъ сцену.

Увертюра кончилась, и я предаюсь цѣлой гимнастикѣ, выпрямляясь, съезживаясь, нагибаясь, отклоняясь изъ стороны въ сторону, чтобы уловить между головами мужчинъ и шляпами дамъ пустое мѣстечко для своего бинокля и увидеть хоть бороду, хоть ногу Фауста, расхаживающаго по сценѣ quasi-старческой походкой. Но голосъ Фауста, безспорно молодой и побѣдоносный по своей силѣ и красотѣ, заставляетъ меня забыть все остальное и мириться съ тѣмъ, что я ничего не вижу. Является Мефистофель. Онъ мнѣ очень не нравится, и я опять лавирую, потому что мнѣ хочется убѣдиться въ томъ, что онъ дѣйствительно противень, и разобрать его по косточкамъ. Я вспоминаю, какіе Мефистофели подвизались бывало на этой сценѣ,—и вздыхаю. Вотъ и видѣніе Маргариты, освѣщенное электрическимъ свѣтомъ. При этомъ свѣтѣ всякая красива, но я не раз-

дѣлаю восхищенія Фауста. Изъ-за такой Маргариты не стоить продавать свою душу чорту. Занавѣсъ закрывается, при полнѣйшемъ несочувствіи съ моей стороны въ восторгамъ помолодѣвшаго Фауста. Это ему на радостяхъ все представляется въ такомъ радужномъ свѣтѣ!

## II.

Отъ нечего дѣлать, я забавляюсь разсматриваніемъ мужчинъ, дефилирующихъ впереди, на пути изъ партера въ фойе. Что за собраніе некрасивыхъ мужскихъ лицъ! Право, съ нѣкотораго времени, не увидишь интереснаго лица въ Петербургѣ. Однако, должны-же они гдѣ-нибудь быть; куда-же они всѣ дѣвались?

Странная вещь: всякій, подходя къ выходу, на минуту останавливается и смотритъ въ крайнюю ложу; нѣкоторые слегка улыбаются. Взгляды пристальны, даже нахальны. Вотъ старый генералъ, воображающій себя молодымъ, съ выбритыми и отвисшими красными щеками, также останавливается и дѣлаетъ замѣчаніе статскому во фрагѣ, съ рябой еврейской фізіономіей. Оба смѣются. Кто ни пройдетъ, едва нагнется, спускаясь къ выходу, — сейчасъ остановится и обращаетъ взглядъ налѣво, въ бенуаръ. Обертываюсь и я, и смотрю по направленію всѣхъ этихъ настойчивыхъ, любопытныхъ и дерзкихъ взглядовъ. Въ ближайшей къ выходу ложѣ бенуара сидятъ дамы... Нѣтъ, дама, одна только дама. Но какая объемистая! Сначала мнѣ кажется, что вся ложа полна женскими плечами и юбками. По внимательномъ разсмотрѣніи оказывается, что у самаго барьера ложи, занимая даже всего только одинъ стулъ, сидитъ женщина, очевидно, обращающая на себя всеобщее вниманіе. И не даромъ.

Въ ней рѣзко замѣтны два типа: рубенсовскій и тичановскій, соединившіяся, но не слившіяся въ одно

цѣлое. Это рубенсовское громадное тѣло и тиціановская золотая голова, которую Рубенсъ преслѣдуетъ до самаго подбородка, гдѣ и кончается его твореніе, уступая мѣсто болѣе изящному и тонкому созданію венеціанца. Гармонія тонкой, прелестной линіи профиля нарушается мясистымъ вторымъ этажемъ подбородка. Вообще, эта женщина не такъ жирна, какъ мясиста; ея лицо даже совсѣмъ нежирно. Вотъ она повернулась въ мою сторону, и ея огромные каріе глаза, влажные и блестящіе, нисколько не стѣснены мускулами лица: какъ два сверкающихъ брилліанта, они вставлены во всей красѣ въ бархатную оправу рѣсницъ. Брови великолѣпны, но даже на нѣкоторомъ разстояніи замѣтно, что они нарисованы, что глаза обведены черной каймой, что бѣлизна лица и яркость маленькаго, совершенной формы, рта поддѣлана, какъ и масса золотисто-блѣдныхъ, пушистыхъ волосъ, спущенныхъ на самыя брови, *à la chièppe*, *à la diable*, *à la Аллахъ* знаетъ что.

Спокойно и монументально эта женщина высится на своемъ мѣстѣ, и бюстъ ея медленно, тяжело и равномерно поднимается, приливаетъ и отливаетъ, и кажется, что вотъ-вотъ волна его хлынетъ черезъ кружевной бортъ атласнаго корсажа и задушитъ ее своей массой. Она не только красива, но и миловидна, несмотря на свою громадность и поддѣлку своего лица. Въ немъ есть что-то нѣжное, плѣнительное. Я не могу оторвать отъ него глазъ. Зачѣмъ она сюда попала? Зачѣмъ она въ этомъ роскошномъ, но помятомъ атласѣ сидитъ въ полутьмѣ самой укромной и незамѣтной ложи, гдѣ взгляду приходится отыскивать ее? Всего естественнѣе было-бы увидать эту женщину въ самой видной изъ ложъ бель-этажа; сидѣть-бы ей тамъ, залитой всѣмъ блескомъ театральнаго освѣщенія, окропивъ росю крупныхъ брилліантовъ свои монументальныя плечи каріатиды. Зачѣмъ она въ этомъ темномъ углу? Очевидно, не для того, чтобы

ее видѣли... Десятки, сотни мужскихъ взглядовъ, отыскивающихъ ее по мѣрѣ того, какъ мужчины проходятъ мимо, даже какъ будто смущаютъ ее. Да, положительно. Вотъ она отодвигается въ самую глубину ложи, и оттуда, въ позѣ толстой кошки, собирающейся прыгнуть, втянувши шею, она выглядываетъ изъ-под лобья. Тѣло ея очень неграціозно въ эту минуту; это какая-то безформенная масса, къ которой приставлена восхитительная голова. Глаза ея хищно впились въ глубину залы: они изслѣдуютъ ее, осматриваютъ, обыскиваютъ. Она пришла, чтобы видѣть.

### III.

Занавѣсъ поднимается. Я обращаю все вниманіе на сцену; я слушаю „тривиальные“ хоры и марши, забракованные послѣдними словами нашей музыкальной науки, и въ сотый разъ въ жизни ихъ тривиальность кажется мнѣ выше и лучше всѣхъ послѣднихъ словъ этой науки. На сцену и смотрѣть пока нечего. Мефистофель мнѣ еще болѣе не нравится, чѣмъ сначала; я жду Фауста. Приходитъ Фаустъ, и вмѣстѣ съ нимъ я жду Маргариту. Весь театръ ждетъ ее. Ожидательному, нѣжно-напряженному настроенію, такъ прекрасно выраженному нѣмецкимъ словомъ *Sehnsucht*, способствуютъ звуки вальса, охватившіе театръ. Поэзіей старой Германіи вѣетъ отъ этой французской музыки. Такъ и мерещится старинная площадь какого-нибудь Нюренберга, съ готическимъ фонтаномъ, уставленнымъ статуями святыхъ и кобольдовъ, окруженная угловатыми, высокими, почернѣвшими домами, съ лѣсомъ диковинныхъ флюгеровъ на крышахъ, съ побѣгами плоча, обнимающаго готическіе выступы, башенки и колонки!..

Но Фаустъ уже остановилъ Маргариту такими небесными звуками, что нельзя не вѣрить, что она чиста

и прекрасна, какъ само небо. Сама Маргарита не успѣваетъ разрушить это очарованіе и уходитъ. Опять вонецъ акта; опять движеніе въ партерѣ; толпа валитъ въ фойе, и опять вниманіе проходящихъ обращено на крайній лѣвый бенуаръ. Я также оглядываюсь на громадную красавицу.

## IV.

Она сидитъ у самой рампы, не скрываясь; ея глаза положительно хищны. Она впиалась ими въ залу. Я вижу, какъ румянецъ проступаетъ на ея лицѣ съвозъ бѣлила. Обѣими руками она крѣпко сжимаетъ бинокль. Будь это въ темнотѣ—ея глаза навѣрное свѣтились-бы, какъ у кошки. Будь у нея хвостъ,— не шелковый, мягкій, безхарактерный трэнъ, а живой хвостъ африканской львицы или пантеры,—онъ теперь судорожно свивался-бы на полу ложи, ударяясь о-земь съ крѣпкимъ, упругимъ звукомъ. Я не успѣваю подумать это, какъ декорація ея лица быстро мѣняется: оно блѣднѣетъ, точно вытягивается; вызовъ пропадаетъ въ глазахъ, они тускнѣютъ—я ихъ больше не вижу: она подноситъ къ нимъ бинокль. Сначала она держитъ его обѣими руками, потомъ одной, а другой схватывается изо всей силы за барьеръ ложи, точно полъ внезапно раздался подъ ея ногами. Всей массой тѣла она повернулась направо. Она увидала.

Съ непреодолимымъ любопытствомъ я смотрю по направленію ея бинокля и ищу глазами—кого, я сама не знаю. Я оглядываюсь на ложи; бинокль медленно передвигается со всей остальной массой: то, на что она смотритъ, идетъ. Я ищу между идущими. Прямо впереди меня, въ проходѣ, среди толпы, идутъ двое мужчинъ. Одинъ изъ нихъ, ближайшій, стройный, высочій господинъ въ безукоризненномъ вечернемъ вос-

тюдъ, съ блѣднымъ лицомъ и изящными, надменно-холодными чертами; его коротко остриженные черные волосы и небольшіе усы подернуты просѣдью. Онъ улыбается какой-то холодно-иронической улыбкой, отрывающей ослѣпительно-бѣлые, мелкіе зубы. Его длинный спутникъ идетъ, сгорбившись и заложивши руки на спину подъ полами фрака. У него худощавое, смуглое, злое лицо южнаго типа, съ длиннымъ носомъ, низко опущеннымъ на тонкія губы; виски обнажены, волосы рѣзкимъ чернымъ мысомъ вдаются въ узкій лобъ. Если первый не можетъ быть сравненъ съ Фаустомъ, то второй бесспорно похожъ на Мефистофеля. Они близки къ выходу. Изящный господинъ съ просѣдью машинально смотритъ въ сторону ложъ, и улыбка мгновенно сходитъ съ его лица. Но онъ не отворачивается; только взглядъ его принимаетъ то преувеличенно-равнодушное, холодное выраженіе, которое бываетъ у человѣка, когда онъ хочетъ сравнять своимъ взглядомъ живое существо со стѣнами. Безпощадное, умышленное равнодушіе еще ожесточаетъ этотъ взглядъ. Онъ проходитъ. Я быстро оборачиваюсь. Она стоитъ въ углу, спиной къ залу. Я не могу видѣть ея лицо. Да, она смотрѣла на него.

## V.

Третій актъ „Фауста“. Поэтическій садикъ Маргариты; прелева, за которой она будетъ пѣть свою наивную, задумчивую пѣсенку; окно, гдѣ она появится съ раскрытыми объятіями. Фаустъ уже тутъ. Онъ выражаетъ дивными звуками то чувство, которое всякой любившей или любящей дѣвушкѣ хотѣлось-бы возбуждать въ любимомъ человѣкѣ. Какая дѣвушка не мечтаетъ о томъ, чтобы стоять на такомъ пьедесталѣ предъ тѣмъ, кого она любитъ? Что можетъ быть лучше любви Фауста въ

ту минуту, когда даже жилище Маргариты для него святая святыхъ, *dimora casta e pura!* Какъ чиста и прекрасна должна быть сама Маргарита! Неизвѣстно отчего, я вдругъ оглядываюсь на крайнюю ложу и замираю отъ удивленія. Неужели эта массивная женщина, какъ ни прекрасно ея лицо, можетъ что-нибудь чувствовать? По ея щекамъ текутъ слезы, выжигая бѣлила на ея лицѣ; я оттого и замѣчаю ихъ сразу, что онѣ оставляютъ багровый слѣдъ. Глаза тонутъ въ слезахъ; губы спокойны; руки сложены на колѣняхъ. Она такъ глубоко задумалась, что и не сознаетъ своихъ слезъ, а то бы она не сидѣла такъ на виду. О чемъ она думаетъ? Какія невинныя воспоминанія терзаютъ ея грѣшную грудь?

Но первыя слова Маргариты отвлекаютъ меня. Задумчивый речитативъ, и старинная баллада, и блестящая арія съ брилліантами, выражающая первое суетное, пустое чувство, пробудившееся въ груди Маргариты, смѣняются другъ друга. Вотъ и изношенная Марта, вотъ и Мефистофель, и снова Фаустъ. На сценѣ темнѣетъ. Двѣ гуляющія пары удаляются и приближаются. Темно. Голова Мефистофеля вспыхиваетъ краснымъ свѣтомъ; голосъ Фауста нѣженъ и нѣженъ. Робкая Маргарита вырываетъ у него свою руку и скрывается. Фаустъ ищетъ ее. „Маргарита!“ раздается въ саду, и бѣлое платье мелькаетъ въ темнотѣ. „Маргарита!...“

Но вотъ они опять вмѣстѣ. Они стоятъ на ступеняхъ, ведущихъ къ маленькому домику, и лунный свѣтъ обливаетъ ихъ. Я забываю о господинѣ Шишео съ его химическимъ освѣщеніемъ. Я вижу настоящій садъ и настоящую луну; затѣмъ и онъ исчезаетъ: я вижу только двѣ фигуры, бѣлую и темную, въ рамкѣ моего бинокля, и въ эту минуту для меня никого и ничего не существуетъ въ мірѣ, кромѣ нихъ. Фаустъ обнимаетъ Маргариту; Фаустъ у ея ногъ. „Умереть за

тебя!“ говорить она. Еще-бы не умереть! Кто не вспоминаетъ въ это время, что было съ нимъ въ лучшія минуты его жизни или что могло-бы быть, и потеря чего важется раздирательнѣе и ужаснѣе, чѣмъ когда-либо... Воспоминанія дѣлаются такъ мучительно-сладки или мучительно-горьки подѣ звуки этой влюбленной музыки, что начинаешь задыхаться; хочется, чтобы это никогда не кончилось... нѣтъ, пусть лучше скорѣе кончится... Скорѣй! Фаустъ уступаетъ мольбамъ Маргариты; съ восторженнымъ, безумно-нѣжнымъ возгласомъ онъ бросается вонъ изъ сада и... натывается на Мефистофеля. Вотъ открылось окошко; Маргарита, бллая подѣ луннымъ свѣтомъ, простираетъ руки, зоветъ... Фаустъ неудержимо устремляется къ ней; они въ объятіяхъ другъ у друга... Я вздыхаю съ облегченіемъ и прислоняюсь къ спинѣ кресла, опускаю бинокль на колѣни, и отдыхаю.

## VI.

Весь антрактъ я лѣниво сижу въ самой глубинѣ своего кресла, и не двигаюсь, и ни о чемъ не думаю. Антрактъ проходитъ скоро; я почти его не замѣчаю. Начинается страшная сцена передѣ церковью. Органъ звучитъ такъ строго-торжественно, такъ аскетически, неумолимо прекрасно, что мнѣ страшно за Маргариту. А тутъ еще этотъ красный силуэтъ, загорающійся багровымъ свѣтомъ, эта пламенная тѣнь, наступающая все ближе и ближе. Она жжетъ ее, подавляетъ; ея страшный голосъ тѣснитъ бѣдную душу. Отчаянными, смятенными звуками раздражается Маргарита; она молить, терзается, простирается въ прахъ; встаетъ, оборачивается, встрѣчается лицомъ къ лицу съ огненнымъ духомъ — и съ страшнымъ крикомъ падаетъ навзничь. Я невольно вздрагиваю и отвертываюсь. Мой



взглядъ падаетъ на крайнюю ложу бенуара. Тамъ никого не видно; стулья всѣ пусты—красавицы нѣтъ тамъ больше. Нѣтъ, она здѣсь: она лежитъ на полу, и въ полумракѣ ложи виднѣется гора ея тѣла, цѣлый водоворотъ атласа и кружевъ—больше ничего не видно.

Первое мое движеніе—вскочить и бѣжать—куда? Богъ знаетъ! Не пойду-же я въ эту ложу; да и съ моими-ли силами поднять эту женщину?

Мефистофель хохочетъ. Хоть-бы кто-нибудь вошелъ въ эту ложу! Валентинъ выскакиваетъ, какъ бѣшеный, изъ дома, и вызываетъ Фауста на смертельный бой. Собираюсь каждую минуту обернуться, встать, что-то предпринять, но не отрываюсь отъ сцены. Валентинъ упалъ. „Горе! горе!“ раздаются вопли скрипокъ и віолончелей. Вотъ и Маргарита наклоняется надъ умирающимъ. Она провлята; она сошла съума. Валентинъ мертвъ. Я оглядываюсь въ страшномъ волненіи. Господи! Да неужели-же никто не войдетъ въ эту ложу!

## VII.

Партеръ снова двигается. Снова заглядываютъ мужчины въ крайній бенуаръ; одинъ, другой, третій... Вотъ кто-то наклоняется къ капельдинеру, стоящему у входа; вотъ что-то говоритъ ему, указывая глазами на ложу. Наконецъ-то! Я напряженно смотрю въ глубину ложи, на дверь. Вотъ повертывается ключъ въ замкѣ, дверь открывается—показывается капельдинеръ; за нимъ видно нѣсколько любопытныхъ лицъ, но войти нельзя: она занимаетъ всю ложу, она лежитъ во весь полъ. По лицу капельдинера и компаніи я вижу, что они находятъ это очень забавнымъ. Впередъ протискивается господинъ въ черномъ сюртукѣ, съ бабенбардами. Должно быть, докторъ.

— Мертвая, что-ли?—ясно слышу я вопросительный голосъ.

— Мертвая!—повторяетъ другой голосъ утвердительно. Морозъ пробѣгаетъ у меня по кожѣ.

Вотъ ее приподняли и прислонили къ стулу. Я вижу ея розовое ухо и желтые волосы. Вотъ и ея лицо. Если смерть блѣдна, то она еще блѣднѣе подъ своими бѣлилами. Это какой-то невѣроятный, гипсовый, зелено-блѣдный оттѣнокъ блѣдности. Губы такъ крѣпко сжаты, точно онѣ срослись вмѣстѣ, и все еще сохраняютъ свой неестественный, яркій пунцовый цвѣтъ. Страданіе выражается въ каждой чертѣ этого безжизненнаго лица, и это еще ужаснѣе отъ его разрисовки. Бѣлила отливаютъ сизыми тѣнями; черная дуга бровей подъ нахальными прядями желтаго парика рѣзко и грубо обрамляетъ потемнѣвшія вѣки закрытыхъ глазъ. И все это дерзко и равнодушно разсматриваютъ любопытные взгляды набившихся въ ложу мужчинъ.

Мнѣ дѣлается такъ скверно, что я встаю и собираюсь уходить. Я подхожу къ самой ложѣ и слышу громкое восклицаніе: „очнулась!“ и вслѣдъ затѣмъ другой голосъ прибавляетъ, какъ-бы съ сожалѣніемъ: „живехонька!“

### VIII.

Я возвращаюсь на свое мѣсто, и просиживаю послѣдній актъ въ непріятномъ волненіи, совершенно не зависящемъ отъ того, что происходитъ на сценѣ. Я едва смотрю на нее. Опера кончилась. „Salva“ звучитъ хоръ въ вышинѣ. Декорація опускается, и безобразный апопееозъ выдвигается, какъ всегда, чтобы испортить впечатлѣніе. Я рѣшительно ухожу, и въ послѣдній разъ бросаю взглядъ на крайнюю ложу. И тутъ я вижу ее, вѣроятно, въ послѣдній разъ въ жизни. Она стоитъ въ

глубинѣ ложи, прислонившись къ стѣнѣ, и завязываетъ черную кружевную косынку у подбородка. Ея блѣдно-золотые волосы спутались и растрепались и беспорядочно падаютъ на смертельно-блѣдное, раскрашенное лицо, съ его пунцовымъ ртомъ и черными бровями. Въ полуотворенную дверь видна толпа любопытныхъ. Ее ждутъ нахальные взгляды, дерзкое любопытство.

А она стоитъ и дрожащими руками завязываетъ свое кружево, и никакъ не можетъ его завязать.

Бѣдная, зачѣмъ она очнулась?!



## СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА.

### I.

Всѣ, кто ее знали, считали ее счастливѣйшей женщиной. Въ самомъ дѣлѣ, трудно было представить себѣ болѣе счастливыя обстоятельства. Ей было двадцать четыре года; судьба надѣлила ее здоровьемъ, красотой, богатствомъ и обожающимъ супругомъ. У нея были друзья, болѣе или менѣе настоящіе, и было много враговъ, безъ чего женщины не обойтись, если она не ничтожество.

Когда она — неизмѣнно въ бѣломъ, неизмѣнно спокойная и холодная, сіяющая брилліантами — входила въ балную залу или въ ложу бель-этажа, — десятки, сотни завистливыхъ, дерзкихъ, восхищенныхъ и страстныхъ взглядовъ обращались на нее. И самый восхищенный, самый страстный изъ этихъ взглядовъ принадлежалъ ея мужу. Онъ самъ снималъ мѣховую порфиру съ плечъ своей царицы, онъ поклонялся ей во слѣдъ, какъ будто собирался нести ея кружевной трѣнъ, онъ не спускалъ съ нея глазъ, онъ слѣдилъ за каждымъ ея движеніемъ. Говорили, что онъ до глупости влюбленъ въ свою жену; говорили, что онъ ей подъ-пару, что онъ „картина“. Никто не имѣлъ понятія о томъ, что она сама объ этомъ думала. Боже мой, что-же она могла думать! Таковой великолѣпный мужчина, и такое состояніе! Однажды

вакая-то ловкая пріятельница спросила, въ припадѣѣ интимности, обнявши ее за талію: „Вѣдь вы, конечно, страшно влюблены въ вашего мужа, милочка?“ На что получила въ отвѣтъ: „должно быть, влюблена, если вышла за него замуж“. Отвѣтъ этотъ сопровождался улыбкой, очень красивой, но такой, что ловкой дамѣ стало какъ-то холодно. Впрочемъ, счастливая женщина всегда такъ улыбалась, что другимъ становилось холодно отъ ея улыбки. Между тѣмъ у нея былъ прелестный маленький ротикъ, съ губами яркими, какъ бутонъ гранатнаго цвѣтка, и короткая верхняя губа обнажала рядъ самыхъ ослѣпительныхъ зубовъ. Но только ея темные, черепаховаго цвѣта глаза никогда не принимали участія въ улыбкѣ и матово-блѣдное лицо оставалось блѣднымъ и неподвижнымъ, какъ-бы ни смѣялись губы.

Говорили, что она счастливая женщина, но безсердечная. Знакомыя дамы находили, что ее слишкомъ избаловали и отецъ, и мать, пока была жива, и belle mère, а главное—мужъ. И что это былъ за мужъ! Онъ уже занималъ видное административное мѣсто, несмотря на свою молодость, и исправлялъ неукоснительно служебныя обязанности. По крайней мѣрѣ, каждое утро пара великолѣпныхъ вороныхъ и экипажъ, соответствующій сезону, увозили его на службу вмѣстѣ съ элегантнымъ портфелемъ громадныхъ размѣровъ. Вскорѣ послѣ полудня онъ возвращался, и вмѣстѣ съ портфелемъ лавей непремѣнно доставалъ изъ экипажа какое-нибудь „тонкое вниманіе женѣ“, — нѣжный свертокъ, перевязанный розовыми ленточками. Но были это обсахаренные фрукты отъ Балле, или браслетъ отъ Фаберже—она одинаково красиво улыбалась и равнодушно откладывала свертокъ на лавовую этажерку. Мужъ цѣловалъ ея ручки, и служебная злоба дня была окончена.

Она не успѣвала ничего пожелать, ни о чемъ по мечтать, какъ все являлось передъ ней сейчасъ-же—все,

что можно купить за деньги. А развѣ есть что-нибудь, чего нельзя купить за деньги?

Итакъ, у нея было все. Счастливая женщина!

## II.

Никто не зналъ, чтобы она кого-нибудь особенно любила. Близкихъ подругъ у нея никогда не было. Когда ея отецъ чуть не умеръ, простудившись зимою, и чувствительныя дамы прѣзжали напоминать ей о Богѣ и безсмертіи души, приготовляя ее на всякій случай къ „разлуцѣ“, — онѣ были поражены яснымъ спокойствіемъ ея красоты и сухостью ея чудныхъ глазъ.

— Милая, неужели ваша душа не скорбитъ о томъ, кто далъ вамъ жизнь? Неужели ваше сердце не обливается кровью? — спросила одна премиленькая баронесса.

— Мнѣ вѣжется, что порядочные люди никогда не должны показывать, что у нихъ на душѣ, — возразила счастливая женщина, устремивши свой странный взглядъ на сердобольную даму.

Дама уѣхала въ полномъ убѣжденіи, что имѣла дѣло съ безсердечной женщиной. Впрочемъ, это пройдетъ, когда у нея будутъ дѣти.

Но дѣтей у нея не было. И, встати, по этому поводу она еще болѣе утвердила всеобщее мнѣніе о своей безсердечности. Кто-то пожелалъ ей на именины, чтобы Всемогущій Господь довершилъ ея рѣдкое счастье и наградилъ ее ребенкомъ.

— Сохрани Богъ! — воскликнула она съ необычайнымъ оживленіемъ, и въ ея глазахъ блеснула точно злобѣщая молнія. А, впрочемъ, она сейчасъ-же очень красиво и блестяще улыбнулась: мужъ, хотя и не ѣздилъ въ этотъ день въ должность и даже нарочно измѣнилъ служебному долгу ради 5 сентября, — входилъ съ цѣлой

серией свертковъ для своей обожаемой Лизы — и съ голубыми, и съ розовыми ленточками.

Подъ вечеръ того-же 5 сентября баронесса случайно заѣхала въ Исаакиевскій соборъ. Онъ казался еще темнѣе и суровѣе обыкновеннаго отъ рѣдкихъ свѣчей, мерцавшихъ передъ иконами. Небольшая кучка молящихся терялась въ глубинѣ, подъ сводами, какъ въ катакомбахъ. Густой басъ священнослужителя доносился изъ алтаря ровнымъ гуломъ; мракъ таинственно поглощалъ его, и святые слова, неслышанные и непрочувствованные, уносились въ пространство.

Баронесса озябла въ своемъ открытомъ экипажѣ и хотѣла погрѣться. Но на нее непріятно подѣйствовала темнота и запахъ ладона. Молиться она не собиралась; вездѣ дуло — негдѣ сосредоточиться, и на полу слишкомъ грязно, чтобы становиться на колѣни. Нѣтъ, лучше домой. Она поспѣшила мимо иконостаса къ боковой двери, но вдругъ остановилась. Она увидала знакомый плюшевый плащъ. Ахъ, у кого это былъ такой плащъ. цвѣта *feuille morte*, на атласной подкладкѣ? Гдѣ это она его видѣла? Она никакъ не могла вспомнить. Ахъ, какъ странно! И еще страннѣе, что обладательница такого изящнаго плаща лежала, принявъ лицомъ къ полу, на который баронесса не считала возможнымъ преклонить колѣна. И какъ долго она лежала! Баронессѣ непременно хотѣлось дождаться, когда она поднимется, чтобы увидеть, чей-же это, наконецъ, плащъ. Она была увѣрена, что онъ ей знакомъ.

— Голубушка, должно-быть, грѣхъ великъ на душѣ, или несчастная ужъ очень, — прошептала около сморщенная старушенка въ ватномъ капорѣ, утирая носъ бончикомъ платка, засунутаго въ рукавъ рыжей вацавейки.

Баронессу взяло нетерпѣніе. Ей еще предстояло обѣдать, потомъ спать, потомъ одѣваться и ѣхать на балъ въ именинницѣ. Она не дождалась и уѣхала.



Послѣ полуночи она входила въ изящную гостиную, драпированную золотисто-желтымъ броваромъ, утопавшую въ цвѣтахъ и огняхъ. На порогъ ее встрѣтила сама хозяйка, въ облавъ бѣлыхъ кружевъ. Ея граціозную лебединую шейку обвивало новое бриллиантовое кольцо — подарокъ влюбленнаго супруга на именины. Ея глаза блестяли не хуже ея бриллиантовъ и такъ-же холодно, какъ они. Ни тѣни румянца не было на ея лицѣ; ея губы улыбались, и холодомъ вѣяло отъ ея улыбки, и ей самой было холодно: на ея плечи былъ наброшенъ роскошный плюшевый плащъ цвѣта *feuille-morte*.

Золотистыя портьеры составляли чудную рамку для ея стройной фигуры. Вокругъ нея тѣснились цвѣты и прекрасныя женщины; восхищенные взгляды слѣдили за ней отовсюду; рядомъ съ ней стоялъ великолѣпный мужчина, ея мужъ — воплощеніе обожанія и восторга; огни хрустальной люстры играли въ камняхъ новаго кольца. Счастливая женщина!

Въ блестящей картинѣ, служившей ей фономъ, плащъ изъ коричневаго плюша составлялъ рѣзкое пятно, которое цѣлую минуту неприятно занимало баронессу. *Après tout, развѣ не бываетъ на свѣтѣ двухъ плащей *feuille morte*!*

### III.

Вся Россія слѣдила за тѣмъ, что происходило на Балканскомъ полуостровѣ. Почти во всякой семьѣ было пустое мѣсто, и многимъ изъ нихъ суждено было остаться навѣки пустыми. Петербургъ по-своему участвовалъ въ великомъ событіи. Газеты проглатывались съ жадностью; всему вѣрили и во всемъ сомнѣвались; служили молебны и панихиды, щипали корнію и шили бѣлье для солдатъ, нили шампанское во имя святаго дѣла. Проливались тяжкія тайныя слезы; раздавались шумныя легкомысленныя рыданія.

Баронесса износила два великолѣпныхъ бархатныхъ платья, — нарочно сшитыхъ для этого случая, — собирая по воскресеньямъ мѣдные пятаки въ кружку „Краснаго Креста“, въ Исаакіевскомъ соборѣ. Ей было очень тяжело „трембаллировать“ эту кружку, и она должна была взять на подмогу еще одного молодого человѣка, кромѣ того, который ей „давалъ руку“. Шляпку она выписала прямо изъ Парижа и склоняла ее съ чисто-христіанскимъ смиреніемъ передъ каждымъ мужикомъ. Она дѣлала все, что могла. Такое время — всякое сердце отзывается, особенно когда сама испытала горе. А какъ его не испытать, когда баронъ женатъ на цѣломъ кордебалетѣ, а на своей женѣ очень мало... Не то что Лиза, счастливая!

Она также участвовала въ „святомъ дѣлѣ“. Она шила для солдатъ съ утра до вечера и исколола до крови свои нѣжные розовые пальцы отъ непривычки къ иголѣ. Она ненавидѣла женскія руководѣлья и ничего никогда не шила, а потому неудивительно, что такъ неловко бралась за дѣло. Никогда тонкій батистъ для дѣтскаго нѣжнаго тѣльца или изящная ненужная вещица, блестящая яркими шелками, не занимала ея прекрасныхъ рукъ, украшенныхъ драгоценностями. Теперь эти руки перебирали грубый холстъ и сѣрое сукно, и въ глубокомъ раздумѣ она склоняла надъ работой свою гордую головку, украшенную роскошными черными волосами, вьющимися надъ нѣжнымъ лбомъ.

Баронесса похвалила ее за христіанское усердіе и съ чувствомъ поцѣловала, заставши за этимъ занятіемъ.

— Вотъ и вы за добрымъ дѣломъ! — воскликнула она мило.

— Я такъ скверно шью, что только такую грубую работу и могу дѣлать, — отвѣчала подруга.

— Ну, все-жъ-таки доброе дѣло!

— Да, теперь мода. Я такъ рада, что не русскія полотенца; они ужасно надоѣли. Какъ вы находите?

Баронесса оторопѣла. Боже мой, вотъ женщина! Ей о благотворительности, а она о русскихъ полотенцахъ! Совсѣмъ не въ тонъ. Кстати, баронесса только что собиралась прочесть ей одну французскую маленькую поэму о томъ, какъ ангелы куроннируютъ нашихъ погибшихъ героевъ на небесахъ; кузень такъ мило сочинилъ. Но поэма такъ и осталась нечитанной. Баронесса уѣхала, а счастливая женщина осталась одна съ своей работой.

Долго она сидѣла въ этотъ вечеръ за непривычнымъ занятіемъ. Бѣлая петербургская ночь заглядывала къ ней въ окна, съвозъ опущенное кружево занавѣсокъ. Сѣрый холстъ застилалъ плебейскими складками мягкую атласную мебель цвѣта морской воды и столики съ перламутровой инкрустаціей; на бархатномъ коврѣ, гдѣ сплетались морскія водоросли и водяныя лиліи, лежало грудями солдатское сукно; красные уголья трещали въ бѣломъ мраморномъ каминѣ и зажигали радужные огоньки въ большихъ брилліантахъ, которые застыли въ розовыхъ ушахъ прекрасной женщины, какъ капли росы на розовыхъ лепесткахъ. И два другіе такіе же крупные и прозрачные брилліанта дрожали на длинныхъ темныхъ рѣсницахъ и потомъ тихо сватились на блѣдныя щеки. Она не чувствовала ихъ. Она глубоко задумалась. О чемъ она думала? Подъ какою мрачною тяжестью такъ низко склонялась изящная головка?

Она думала о далекой, далекой могилѣ, одиноко затерянной въ желтыхъ нескахъ страшной азіатской пустыни. Она думала о погибшей молодой жизни, полной силъ и надеждъ... И ея губы шептали имя, давно забытое всѣми...

## IV.

Прошелъ годъ. Побѣдоносныя войска возвращались съ триумфомъ, и весь городъ принялъ радостный видъ при яркомъ свѣтѣ холоднаго осенняго солнца. Нева сверкала въ гранитныхъ берегахъ и тихо колыхала стройные корабли и неуклюжіе пароходы, разцвѣченные флагами. Триумфальныя арки, яркія драпировки и флаги, гирлянды зелени испещряли весь сѣрый городъ въ красивомъ безпорядкѣ, и голубой шатеръ неба осѣнялъ человѣческой праздникъ въ безоблачномъ блескѣ.

Все радовалось и волновалось.

На берегу Невы, у Николаевского моста собралась депутація, для привѣтствія одного изъ возвращавшихся полковъ.

Баронесса пріѣхала смотрѣть на эту патріотическую картину изъ оконъ дома своей подруги, такъ какъ, по странному капризу, она любила Островъ и жила на самой набережной. До моста было два шага, изъ окна все прекрасно видно, но баронесса умоляла дорогую Лизу пойти туда, гдѣ стояла депутація, чтобы увидать командира и офицеровъ поближе. Это будетъ такъ торжественно, особенно вблизи. Отчего-же не пойти? Дорогая Лиза согласилась. Она уступила великолѣпнаго мужа баронессѣ, а сама удовольствовалась кузеномъ, который такъ мило писалъ французскія поэмы о русскихъ ангелахъ; они отправились.

Толпа уже собралась; предстояло перейти только на противоположную сторону набережной, но и это было нелегко.

Войска ожидались еще не такъ скоро. На набережной офицеры депутаціи предложили дамамъ войти пока въ помѣщеніе одной изъ пароходныхъ пристаней, — премиленькій домикъ на баркѣ, какъ нашла баронесса.

Но дамы отказались. Баронесса утверждала, что видъ взволнованной толпы очарователенъ; и она ничего не боялась.

Еще четверть часа, и полкъ вступилъ на мостъ. Духовенство двинулось навстрѣчу съ крестомъ и пюной, за нимъ депутація съ адресомъ; принесли лавровые вѣнки, букетъ... Кто-же передастъ букетъ командиру? Кто-же, какъ не счастливая женщина! Ее сразу замѣтили, и высокій адъютантъ обратился къ ней съ почтительной просьбой взять на себя этотъ трудъ.

Съ удовольствіемъ — хорошо-ли только, что она вся въ черномъ для такого радостнаго случая? О, рѣшительно все равно, только-бы ей угодно было подать букетъ командиру, когда онъ остановится.

Войска приближались; вотъ — уже близко. Тихо, стройно двигался полкъ, точно подъ зеленымъ навѣсомъ, такъ густо лавровыя гирлянды обвивали штыки. Лавровые вѣнки на обнаженныхъ сабляхъ офицеровъ, на штыкахъ солдатъ; громадный лавровый вѣнокъ; перевитый георгіевскими лентами опоясывалъ командира точно перевязью. Вотъ онъ, впереди всѣхъ, на великолѣпной сѣрой лошади. Его обнаженная сѣдая голова серебрится на солнцѣ; блѣдное, строгое лицо исполнено торжественности. Ближе, ближе подвигается полкъ, громче звучитъ музыка. Все ликуетъ; толпа устремляется навстрѣчу неудержимымъ, радостнымъ потокомъ, съ громкими вликами. Привѣтъ, привѣтъ возвратившимся!

Но всѣ-ли они тутъ, всѣ-ли тѣ, что ушли? Что за дѣло, въ этотъ радостный мигъ! Тѣ, которыхъ нѣтъ — это ихъ помнить теперь! Побѣдители и побѣжденные, они тлѣютъ въ нѣдрахъ равнодушной земли и питаютъ своимъ скорбнымъ прахомъ молодую зелень, скрывающую ихъ могилы. Слезы и стоны не стали непрогляднымъ туманомъ надъ кровавымъ полемъ; небо не поблѣднѣло

отъ ужаса и сіяегъ надъ ними невинной лазурью. Пусть мертвые хоронятъ мертвыхъ; живымъ надо жить и забывать.

И они забываютъ. Гремятъ праздникъ живыхъ.

Полкъ остановился. Толпа надвинулась и тѣснить депутацію. Поспѣшно произносится благословеніе, поспѣшно читается адресъ. Букетъ! теперь букетъ!

Дамъ притѣснили совсѣмъ близко въ командиру. Его сѣрая лошадь нетерпѣливо мотаетъ гордой головой и грызетъ золотыя удила: полковникъ наклоняется съ сѣдла къ прекрасной женщинѣ, протягивающей ему букетъ; но лошадь рвется впередъ, и красавица невольно отступаетъ. На помощь ей протягивается рука въ бѣлой перчаткѣ; букетъ переданъ, и она подымаетъ глаза, чтобы поблагодарить своего неизвѣстнаго помощника. Она видитъ лицо, которое является ей давно только во снѣ, встрѣчаетъ взглядъ, который не надѣялась больше встрѣтить въ этомъ мірѣ... Съ ея поблѣднѣвшихъ устъ срывается слабый крикъ, заглушенный музыкой и восторженными возгласами толпы, и она падаетъ, какъ мертвая, въ ногамъ сѣрой лошади.

## V.

Какимъ-то чудомъ она уцѣлѣла. Командиру удалось осадить лошадь; безчувственную подняли и отнесли въ помѣщеніе паровой пристани.

Здѣсь, пока на набережной гремѣло „ура!“ и раздавалась музыка, пока все ликовало и радовалось, лежала она, блѣдная и холодная, съ поблѣднѣвшими губами.

Баронесса устраивала себѣ истерику; кузень бѣгалъ съ пустымъ графиномъ; обожающій мужъ бесплодно хлопоталъ вокругъ дивана, на который ее положили. Она лежала, какъ мертвая, но она не умерла. Ея душа

только на время отлетѣла, испуганная призракомъ прошлыхъ дней.

У двери толпились любопытные, хотя ихъ было немного. Какая-то дама предлагала свои услуги съ порога. Прошло нѣсколько тяжелыхъ, страшныхъ минутъ. Ни признака жизни на прекрасномъ лицѣ. Чужая дама сняла ея шляпку, начала разстегивать ей платье; баронесса опомнилась и стала помогать. Но руки ея дрожали и испуганное бѣлокурое личико сильно поблѣднѣло. Она совершенно растерялась и повторяла, сжимая въ своихъ рукахъ холодную руку безчувственной женщины: „Лизочка! Душечка!“

Но эти ласковыя имена не дѣйствовали на ея подругу; правда, теперь она едва замѣтно дышала, но все еще не приходила въ себя. Такъ прошло еще полчаса. Страшная тишина въ комнатѣ нарушалась только взрывами радостныхъ вливовъ извиѣ. Но вливи удалялись: народъ провожалъ войска, уходившія послѣ млебствія. Слава Богу! Теперь ее можно будетъ перенести домой. Кузена немедленно отправили, чтобы сдѣлать необходимыя распоряженія; онъ поспѣшилъ къ двери — она отворилась ему навстрѣчу, и въ комнату поспѣшно вошелъ офицеръ, одинъ изъ тѣхъ, которыхъ присутствовавшіе видѣли близъ командира при встрѣчѣ полка. Онъ прошелъ прямо къ дивану и остановился; баронесса взглянула на него съ вопросительнымъ удивленіемъ. Затѣмъ произошло что-то совсѣмъ странное. Огорченный мужъ, блѣдный, какъ полотно, посторонился и далъ мѣсто офицеру. Офицеръ опустился на колѣни около дивана, бережно взялъ маленькую руку въ черной перчаткѣ, свѣсившуюся внизъ, и нагнулся къ самому уху безчувственной женщины.

— Лиля...—сказалъ онъ едва слышно.

При звукѣ этого голоса, при этомъ имени, которое, можетъ быть, пронеслось въ измученной душѣ эхомъ

счастливыхъ дней, — опущенныя рѣсницы слегка дрогнули.

— Лиля! — повторилъ онъ.

Легкая краска появилась на ея губахъ, и она открыла глаза. Нѣсколько мгновеній ея взоръ безсознательно блуждалъ кругомъ и потомъ остановился на лицѣ человѣка, склонившагося надъ нею съ пламеннымъ ожиданіемъ. Тогда ея глаза широко раскрылись; она вся затрепетала, какъ осенній листъ, и съ ея губъ явственно сорвалось тихое восклицаніе:

— О, Боже мой!.. — прошептала она.

— Это я, я опять съ тобой, моя Лиля! — произнесъ молодой человѣкъ такъ тихо, что баронесса едва разслышала его слова.

Тогда она улыбнулась слабой, но свѣтлой улыбкой, отъ которой уже не вѣяло холодомъ зимы, — сіяющей улыбкой блаженства, и губы ея произнесли имя, которое привыкли повторять втайнѣ отъ всѣхъ. Потомъ отяжелѣвшія вѣки сомкнулись, и сознаніе снова оставило ее.

Она очнулась уже въ нервной горячкѣ.

— Ее слишкомъ потрясло свиданіе съ другомъ дѣтства, котораго она считала давно умершимъ, — объяснялъ огорченный мужъ своимъ знакомымъ. — Они выросли вмѣстѣ и любили другъ друга, какъ братъ и сестра!

— *Vous-vois*, значить у нея есть сердце! И такъ скрывать! — огорчилась баронесса...

## VI.

Долго не было никакой надежды на ея спасеніе. Наконецъ, ея сильный молодой организмъ побѣдилъ; она была внѣ опасности. Возвращеніе ея здоровья



ожидалось съ восторгомъ, возвращеніе ея сознанія—съ ужасомъ.

Впрочемъ, она такъ долго была въ безпамятствѣ, что не могла ничего помнить; конечно, она ничего не помнить.

Но она помнила...

Какъ только она пришла въ себя и въ первый разъ оглянулась кругомъ сознательными глазами, ея взоръ сталъ искать того, кто все время представлялся ей во время болѣзни. Но напрасно она его искала. Она увидала строгое, блѣдное лицо своего отца, измученнаго перенесенными волненіями; она увидала мужа, привѣтствовавшаго съ непритворною радостью освобожденіе своей дорогой, красивой игрушки изъ когтей смерти. Но его не было.

— Гдѣ онъ?—произнесла она едва слышно.

Это были ея первыя слова.

— Это я, мой ангелъ, это я, — ты вѣдь узнаешь меня!—радостно заговорилъ мужъ, наклоняясь къ ней.

— Я вижу. Я не брежу. Я спрашиваю, гдѣ онъ?

— Его здѣсь нѣтъ, моя дорогая. Онъ придетъ. Постарайся заснуть, тебѣ вредно говорить.

— Онъ живъ? Онъ придетъ?

— Да, да, непременно. Постарайся заснуть.

Она закрыла глаза и задремала.

Но чѣмъ сильнѣе просыпалась въ ней жизнь, тѣмъ настойчивѣе она цѣплялась за мысль о немъ. Получая все тѣ-же успокоительные отвѣты, что онъ придетъ, непременно придетъ, только успокойся,—она перестала спрашивать, перестала искать его глазами. Но часто она просыпалась, взволнованная милымъ призракомъ; часто ея губы шептали во снѣ дорогое имя.

Выздоровленіе медленно подвигалось. Наконецъ, она могла приподниматься на постели и сидѣть, поддерживаемая подушками. Ей больше не запрещали гово-

рять. И она снова вернулась къ занимавшему ее вопросу.

— О чемъ я хочу тебя просить...

Обожающій мужъ, который только что принесъ и положилъ ей на колѣни букетъ свѣжихъ пармскихъ фіаловъ, смѣявшихся надъ морознымъ январемъ, глядѣвшимъ въ окна, — сразу догадался, о чемъ она его хочетъ просить.

— Мой ангель, умоляю тебя, побереги себя...

— А я умоляю тебя, дай мнѣ увидеть его еще разъ, поговорить съ нимъ въ послѣдній разъ!

— Лиза, я готовъ сдѣлать все для тебя, но я боюсь, что это будетъ слишеомъ много для твоихъ силъ.. Подожди немного, когда ты окрѣпнешь...

— Прошу тебя. Это меня только успокоитъ. Я день и ночь только объ одномъ и думаю; право, такъ хуже.

На ея лицѣ показалась легкая краска. Она взяла руку мужа своей исхудалой, горячей рукой; она смотрѣла ему въ лицо лихорадочнымъ, блестящимъ взглядомъ.

— Мнѣ надо видѣть его, убѣдиться, что онъ живъ, что это была ужасная ошибка...

Онъ поблѣднѣлъ, какъ полотно, и опустился на колѣни у ея постели.

— Лиза, даю тебѣ честное слово, что я не зналъ... — выговорилъ онъ, съ усиліемъ. — Я никогда-бы не согласился на этотъ обманъ, влянусь тебѣ... Я до сихъ поръ ничего не зналъ...

Онъ остановился, потому что онъ испугался. Не сошла-ли она съ-ума? Отчего такъ смертельно поблѣднѣло ея прекрасное лицо, такъ дико горять ея глаза? Вдругъ онъ понялъ, что сдѣлалъ неисправимую ошибку, что она не подозрѣвала всей правды.

— О, Боже мой! — вырвалось у нея со стономъ. — О, Боже мой, зачѣмъ я не умерла!

— Лиза, мой ангелъ, не говори такъ! опомнись, успокойся, обожаемая моя Лиза! Клянусь тебѣ всѣмъ святымъ, влянусь моею любовью къ тебѣ, я ничего не зналъ!

— А кто-же зналъ? Такъ кто-нибудь зналъ?!

— Онъ думалъ, что такъ будетъ лучше, для твоего же счастья...

— Отецъ?—Она поблѣднѣла еще больше.

— Да. Фамилія такая обыкновенная, такъ часто встрѣчается—ты знаешь. Онъ показалъ тебѣ извѣстіе въ газетахъ; ты даже такъ спокойно тогда приняла послѣ первой вспышки...

— Такъ спокойно! Такъ спокойно! Да я ни днемъ, ни ночью не знала покоя съ тѣхъ поръ! И день, и ночь я мучилась тѣмъ, что я его убила...

— Лиза! Господь съ тобой! что ты говоришь!

— Да, да, я его убила! Я! Не моя-ли любовь причиною того, что его послали въ эту ужасную экспедицію, послали на смерть, чтобы его не было на моей дорогѣ! Мы могли расти вмѣстѣ, могли любить другъ друга, но выходить за него мнѣ нечего было и думать! Ему нечѣмъ было заплатить за меня, а я смѣла его любить больше всего на свѣтѣ! Вотъ его и похоронили заживо! И все время меня обманывали? Все время, съ самаго начала, вы знали, что вы меня обманываете?

— Повторяю тебѣ, я только теперь узналъ. Неужели ты не вѣришь мнѣ? Неужели моя великая любовь къ тебѣ...

— О, зачѣмъ отъ меня скрывали, зачѣмъ оставляли меня съ моимъ мученіемъ! О, зачѣмъ я не умерла!

— Ангелъ мой, не говори этого: пожалѣй меня... Я тебѣ говорю, что я ни въ чемъ не виноватъ!

Теперь она рыдала. Вся грудь ея надрывалась отъ рыданій; съ отчаяніемъ она ломала нѣжныя руки.

— Я сдѣлаю все, что ты хочешь, я приведу его къ тебѣ сейчасъ-же, только успокойся!

Наконецъ, она затихла и въ изнеможеніи опустилась на подушки. Глаза ея были закрыты; она лежала такъ неподвижно, что онъ думалъ, что она заснула, и тихо всталъ.

— Такъ ты исполнишь мою просьбу?— сказала она сейчасъ-же, не открывая глазъ.

— Да, да, только постарайся заснуть, мой ангель.

— Сегодня?

— Сейчасъ, — отвѣчалъ онъ уныло и вышелъ изъ комнаты.

## VII.

Ея желаніе было исполнено. Они увидались. Въ тѣ полчаса, что продолжалось это свиданіе, ея мужу казалось, что ни для кого время не шло такъ мучительно, какъ для него.

Но, можетъ быть, онъ ошибался.

Во всякомъ случаѣ, онъ сдѣлалъ все, что могъ. Онъ оставилъ ихъ вдвоемъ, оставилъ свою полу-живую жену съ человѣкомъ, котораго она любила больше его, своего мужа, и который любилъ ее, можетъ быть, также больше мужа? Онъ не бросился на этого человѣка, когда онъ вышелъ изъ ея комнаты съ лицомъ осужденнаго на смерть. И онъ не проклялъ его, когда нашелъ жену въ глубокомъ обморожѣ послѣ этого свиданія. Онъ могъ только проклинать свою судьбу.

Къ вечеру у больной сдѣлался жаръ; она провела ночь очень дурно, но на утро выздоровленіе вступило въ свои права, и она начала окончателно поправляться.

Потомъ мужъ увезъ ее въ Италію, для укрѣпленія силъ, и подъ южнымъ небомъ ея красота разцвѣла съ новымъ блескомъ. Страшная болѣзнь не оставила на ней ни малѣйшаго слѣда; она стала только чуть-чуть

поблѣднѣе, да рѣже улыбалась, — такъ рѣдко, что теперь почти никто не видалъ ея красивой улыбки. Зато къ ея граціи прибавилась прелестная томность, которая придавала ей еще болѣе пикантности въ глазахъ ея многочисленныхъ поклонниковъ. Такъ что, въ концѣ-концовъ, она еще похорошѣла, на радость влюбленнаго супруга.

— Она счастливо отдѣлалась, — говорила баронесса. — Да еще похорошѣла! И мужъ — влюбленнѣе, чѣмъ когда-либо!

Счастливая женщина!

„Другъ ея дѣтства“ убитъ на Кавказѣ въ прошломъ году.

---



## СОНЪ НА ЯВУ.

### I.

... Онъ стоялъ на высокомъ берегу. Сквозь габія вѣтви азалий и олеандровъ, отягченныхъ бѣлыми и розовыми цвѣтами, сверкало голубое озеро. Надъ его головой сплетались апельсинныя и лимонныя деревья, благоухали ихъ цвѣты—ароматныя жемчужины вѣнчальной короны. Горлицы ворвовали въ тѣни исполинскихъ магнолій; золотой фазанъ качался на вѣткѣ вьющихся розъ, сбѣгавшихъ изъ порфировой вазы на бѣлыя мраморныя ступени. Вѣтеръ колыхалъ легкія гирлянды каприфолій и жасминовъ и подергивалъ серебряной рябью прозрачную воду, плескавшуюся у подножія широкой лѣстницы...

Ему казалось, что онъ видитъ сказку на яву или волшебный сонъ. Но это былъ только маленькій островъ на Лаго Маджіоре, и онъ видѣлъ его при яркомъ свѣтѣ полуденнаго солнца.

Онъ былъ молодъ и счастливъ, онъ былъ любимъ и онъ видѣлъ Италію въ первый разъ. Его любили нѣжно и преданно; онъ любилъ весело и безопасно. Ему нравились ея милые глаза и розовыя губки; ему нравилось, что она считала его лучшимъ и красивѣйшимъ изъ людей. Она ждала и любила далеко, на сѣверѣ; передъ нимъ цвѣлъ югъ.

Онъ былъ одинокъ въ раю, но отсутствіе Евы его не томило. Онъ зналъ, что она существуетъ и любить его, и этого было довольно.

Онъ только что перенесъ тяжелую болѣзнь на родинѣ. Его прислали въ страну весны, чтобы возстановить свои силы, и онъ чувствовалъ, какъ онѣ росли съ каждымъ днемъ, какъ закипала въ немъ жажда жизни и самая жизнь. Но дѣятельность еще дремала.

Онъ жилъ на Лаго Маджіоре и весь отдавался наслажденію созерцательной жизни среди чудныхъ острововъ.

## II.

Ему нравился больше всего самый уединенный и самый запущенный изъ этихъ острововъ, — островъ Мадре. Тамъ рѣже всего встрѣчались иностранцы-посѣтители, тамъ рѣже всего жилъ настоящій владѣлецъ, графъ Борромейскій. Старый садовникъ привыкъ къ частымъ посѣщеніямъ „форестьера“ и не мѣшалъ ему одиноко блуждать по тѣнистымъ садамъ.

Однажды, въ сумеркахъ, онъ вышелъ изъ лодки на знакомую пристань и отворилъ чугунную рѣшетку сада. Тихо, тихо, вдыхая полною грудью вечернюю прохладу, онъ поднялся по мраморнымъ ступенямъ и повернулъ направо, вдоль берега, въ аллею апельсиновыхъ и лимонныхъ деревьевъ. Пряный аромат ихъ цвѣтовъ пропитывалъ воздухъ, и какъ только онъ очутился подъ ихъ густымъ сводомъ, его охватила такая глубокая, таинственная тишина, что казалось, будто все заснуло кругомъ. Удаляясь отъ берега, углубляясь въ чашу магнолій и камелій, онъ шелъ все дальше и дальше, и забывъ весь остальной міръ. Ни вдоха, ни звука, ни голоса не было слышно. Небо улыбалось въ вышинѣ послѣдней розовой улыбкой. Отблескъ за-



ката ласкаль широкіе листья музъ и вершины темныхъ кипарисовъ.

Вечернія тѣни сгущались въ роцѣ миртовъ и лавровъ; ихъ зеленія вущи сливались въ черную массу. Но вотъ онѣ порѣдѣли и разступились: онъ вышелъ на маленькую поляну.

Посреди высокая струя фонтана подымалась изъ пасти бронзоваго дельфина, обнявшаго сирену; хрустальныя брызги беззвучно падали на лугъ гелиотроповъ. Большая ваза бѣлѣла на золотомъ пьедесталѣ; павлинъ спалъ на краю, уткнувъ голову подъ крыло и распутивъ пышный хвостъ на бѣлый мраморъ. Весь садъ точно спалъ волшебнымъ сномъ. Казалось, что за этими воздушными араукаріями стоитъ дворецъ спящей царевны.

Онъ остановился. Онъ почувствовалъ себя царицею изъ сказки. Царевна близко; она спитъ за этими стѣнами цвѣтовъ и деревьевъ, въ бѣломраморномъ дворцѣ, на ложѣ изъ слоновой кости, усыпанномъ розами. Улыбаются ея уста, ожидая ноцѣлюя; содрогаются ея рѣсницы, предчувствуя пробужденіе... Она близко, и ему суждено пробудить ее среди сказочныхъ чудесъ, для сказочнаго счастья...

Дѣйствительность исчезла, сказочный міръ окружилъ его. Ему грезился сонъ на яву...

Все молчало.

### III.

И вдругъ... Во снѣ или на яву? Онъ услышалъ тихій, мелодическій звонъ струнъ. Авордъ, другой... Или это струя фонтана зазвенѣла въ тишинѣ, ударяясь о металлическій бассейнъ? Еще и еще... Нѣтъ, это не фонтанъ!

Отчетливо и звонко прозвучало нѣсколько аккордовъ, все громче и громче,—и въ немъ присоединился звучный, прекрасный голосъ. Спокойно и плавно неслись могучіе звуки; они точно росли, точно распускали широкія крылья и парили въ воздухъ, напоенномъ ароматомъ розъ и лимоновъ. Онъ слушалъ, какъ очарованный.

— Ave, maris stella!.. A—ve... —прозвучалъ послѣдній, торжественный возгласъ, и голосъ замеръ. Струны звенѣли, удаляясь и затихая.

Онъ очнулся и бросился, какъ безумный, въ ту сторону, откуда доносилась музыка. Онъ миновалъ густую рощу хвойныхъ деревьевъ и очутился на широкой лужайкѣ. Группы статуй тонули въ морѣ цвѣтовъ; за ними виднѣлся дворецъ, окутанный голубыми сумерками. Все было пустынно и тихо, только струны звенѣли гдѣ-то въ вышинѣ.

#### IV.

Онъ долго стоялъ на одномъ мѣстѣ, прислушиваясь къ ихъ таинственному звону. Притягиваемый этимъ тихимъ звукомъ, какъ магнитомъ, онъ приблизился къ самому дворцу и остановился передъ колонадой входа. На круглой площадкѣ вѣрная пальма широко раскинула свой вѣнецъ. Огромный фонтанъ посылалъ въ воздухъ цѣлый снопъ могучихъ струй, которыя уже начинала серебрить луна.

Высоко улетали бриллиантовыя брызги.

Онъ поднял голову, любуясь ими. Онъ взглянул на небо, просіявшее рѣдкими звѣздами, на темный дворецъ, на рядъ высокихъ оконъ, отражавшихъ лунный свѣтъ,—и вдругъ ясно увидѣлъ, какъ одно окно открылось.

Оно открылось тихо, беззвучно, само собою; тем-

нога скрывала ту невидимую руку, которая его отворила. И въ ту же минуту изъ окна слышались знакомые, тихіе аккорды, и чудный голосъ вырвался на волю, вдыхая жизнь въ спящіе сады.

Не гимнъ путеводной звѣздѣ, но упоительную пѣснь любви, страстный призывъ къ наслажденію услышали влюбленные сады. Нѣжно журчали фонтаны; мраморныя нимфы улыбались среди миллионовъ розъ, открывавшихся на встрѣчу весенней ночи...

— *Morir d'amor!*..—неслось изъ окна.

Онъ не выдержалъ. Онъ распахнулъ стеклянныя двери и очутился въ высокихъ стѣняхъ. По стѣнамъ висѣло гигантское оружіе; широкая лѣстница, уходящая наверхъ, бѣлѣла въ полумрагѣ; пѣніе доносилось сверху. Онъ устремился наверхъ.

## V.

Онъ шелъ, точно его несли крылья. Онъ видѣлъ, точно во снѣ, рядъ пустынныхъ залъ, по которымъ онъ проходилъ. Лунный свѣтъ, врываясь въ огромныя окна, ложился бѣлыми полосами на мозаичномъ полу; шаги глухо звучали. Бѣлѣли статуи, отдѣляясь отъ стѣнъ; вазы изъ порфира и лапсѣ-лазури сторожили двери. Чернѣлъ балдахинъ надъ стариннымъ ложемъ; тускло мерцали гигантскія зеркала. Убранство залъ неясно выдѣлялось изъ темноты; страшно становилось въ этомъ полумрагѣ.

Вдругъ, въ глубинѣ, блеснула полоска свѣта. Музыка, которая все время звучала въ отдаленіи, стихла. Но зато загорѣлся свѣтъ, къ которому его влекло, какъ бабочку къ огню.

Онъ миновалъ еще двѣ пустыя темныя залы и очутился передъ высокой полуоткрытой дверью, изъ-за которой струилась слабая полоса свѣта.

Сердце его страшно забилося. Онъ слегка толкнулъ дверь и остановился на порогѣ.

## VI.

Передъ нимъ была небольшая круглая зала, увѣнчанная куполомъ. Стѣны ея скрывали опущенныя драпировки; статуи, бюсты, старинное оружіе, дорогая мебель, огромныя вазы, наполненныя цвѣтами, загромаждали ее совершенно въ странномъ, живописномъ безпорядкѣ. На мраморномъ полу, среди цвѣтовъ и помпейскихъ вазъ, лежала только что оставленная гитара, палитра и разбросанныя кисти. Неподалеку стоялъ мольбертъ.

Но онъ едва замѣтилъ это необыкновенное убранство. Ему прямо бросилась въ глаза странная фигура въ пестромъ восточномъ костюмѣ, стоявшая у самаго входа. Высоко поднявши надъ головой обнаженныя черныя руки, украшенныя сверкающими браслетами, она держала роскошный букетъ, изъ котораго точно выросли прозрачныя восковыя свѣчи. Это былъ венеціанскій ванделябръ, освѣщавшій комнату, — хрустальный принцъ изъ „Тысячи и одной ночи“. Его мѣдно-красное лицо увѣнчивала зеленая чалма, и рѣзко выдѣлялись на немъ бѣлки черныхъ глазъ. Ихъ неподвижный стеклянный взглядъ прямо встрѣтилъ неожиданнаго гостя. Но не одинъ этотъ стеклянный взглядъ.

Прямо противъ входа, изъ глубины ниши, слегка завѣшенной золотистой драпировкой, на него смотрѣли пронзительно-живые, огненные глаза чудно-прекрасной женщины.

Она стояла неподвижно, какъ статуя. Ея страстное, южное лицо, пылавшее пламеннымъ румянцемъ, ея тяжелые, черные, какъ ночь, волосы, увѣнчанные красными цвѣтами, вся ея стройная фигура въ ослѣ-

пительно бѣлой одеждѣ, выступала на темномъ фонѣ, озаренная яркимъ свѣтомъ, исходящимъ неизвѣстно откуда. Ея красота сіяла изъ глубокой ниши.

Хрустальный принцъ, сверкая бѣлками стеклянныхъ глазъ, сторожилъ входъ въ ея убѣжище и высоко держалъ надъ головой букетъ цвѣтовъ и огней.

Она стояла и улыбалась. Ея глаза впивались въ душу, пронизывали насквозь, жгли и ласкали...

Прошло всего нѣсколько мгновений, но ему показалось, что цѣлый вѣкъ отдѣлилъ его отъ прошлой жизни. Потокъ новыхъ, неудержимыхъ ощущений нахлынулъ и закипѣлъ въ его груди. Онъ слышалъ бѣненіе своего сердца.

Ужъ онъ готовъ былъ перешагнуть черезъ завѣтный порогъ навстрѣчу красавицѣ, уже ему казалось, что вотъ-вотъ она сама выступитъ изъ-за золотой драпировки...

Внезапно около него раздался гнѣвный мужской голосъ.

Ему показалось, что хрустальный индеецъ свирѣпо засверкалъ стеклянными зрачками. Дверь съ шумомъ захлопнулась, и онъ снова очутился въ полумракѣ пустынной залы, освѣщенной луной.

## VII.

Нѣсколько минутъ онъ бродилъ по темнымъ заламъ и опять очутился въ саду.

Онъ тихо провелъ рукою по лицу. Ему казалось, что онъ просыпается послѣ долгаго сна, исполненнаго чудныхъ сновидѣній.

Но музыка? Но красавица?.. Во снѣ, или на яву? Южная ночь наступила.

Все тихо; только садъ дышетъ и перешептывается.

Все темно; только луна льетъ серебряный свѣтъ на цвѣты и на плечи мраморныхъ богинь...

Нѣтъ, нѣтъ—это былъ не сонъ! Онъ еще чувствовалъ на себѣ огненный взглядъ. Прекрасный образъ еще стоялъ передъ нимъ, какъ живой.

Онъ смотрѣлъ на дворецъ; онъ жаждалъ пронизать его взглядомъ, увидеть ее еще разъ. Но непроницаемо и мрачно было великолѣпное жилище; безмолвно хранило оно дивную тайну.

Онъ спустился къ озеру среди гранатовыхъ деревьевъ съ пламенными цвѣтами, убранными брилліантами росы.

Заснувшій барвайоль встрепенулся при его приближеніи и отвязалъ лодку. Они поплыли.

### VIII.

Всю ночь онъ не могъ заснуть. Онъ просидѣлъ у открытаго окна, всматриваясь въ серебряную даль,—туда, гдѣ темнѣли острова на лонѣ сверкающей воды.

Онъ прислушивался къ шуму волнъ, набѣгавшихъ на песчаный берегъ. Вдали тихо звенѣли волокольчики, привязанные къ сѣтямъ, заброшеннымъ на ночь рыбаками. Все спало.

Онъ думалъ. Мысли его витали въ новомъ, очарованномъ мірѣ, и центромъ этого міра была она—красавица съ огненными глазами...

Гдѣ вы, нѣжные голубые глаза сѣверной дѣвушки? Вы такъ часто, съ такой глубокой любовью останавливались на немъ и никогда не волновали его, не пробуждали въ немъ страсти. Ты спишь, бѣдная милая дѣвушка, и видишь его во снѣ... Родныя липы, подъ которыми вы гуляли рука объ руку, заглядываютъ къ тебѣ въ окно изъ стараго, запущеннаго сада, гдѣ цвѣтутъ первые ландыши.

Спи спокойно, пока онъ не спитъ подъ кровомъ южной ночи и видитъ свой сонъ на яву!..

## IX.

Солнце было высоко, когда онъ проснулся.

Сонъ не успокоилъ и не охладилъ его. Сердце его переродилось и узнало згучую тоску страсти. Всѣ его помыслы и желанія сосредоточились на таинственной красавицѣ. Ему казалось, что онъ умретъ, если не увидитъ ея снова.

Онъ вернулся на свой любимый островъ при яркомъ свѣтѣ полуденнаго солнца. Сады изнывали отъ зноя; безмолвнѣе, чѣмъ когда-либо, казался дворецъ.

Старый, глухой садовникъ ничего не понялъ изъ его взволнованныхъ разспросовъ.

Во дворцѣ никто не жилъ. Кто могъ тамъ жить? Въ концѣ мая уже начинается „мертвый сезонъ“; графское семейство теперь не прійдетъ раньше сентября.

Онъ въ нерѣшительности стоялъ на пристани.

Въ саду захрустѣлъ песокъ подъ легкими шагами.

Онъ вздрогнулъ. Неужели?..

Изъ аллеи вышелъ красивый молодой человекъ, обыкновеннаго итальянскаго типа. У него было одно изъ тѣхъ лицъ, которыя всегда нравятся женщинамъ сѣвера.

Онъ не слѣша спустился къ пристани и фамиллярно осмотрѣлъ иностранца, не подозрѣвая, какъ антипатична показалась ему вся его фигура, живописная, несмотря на костюмъ дэнди.

Садовникъ привычнымъ жестомъ приподнялъ края своей соломенной шляпы; итальянецъ улыбнулся ему и прыгнулъ въ ожидавшую лодку. Она отчалила.

— Можетъ быть, синьоръ спрашивалъ про *этого*?

Старикъ кивнулъ вслѣдъ удалявшейся лодкѣ.

— Этого? Да развѣ это не былъ посѣтитель, осматривавшій сады?

— Нѣтъ, какой посѣтитель! Это такъ-себѣ, никто особенный—художникъ, изъ пріятелей молодого графа. Онъ вчера пріѣхалъ. Какъ-же, какъ-же,—синьоръ Риккардо. Вѣрно про него и спрашивалъ синьоръ?

— Нѣтъ, совсѣмъ не про него. Синьоръ желалъ знать, кто была дама.

— Дама? Какая дама?—Садовникъ посмотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ и пошелъ прочь.

— Гдѣ-же она? Когда-же увидить онъ ее?

## Х.

Время шло; островъ молчалъ, какъ нѣмой. Сады цвѣли и благоухали, но ароматы ихъ душили влюбленнаго. Тоска разгоралась въ его сердцѣ. Онъ ждалъ, и ждалъ напрасно.

Однажды ночью, когда за нимъ уже затворилась калитка сада, когда лодка уже готова была отчалить отъ острова—до него донеслись еще разъ звуки знакомой гитары и чуднаго, могучаго голоса. Но онъ пѣлъ задумчиво и печально; онъ умолялъ объ отдыхѣ въ темной могилѣ, гдѣ успокоилось бы отверженное сердце. Грустно звучала пѣснь за стѣною высокихъ деревьевъ, за высокой желѣзной рѣшеткой; а калитка была закрыта изнутри!

Онъ прислушивался съ тоской и уныніемъ, и до зари въ его ухахъ раздавались печальныя слова:

In questa tomba oscura  
Lascia mi riposar... \*)

---

\* «Въ этой темной могилѣ оставь меня отдыхать...»  
(Слова романса, положеннаго на музыку Бетховеномъ).



## XI.

Утромъ онъ встрѣтилъ синьора Ривбардо на парходной пристани мѣстечка Стрезы. Итальянецъ хлопоталъ среди небольшой группы рабочихъ. Они жестикулировали, волновались и, наконецъ, направились въ большой лодѣ съ тяжелымъ ящикомъ, окрашеннымъ черной краской. Ящикъ помѣстили въ лодѣ; художникъ вошелъ въ нее вмѣстѣ съ рабочими; лодка отчалила и поплыла къ Борромейскимъ островамъ.

Было жарко и душно. Къ вечеру разразилась гроза и небо покрылось облаками. Озеро заволновалось и приняло стальной оттѣнокъ. Но какъ только замолели послѣдніе раскаты грома, лодка унесла его на островъ Мадре.

Вечеръ быстро наступалъ. При облачномъ небѣ быстрѣе сгущались сумерки. Онъ прошелъ прямо къ дворцу и нашелъ стеклянную дверь входа открытой.

Машинально онъ переступилъ черезъ порогъ и уже собирался подняться по лѣстницѣ, когда странный звукъ долетѣлъ до него сверху. Онъ прислушался. То были мѣрные, частые удары молотка: такъ стучать гробовщики, заколачивая гробовую крышку. Затѣмъ послышались глухіе голоса, шаги—они приблизились и стали спускаться по лѣстницѣ.

Онъ едва успѣлъ стать за высокія перила и прижаться къ стѣнѣ. Четверо рабочихъ несли продолговатый черный ящикъ, напоминавшій большой гробъ. Съ ними шелъ синьоръ Ривбардо, не спускавшій внимательныхъ глазъ съ ящика, который онъ поддерживалъ одною рукою. Они удалились по направленію къ пристани.

Онъ вышелъ изъ своей засады, взбѣжалъ по лѣстницѣ и устремился въ глубину длинной анфилады, по

которой уже проходилъ однажды. Онъ достигъ знакомой двери—она была полуотворена. Онъ вошелъ.

Хрустальная фигура по прежнему сторожила входъ; но свѣчи не горѣли надъ ея головой, статуи и драгоценныя вазы тѣснились во мракѣ и безмолвіи. Въ залѣ было совершенно темно—ни признака огня; онъ не могъ даже найти ниши, изъ которой красавица на него смотрѣла.

Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ; подъ его ногой что-то слабо зазвенѣло. Это была гитара.

Прорвавшись сквозь облако, яркій одинокій лучъ мѣсяца заглянулъ въ дверь, скользнулъ по мозаичному полу и задѣлъ хрустальную фигуру. Холодно блеснули ея стеклянные глаза.

И вдругъ ему вспомнилась печальная пѣснь, глухой стукъ молотка и мрачный черный гробъ... Страхъ объялъ его среди этого мертваго уединенія.

Онъ послѣшилъ на свѣжій воздухъ, на лоно ласковыхъ садовъ, туда, гдѣ тихо плескалась вода...

Небо очистилось и засіяло серебряными огнями. Черная туча омрачила его душу.

## XII.

Синьоръ Риккардо исчезъ и съ нимъ исчезли всѣ признаки жизни на островѣ Мадре.

Нимфы и горлицы, розы и фавны царили въ пустынныхъ садахъ.

Зачѣмъ пріѣзжалъ этотъ Риккардо? Отчего никогда не было слышно чуждаго голоса послѣ его исчезновенія и отчего онъ такъ печально звучалъ въ послѣдній разъ? Какое отношеніе красавица имѣла къ художнику? Очевидно, онъ увезъ ее... А этотъ черный гробъ? Что было въ немъ? Боже!.. Итальянецъ долженъ знать, гдѣ

прекрасная пѣвица? Тутъ скрывается какая-то тайна, и сибьоръ Ривкардо не чуждъ этой тайнѣ.

Онъ рѣшился отыскать синьора Ривкардо.

Ему сказали, что художникъ уѣхалъ въ Венецію.

Онъ отправился вслѣдъ за нимъ.

### ХІІІ.

Была теплая лунная ночь. Венеція пробудилась отъ тяжелой дремоты подъ звоннымъ солнцемъ; ея ночная жизнь закипѣла.

Онъ стоялъ на площади св. Марка.

Освѣщенная луною сверху и газомъ съ боковъ, вымощенная мраморными плитами, обставленная колоннадами прокураторій, — великолѣпная площадь казалась громадной бальной залой. Все довершало эту иллюзію.

Сквозъ зеркальныя стекла кафе лились потоки газового свѣта; посреди площади гремѣлъ военный оркестръ. Пестрая, нарядная толпа двигалась сплошной массой отъ королевскаго дворца къ собору св. Марка, отъ старыхъ Прокураторій къ Палаццо Дожей. Изящныя, щеголеватые венеціанцы, красавицы-венеціанки въ черныхъ кружевныхъ мантиліяхъ, бедуины въ бѣлыхъ бурнусахъ, турки и нубійцы въ бѣлыхъ и зеленыхъ чалмахъ, рыбаки въ красныхъ колпакахъ, офицеры въ блестящихъ мундирахъ тѣснились на площади и сидѣли веселыми группами за столиками передъ кафе. Кокетливыя фіорайи съ корзинками цвѣтовъ, продавцы газетъ и карамелей сновали всюду.

Все пѣло, смѣялось и радовалось жизни.

Онъ стоялъ одинокій и печальный среди радостной толпы. Ему страстно хотѣлось уединенія и тишины.

Онъ прошелъ сквозъ веселую толпу, взялъ гондолу у Пиацетты и приказалъ вести себя на Лидо.

Граціозно покачивая своимъ стальнымъ гребнемъ,

стройная черная гондола взрѣзала зеркальную воду, позолоченную отраженіемъ огней Пиацетты, и устремилась на просторъ, въ тихія лагуны. За колокольней Санъ-Джіоржіо Маджіоре сіялъ круглый дискъ луны.

Своро Венеція осталась позади со своими огнями. Гондола неслась по лагунѣ, осеребренной луной, мимо черныхъ свай, одиноко выступавшихъ изъ воды. На одной изъ нихъ пріютилась остроконечная часовенка Мадонны, и красный огонь лампадки мерцалъ у подножія статуи св. Дѣвы, державшей на рукахъ Младенца Христа. Отраженіе дрожало въ морѣ.

Онъ лежалъ на черныхъ подушкахъ и смотрѣлъ на звѣздное небо. Легкій, теплый вѣтеръ ласкалъ его разгоряченную голову. Онъ смотрѣлъ на горизонтъ, туда, гдѣ сіяла яркая, крупная звѣзда Венеры...

*Ave maris stella!*

Онъ вздохнулъ и глубоко задумался.

Гондолеры точно замерли на своихъ мѣстахъ. Весла съ тихимъ плескомъ погружались въ воду; гондола скользила плавно и беззвучно.

Лунный свѣтъ цѣловалъ море. Лучи рассыпались по водяной поверхности, сверкали дрожащими искрами, протягивались серебряными струнами...

Онѣ ожили, онѣ зазвенѣли тихими аккордами... Въ тишинѣ поднялся чудный молодой голосъ и разбудилъ сонныя лагуны величавымъ возгласомъ: *Ave, maris stella!*

#### XIV.

Навстрѣчу быстро приближалась другая гондола; изъ нея доносилось пѣніе... Она приблизилась, поравнялась—одинъ взглядъ, и онъ чуть не всерьезнулъ: онъ узналъ синьора Риккардо, сидѣвшаго у ногъ молодой женщины. Въ его рукахъ была гитара. Онъ пѣлъ.

Луна ярво освѣщала его лицо, сіявшее задумчивымъ вдохновеніемъ, и обливала бѣлымъ свѣтомъ нѣжный профиль его спутницы и золото ея волосъ подъ чернымъ кружевомъ мантильи.

Молитва въ путеводной звѣздѣ торжественно уносила въ вышину, туда, гдѣ сіяли ея свѣтлыя лучи.

Онъ пѣлъ! Синьоръ Риекардо!

Какъ могъ онъ принять этотъ голосъ за голосъ женщины!

Но она? гдѣ скрывалась она?..

Одинъ синьоръ Риекардо могъ знать, гдѣ она. Онъ рѣшился слѣдовать за нимъ.

Всю ночь, до разсвѣта, они провели въ лагунахъ. Солнце вставало за Лидо, когда они вернулись въ Венецію и черезъ Джіудекву, по цѣлому лабиринту узкихъ каналовъ, проникли въ сердце стараго города. Здѣсь остановилась гондола, у подножія почернѣвшаго палаццо. Художникъ и его спутница поднялись вверхъ по мраморнымъ ступенямъ, поросшимъ мхомъ, и скрылись подъ портивомъ монументальной двери, которая затворилась за ними.

Онъ остался одинъ передъ безмолвнымъ дворцомъ, освѣщеннымъ первыми лучами солнца, и рѣшился ждать въ гондолѣ, когда разгорится день.

## XV.

Движеніе воды, колыхавшей гондолу, укачало его, какъ ребенка въ колыбели. Онъ заснулъ тяжелымъ сномъ и спалъ долго. Зной южнаго утра разбудилъ его.

Сурово глянуло на него своимъ мрачнымъ фасадомъ мраморное палаццо. Онъ позвонилъ.

Молоденькая привратница въ деревянныхъ сандаляхъ, съ вѣромъ въ рукѣ, отворила ему. Онъ спросилъ, можно-ли видѣть художника. Она отвѣчала утвер-

дительно и пошла впередъ, указывая дорогу. Они прошли квадратный дворъ, мощный плитами, вошли въ сѣни и поднялись во второй этажъ по широкой лѣстницѣ съ истертыми скульптурными украшениями. Дѣвушка отворила дверь и посторонилась. Черезъ эту залу дверь направо. Тамъ студія синьора Риккардо. Она присѣла и удалилась.

Онъ пошелъ по указанному направленію къ двери направо. Около этой двери, прислоненный къ стѣнѣ, стоялъ большой черный ящикъ. Дверь была отворена.

Онъ вошелъ въ большую комнату, беспорядочно заставленную разнообразными предметами искусства, освѣщенную ослѣпительнымъ оранжевымъ свѣтомъ южнаго солнца. Онъ вошелъ, онъ отступилъ назадъ и остолбенѣлъ.

Прямо противъ входа, выдѣляясь бѣлоснѣжной одеждой на темномъ фонѣ, стояла красавица подъ навѣсомъ золотой драпировки. Ея страстное, южное лицо пылало пламеннымъ румянцемъ; ея черные, какъ ночь, тяжелые волосы увѣнчивались красными цвѣтами, ея пронзительно живые, огненные глаза смотрѣли прямо на него. Ея уста улыбались...

Безпощадное, правдивое солнце—врагъ сновидѣній, разрушитель призраковъ, освѣщало ее...

Это была картина.

---

## ЕЛКА ПОДЪ НОВЫЙ ГОДЪ.

### I.

Старый годъ приходитъ къ концу и собирается въ далекой путь, на молодую планету, гдѣ ему суждено снова ожить и быть молодымъ годомъ.

Морозъ ерѣпнетъ и растетъ. Онъ сковаль могучую рѣку; онъ покрыль сѣдинами молодья деревья и молодья головы; онъ чувствуетъ свою силу, и высоко стираетъ ледяныя руки, и смѣло заглядываетъ серебряными очами въ окна самыхъ великолѣпныхъ домовъ, и рисуеть причудливые узоры на зеркальныхъ стеклахъ, на величавыхъ колоннахъ.

И смотреть онъ, старается разглядѣть роскошныя залы и людей, которые въ нихъ обитають. Но кружева занавѣсокъ и листья чужеземныхъ растений, зеленѣющихъ ему въ насмѣшку, не даютъ проникнуть въ глубину великолѣпныхъ жилищъ, заморозить ихъ пронзительными взглядами. Въ досадѣ трясеть морозъ сѣдой головой, осыпаетъ искристымъ инеемъ балконы и рѣшетки, и идетъ гулять по узкимъ улицамъ, гдѣ накопляется безъ помѣхи блестящій снѣгъ, гдѣ низенькіе дома привѣтливо подставляютъ ему маленькія ошопки. Нагибается морозъ, ползетъ и заглядываетъ въ подвальные этажи.

И сѣро, и темно, и бѣдно, и тѣсно. Не на что смотрѣть. И вдругъ блеснуло морозу что-то свѣтлое и

сіяющее. Испугался онъ, съезжился.. Не свѣтлый-ли лучъ проникъ въ темное царство,—свѣтлый лучъ горячаго солнца, который прогнать его, растопить безслѣдно?.. Но это былъ не свѣтлый лучъ: то было свѣтлое дѣтское личико, маленькій розовый цвѣточекъ, распустившійся за тусклымъ стекломъ въ темномъ подвалѣ. Ребенокъ сидѣлъ у окна и, прижавшись въ стеклу, смотрѣлъ на суровую улицу и смѣялся. Смѣялись голубые глазки, и влажный ротикъ, и ямочки на щекахъ.

Наклонился старый морозъ и поцѣловалъ окно, и отъ его поцѣлуя чудные листья и цвѣты изъ блестящаго льда покрыли тусклое стекло. И смѣющееся личико скрылось за ихъ сверкающимъ узоромъ.

## II.

Въ темной комнатѣ мрачно и печально. Но ребенокъ освѣщаетъ ее, оживляетъ и наполняетъ своимъ нѣжнымъ весеннимъ щебетаньемъ. Мать сидитъ тутъ же. Часто она отрываетъ глаза отъ работы, обращаетъ взглядъ на свое маленькое солнышко, и ея истомленное лицо озаряется его отблескомъ. И долго, долго она сидитъ и шьетъ, пока послѣдній лучъ короткаго зимняго дня не уходитъ изъ глухой улицы. Огонь зажигать еще рано. Она беретъ ребенка на колѣни, крѣпко, крѣпко прижимаетъ его къ себѣ и сама прижимается губами къ его теплой золотой головкѣ, покрытой пушистымъ шелкомъ младенческихъ вудрей.

Что бы ни случилось, эти щеки останутся розовыми, эта головка будетъ всегда тепла, и маленькое тѣльце сохранить свою полноту и нѣжность. Скорѣе она умретъ отъ непосильной работы, чѣмъ... Умреть! А что тогда? Что тогда будетъ съ ея крошечнымъ роднымъ мальчи-



комъ? При одной мысли объ этомъ слезы капаютъ на дѣтскую головку.

— Мама, не плачь,—моя мама! Мама, расскажи мнѣ про елку!

И она въ сотый разъ рассказываетъ сказку про елку, —про сказочную елку, что бываетъ только за горами, за долами, у богатыхъ дѣтей, и сіяетъ безчисленными свѣчами...

— Сколько свѣчей? — спрашиваетъ ребенокъ. — Много? Пять? Двѣ?

— Да, двѣ, и еще больше... Много, много...

Сгущаются черныя тѣни; темнѣе и темнѣе въ маленькой комнатѣ; дѣтскіе глазки закрываются и, убаюванный сказкой о чудесной елкѣ, ребенокъ засыпаетъ и видитъ ангельскіе сны... И спитъ онъ спойкойно, какъ птенчикъ въ родномъ гнѣздѣ...

Грудь у матери ноетъ и болитъ, но она ничего не чувствуетъ, кромѣ воспоминаній, которыя впились въ ея бѣдное сердце, и терзаютъ и гложутъ его...

Темно. Она не видитъ своего мальчишка; она слышитъ только его ровное дыханіе и ощущаетъ его мягкіе волоски подъ своей рукой... И у *него* были волосы мягкіе, какъ шелкъ, но только не золотые, а темные, темные... *Онъ* былъ сильный и стройный; на его могучую руку она опиралась съ гордостью и вѣрой; на его груди покоилась ея голова, какъ птенчикъ въ гнѣздѣ... И лежитъ онъ холодный въ мерзлой землѣ, и лежитъ на его груди земля, все та же земля, и глубокой снѣгъ... Ничего онъ не слышитъ, ничего не видитъ... Нѣтъ его! — нѣтъ и никогда не будетъ...

Давно-ли? Всего три года тому назадъ... Онъ былъ молодъ, онъ любилъ такъ горячо и такъ смѣло! Онъ вѣрилъ, что все удастся и устроится; онъ цѣловалъ ее, и она вѣрила... Только быть вмѣстѣ, и все будетъ хорошо! Но нѣтъ его, нѣтъ и никогда не будетъ...

О, эти несчастныя, слабыя руки! Вы бессильны защитить маленькаго мальчика, если придетъ бѣда; вы годны только на жалкую, ничтожную работу... О, если-бъ быть не здѣсь, въ этомъ огромномъ, чужомъ городѣ, въ этомъ страшномъ океанѣ, гдѣ заблудилась она съ своимъ ребенкомъ, гдѣ надѣялась когда-то завоевать будущность вмѣстѣ съ нимъ...

Но нѣтъ его, нѣтъ и никогда не будетъ...

### III.

Солнце сіяло такъ роскошно, что удѣлило одинъ блестящій лучъ и для темнаго подвала. Устремился блестящій лучъ, пронизалъ тусклое окно, проникъ въ унылую комнату, отыскалъ тамъ дѣтскую золотую головку и остановился на ней, лаская пуховые волосы.

Ребенокъ смѣется за окномъ; у овна, на улицѣ воркуютъ голуби. И, пригрѣтые однимъ горячимъ лучемъ, они радуются вмѣстѣ — розовый мальчикъ и сизыя птички.

Матери нѣтъ, она ушла. Но она никогда не уходила надолго. Она брала работу только на домъ. Но много-ли она могла сдѣлать? Она не готовилась къ труду и ничего не умѣла.

Свѣтъ ея жизни, малепьвій ребенокъ, связывалъ ее по рукамъ и по ногамъ. Но безъ него не стоило бы и жить...

Никого она не знала въ огромномъ городѣ, не къ кому было обратиться, не на кого надѣяться. И она брала жалкую поденную работу и убивалась надъ нею день и ночь. Ребенокъ расцвѣталъ, мать умирала.

Иногда она сознавала, что умираетъ. Но нѣтъ, не можетъ быть! Богъ не допуститъ этого. И она старалась объ этомъ не думать.

Теперь она думала больше всего объ елкѣ. Безумное, бессмысленное, хотя и естественное желаніе! Вотъ и видно, что не простая женщина, а барышня... И какъ это еще уцѣлѣло въ ней? Едва-едва можно жить—а елка не выходитъ изъ головы. Вотъ, если бы онъ былъ...

Но его нѣтъ! Нѣтъ...

Она шла быстрою походкой, какъ могла скорѣе. Но вдругъ остановилась, какъ вкопанная. Передъ ней, за огромнымъ зеркальнымъ стекломъ, благоухалъ цѣлый садъ.

Посреди бѣлѣли жемчужные цвѣты ландышей, цѣнный лѣсъ ландышей; за ними бивали своими колокольчиками ряды розовыхъ и голубыхъ гіацинтовъ. Нѣжныя розы, удрученныя тяжестью и красотой своихъ душистыхъ лепестковъ, склоняли царственные головки на гибкіе стебли. Дальше подымался цѣлый лѣсъ перистыхъ и разрывныхъ пальмъ, широколистной и кудрявой зелени. И все это сверкало каплями воды, дышало свѣжестью, залитое яркимъ свѣтомъ газовыхъ лампъ. Праздничная выставка цвѣточного магазина приковала къ себѣ молодую женщину. Она приняла безкровнымъ исхудалымъ лицомъ къ зеркальному стеклу и жадно любовалась цвѣтами, и ей казалось, что воздухъ, которымъ дышали эти цвѣты, окружаетъ ее своей мягкой атмосферой.

Принести бы сюда его, ея маленькаго мальчика. Что бы она дала, чтобы пустить его на это поле ландышей! Пусть бы онъ ходилъ по этому выхоленному газону своими быстрыми ножками, обрывалъ цвѣты своими розовыми ручками! Хотъ показать ему...

Въ тотъ же вечеръ она принесла ребенка въ окну цвѣточного магазина. Морозъ немного спалъ, и она тепло закутала мальчика во все, что у нея было... Сама она дрожала отъ холода, но крѣпко прижимала къ себѣ теплое дѣтское тѣльце, и улыбалась посинѣв-

шими губами, приближая дѣтское личико къ ландышамъ, благоухавшимъ за стекломъ.

Но ребенокъ тянулся въ другую сторону.

— Мама!—звончалъ звонкій голосокъ,—елка! Это елка! Елка!

#### IV.

Да, это была елка. Рядомъ съ цвѣточнымъ магазиномъ красовалась большая кондитерская, и сѣвозъ стекла ея ближайшаго окна сіяла небольшая елка, увѣшанная бонбоньерками и блестящими украшениями, разноцвѣтными фонариками и восковыми свѣчами.

— Мама, я хочу елку! Пойдемъ, гдѣ елка!—повторялъ ребенокъ.

Она подошла. Войти въ эту кондитерскую нечего было и думать. У нея не было ни одного гроша въ карманѣ. Дома оставалось только нѣсколько жалкихъ серебряныхъ монетокъ, — молоко и хлѣбъ маленькаго мальчика.

Онъ плавалъ и тянулся къ елкѣ. Она вошла.

— Съ Богомъ, матушка! Съ Богомъ, не взыщи!— встрѣтилъ ее грубый голосъ. Такъ и слѣдовало ожидать.

Она прижала къ себѣ покрѣпче плачущаго ребенка и почти бѣгомъ воротилась въ свою глухую улицу, въ свой темный подвалъ. Ее начинала пробираться страшная дрожь. Она удерживалась, чтобы не дрожать слишкомъ сильно.

— Мама, елку! Я хочу елку! Моя милая мама!

— Подожди, мое сокровище, не плачь, мой ангелокъ. Будетъ тебѣ елка, мой родной мальчикъ!

#### V.

Она непременно сбѣгаетъ елку; больше ни о чемъ она не могла думать. И случай помочь ей. Святки

почти кончились; рождественскія елки отжили свой вѣкъ и, лишенныя своихъ огней и украшеній, валялись въ темныхъ углахъ, на занесенныхъ снѣгомъ дворахъ и сорныхъ кучахъ. Одну такую маленькую елку она нашла гдѣ-то у забора и принесла ее въ свой подвалъ.

Елка есть! Остается только украсить ее и достать свѣчекъ... Только!.. Но какъ это сдѣлать?

Она скоро нашла средство. Молоко и хлѣбъ, иногда яичко для крошки, нѣсколько полѣненьвъ, чтобы согрѣть маленькую желѣзную печку—это необходимо. Остальное не нужно! Она проработала цѣлую ночь, а днемъ и не вспомнила о кускѣ хлѣба, который для себя оставила. Но зато вечеромъ она купила десятокъ маленькихъ восковыхъ свѣчекъ, всѣхъ цвѣтовъ: и розовыхъ, и голубыхъ, и желтыхъ. Она любовалась ими, какъ ребенокъ, и спрятала ихъ, какъ сокровище.

Маленькій мальчикъ спалъ.

— Будетъ у тебя елка, мой родной сыночекъ!

На другой день она съѣла свой черствый кусокъ. И чего ей еще? Совершенно довольно! Зато она принесла домой горсть золотыхъ орѣховъ и три румяныхъ, блестящихъ яблочка.—Я сдѣлаю ему елку подь новый годъ!—радостно думала она. И опять не ложилась всю ночь, и проработала весь день, а вечеромъ, когда отнесла работу, вернулась съ цѣлымъ сверточкомъ пестрыхъ пряниковъ и конфетокъ.

Послѣдній день стараго года погасъ. Наступилъ вечеръ.

Опять разыгрался морозъ вѣрче прежняго, и пошелъ гулять по огромному городу, и заглянулъ въ глухую улицу, въ темный подвалъ, и увидѣлъ чудную картинку.

Въ тѣсной комнатѣ горѣлъ яркій свѣтъ. Посреди стояла маленькая вудрявая елка и бросала на потолокъ узорную тѣнь своими стрѣльчатыми вѣтвями. Золоченые

орѣхи и красныя яблочки, пестрыя конфетки и восковыя свѣчки блестя и горѣли въ темной зелени. Хорошенькая была елочка, хотя бѣдная и убогая. Но какъ хорошъ былъ маленькій розовый мальчикъ, который бѣгалъ вокругъ елки и щебеталъ, какъ крошечная милая птичка въ весенней рошѣ, и хлопалъ крошечными ручками! Огоньки свѣчей отражались въ свѣтлыхъ глазахъ; щеки разгорѣлись.

— Мама, моя мама! Это моя елочка, моя милая елочка!

Она цѣловала его золотую головку. Грудь ея ныла и болѣла. Въ глазахъ у нея все темнѣло, голова все кружилась...

— Мой мальчикъ! мой родной маленькій мальчикъ... Ты любишь свою маму?..

О, Боже мой! Отчего такъ дрожать ея руки и ноги? Отъ радости, или оттого, что она сегодня ничего не ѣла?

— Моя крошка! О, что будетъ, если я умру?!

Но не крошкѣ отвѣчать на этотъ вопросъ. Онъ бѣгаетъ и щебечетъ, щебечетъ и бѣгаетъ, пока не догоритъ послѣдняя свѣчка. И тогда, утомленный радостью и волненіемъ, онъ засыпаетъ на рукахъ у своей мамы.

Она бережно владетъ его на мягкую подушку въ корзинку, которая замѣняетъ ему постель. Она зажигаетъ крошотный огарокъ, чтобы посмотрѣть еще на спящаго ребенка, и становится около него на колѣни.

Тяжело, тяжело дышетъ бѣдная грудь. Болитъ и ноетъ сердце, но не отъ воспоминаній. Нѣтъ никакихъ воспоминаній, никакихъ мыслей нѣтъ больше... Все уходитъ, голова кружится; она низко, низко склоняется надъ сыномъ и только тихо повторяетъ:

— Мой мальчикъ! Мой крошечный родной мальчикъ!

Тихо, тихо. Пахнетъ смолистой елкой. Маленькій мальчикъ спитъ. Разгорѣлись круглыя щеки, спокойно лежатъ на нихъ золотыя рѣсницы; розовый ротикъ по-

луотерить и дышетъ споконно. Пристально, не отрываясь, смотритъ на него молодая женщина.

Молодая!.. Гдѣ же молодость на этомъ увядшемъ лицѣ, въ этихъ потухшихъ, страшно углубленныхъ глазахъ.

Острая, жгучая боль внезапно наполняетъ ея грудь. Она хватается рукою за сердце, точно думаетъ удерживать этою исхудалою, горячею рукою разрывающееся сердце, спасти его для жизни...

— Боже мой! что же это такое? Мое бѣдное, родное дитя!— Она склоняется впередъ, дрожитъ всѣмъ тѣломъ; тяжелая голова бессильно опускается на изголовье ребенка... Но спать, не просыпается, маленький мальчикъ, и не чувствуетъ, что остался одинъ на свѣтѣ, что нѣтъ у него больше мамы.

Она ушла и поручила его новому году...

## VI.

Старый годъ канулъ въ вѣчность и унесъ съ собою измученную душу. Поднялась-ли она, облегченная, прямо въ небеса, или замерла на свѣтлыхъ крыльяхъ и рыдаетъ въ безграничномъ пространствѣ, простирая безплотныя объятія въ своему маленькому мальчику?

Кто знаетъ!..





## НОЧЬ НАКАНУНѢ ИВАНА КУПАЛА.

### I.

Старый, большой деревенскій садъ стоитъ неподвижно, залитый луннымъ свѣтомъ. Черныя тѣни лежать подъ деревьями, въ глубинѣ сиреневыхъ влумбъ, на луговинахъ и на дорожкахъ.

Въ цвѣтникахъ, около небольшого деревяннаго дома, бѣлѣютъ цвѣты свѣтлыми пятнами; въ густой травѣ сверкаютъ капли росы, отливая зелеными огнями. Всѣ окна въ домѣ и стеклянная дверь на террасу отворены настежь. Изъ этой двери, ведущей въ единственную освѣщенную теперь комнату, несутся звуки фортепіано. Все остальное темно; оконныя стекла блестятъ отъ луннаго свѣта, и совсѣмъ бѣлымъ кажется сѣрый домъ. Лучи мѣсяца врываются въ темныя комнаты, скользятъ по стѣнамъ, бросаютъ узорчатыя тѣни на полъ и убѣждаютъ, что домъ пустъ. Все населеніе разбрелось по саду въ теплую іюньскую ночь, — ночь наканунѣ Ивана Купала.

Только одна пожилая дѣвица, которая боится росы и лягушекъ, играетъ мендельсоновскую фантазію въ опустѣломъ домѣ. Воздухъ полонъ благоуханіемъ жасминовъ, которые разрослись огромными кустами у самаго дома и тѣнятся у широкой лѣстницы, покрытые безчисленными бѣлыми цвѣтами.

На площадѣ, отдѣляющей домъ отъ группы ста-

рыхъ липъ и сосенъ, съ которыхъ начинается большая аллея, стоитъ молодой человѣкъ, одиноко размышляя. Сигара почти потухла въ его рукѣ.

— Куда это они всѣ дѣвались?—спрашиваетъ онъ себя лѣнливо.

Да, куда всѣ дѣвались, въ самомъ дѣлѣ?

Онъ сворачиваетъ въ аллею направо; его шаги тихо скрипятъ по песку; крупные листья шелестятъ надъ его головой, колеблемые теплымъ ночнымъ вѣтромъ. Подъ липами совсѣмъ темно; зеленый огонекъ свѣтляка блеститъ въ густой травѣ,halbvo отъ дорожки. Что это, какъ будто, женскій голосъ? Онъ явственно слышалъ свое имя и остановился.

## II.

Въ аллеѣ, въ двухъ шагахъ, горячо разговариваютъ. Должно быть, *онъ* сидятъ на скамейкѣ; только одна большая липа отдѣляетъ его отъ нихъ.

Да, онъ узнаетъ оба голоса, особенно одинъ—нѣжный, но звонкй и серебристый, который звенитъ какъ струна въ ночномъ воздухѣ. Онъ-то и произнесъ его имя, и произнесъ съ такой страстной нѣжностью, что трудно, очень трудно не броситься впередъ, за липу, къ этой скамейкѣ... Но онъ тамъ вдвоемъ. Теперь слышится другой голосъ, спокойный, низкй, грудной голосъ.

— Да что говорить о немъ! Все дѣло въ тебѣ. И я, право, не знаю, что мнѣ съ тобой дѣлать!—произноситъ онъ съ лѣнливой уворизной.

— А я развѣ знаю? Я сама не знаю! И ты думаешь, мнѣ легко?..—раздается пылкй, быстрый отвѣтъ.

— Сначала ты все кипятилась изъ-за того, что никакъ не можешь влюбиться... Теперь, когда ты, наконецъ, влюблена... Да скажи ты мнѣ на милость, влюблена ты или нѣтъ—разъ навсегда?

— Разъ навсегда: да! тысячу разъ, сто миллионъ тысячъ разъ!

— Такъ зачѣмъ-же ты дѣлаешь все на свѣтѣ, чтобы доказать *ему* противное? Зачѣмъ ты его мучишь и дразнишь?

— Да развѣ я его мучу и дразню?

— А ты зачѣмъ-же улыбаешься? Сама знаешь, что да! Какъ онъ ни влюбленъ...

— А онъ навѣрное влюбленъ? Ты думаешь... Честное слово?

— Въ который разъ тебѣ это говорить! Разумѣется, да. Право, я тебя не понимаю. На твоёмъ мѣстѣ...

— Ахъ, пожалуйста, не говори ты: на твоёмъ мѣстѣ! Сважешь глупость... На моемъ мѣстѣ тоже самое сдѣлала-бы, что и я. Когда я не могу! Ужъ, конечно, невозможно больше любить, чѣмъ я его люблю... Ты не знаешь, какъ онъ мнѣ нравится... Право, Маша, какъ онъ войдетъ—у меня всякій разъ въ глазахъ потемнѣетъ, сердце бьется, бьется... Я никого другого ужъ не вижу; мнѣ вдругъ до всего міра все равно, только онъ одинъ, онъ и я... Такъ я и бросилась-бы ему на шею...

Тутъ нѣжный голосъ зазвенѣлъ; въ немъ прозвучала неударжимая, юная страсть, слезы радостнаго волненія.

Вѣтви ближайшей липы подозрительно зашумѣли и задвигались, какъ живыя.

— Кто тамъ?—испуганно раздалось со скамейки.

Въ отвѣтъ наступило глубокое молчаніе. Черная фигура неподвижно стояла за липой; свѣтлякъ мирно сіялъ въ травѣ, и недалеко отъ него догоралъ красный огонекъ брошенной сигары.

Разговоръ опять возобновился.

— Все это прекрасно, но отъ этого ничуть не легче. Что бы ты ни чувствовала, а говоришь ты ему однѣ

непріятности. Кончится тѣмъ, что ты выведешь его изъ терпѣнія и онъ броситъ тебя...

Темная фигура за липой не согласилась съ этимъ: ни въ какомъ случаѣ.

— Но что-же мнѣ дѣлать, Маша? (голосъ принялъ смиренный оттѣнокъ).

— Вести себя иначе, во всякомъ случаѣ! Не дразни его каждую минуту...

— Не могу, не могу! Ты не знаешь, точно какой-то бѣсенокъ сидитъ во мнѣ и такъ и подмываетъ его дразнить... Но вѣдь я только дразню; если-бы онъ меня любилъ, какъ слѣдуетъ, развѣ-бы онъ сталъ обращать вниманіе на такіе пустяки?

— А что-же ему на проломъ что-ли идти?

— Конечно, на проломъ, а то какже?

Отвѣтъ былъ произнесенъ совсѣмъ другимъ тономъ— веселымъ и рѣшительнымъ. Черная фигура приняла къ свѣдѣнію и съ трудомъ удержалась оттого, чтобы не идти на проломъ сейчасъ.

Но мѣсяцъ, также подслушивавшій бесѣду, не выдержалъ: онъ заглянулъ съвозъ густыя вѣтви въ аллею и прямо направилъ на скамейку свой любопытный лучъ; этотъ лучъ скользнулъ по бѣлымъ платьямъ молодыхъ дѣвушекъ и озарилъ ихъ своимъ блѣднымъ сіяніемъ.

Одна была тоненькая и бѣлокурая, другая массивная брюнетка. Единственное, что было въ нихъ общаго, это то, что онѣ обѣ были хорошенькія дѣвушки; во всемъ остальномъ онѣ составляли полнѣйшую противоположность и потому были необыкновенно дружны. При лунномъ свѣтѣ обѣ казались блѣднѣе обыкновеннаго, но ничуть не хуже. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось темной фигурѣ, смотрѣвшей изъ-за липы. Она сама стояла въ тѣни, и потому никто не узналъ-бы въ ней теперь того самаго счастливица, о которомъ столько

говорилось въ аллеѣ, котораго такъ любили, хотя и дразнили... Но „счастливецъ“ ясно разсмотрѣлъ знакомя тѣмъ черты, легкія пряди волосъ надъ нѣжнымъ лбомъ и, главное, большіе, свѣтлые, задорные глаза и насмѣшливый ротикъ, не дававшій ему повода. Еще свѣтлѣе и воздушнѣе казалось это видѣніе рядомъ со спокойной, сильной фигурой черноволосой дѣвушки съ задумчивымъ взоромъ глубокихъ глазъ...

Набѣжала легкая тучка и скрыла любопытный мѣсяцъ; аллея снова потемнѣла, и на скамейкѣ остались только два бѣлыхъ, смутно очерченныхъ силуэта.

### III.

Теперь голоса звучали весело и беззаботно.

— Я рѣшила, Маша. Ты знаешь, я нарвала травъ.

— Какихъ травъ?

— Ахъ, Господи, развѣ ты не знаешь? Гаданье! Надо на зарѣ, не говоря ни одного слова... Надо тебѣ связать, мы пошли съ Варей: это было, конечно, ужасно трудно. Мы просто помирали со смѣху. Надо нарвать тринадцать разныхъ травъ, только непремѣнно молча и все разныхъ, и положить къ себѣ подъ подушку. Когда ляжешь—тоже не говорить ни слова... Ты не будешь меня смѣшить, когда мы ляжемъ?

— Не буду.

— Смотри-же. Ну, и съ вечера все думать... о чемъ хочешь. Если увидишь во снѣ...

— Какія глупости!

— Мало-ли что глупости, а я такъ хочу. Я загадала. Увижу *его*, тогда...

— Ну, что тогда? Сама объяснишься ему въ любви?

— Вотъ еще! Ни за что на свѣтъ! Но только тогда я сейчасъ-же...—тутъ голосъ понизился до шопота, и,

вакъ ни старались за липой, конецъ интересной фразы такъ и не удалось разслышать.

Потомъ на свамейкѣ еще долго шептались и смѣялись.

— Пора! — раздалось, наконецъ, громче.

— Что-же мы такъ вдвоемъ и пойдемъ?

— Непремѣнно вдвоемъ! И главное, чтобы никто не зналъ.

— Къ глухому пруду?

— Да. Мы пройдемъ въ нижнюю калитку и оставимъ ее отворенной; если увидятъ, то навѣрное подумаютъ, что мы пошли къ колодцу, а мы обойдемъ кругомъ, за садомъ, и къ пруду.

— Только тамъ мокро ужасно, Оля, и двѣ канавы по дорогѣ.

— Три. Что-жъ такое! Ужъ ты не боишься-ли?

— Чего тамъ бояться! Но зачѣмъ-же мы пойдемъ?

Несмотря на сомнѣніе, выраженное этимъ вопросомъ, послышались легкіе удаляющіеся шаги и шорохъ платьевъ.

— Тамъ самые лучшіе папоротники, и потомъ этотъ прудъ такой особенный! Мнѣ всегда кажется, что тамъ русалки. Хотя я и не вѣрю...

Далѣе уже ничего нельзя было разслышать. Бѣлыя платья мелькнули по дорожкѣ, спускавшейся къ калиткѣ; калитка хлопнула; зашуршали вусты за садомъ, и все стихло.

Тогда въ липовой аллеѣ раздались болѣе рѣшительные и твердые шаги: отъ липы отдѣлилась темная фигура и направилась къ дому. При выходѣ изъ аллеи ей встрѣтилась другая черная тѣнь; обѣ онѣ остановились и, оказавшись при лунномъ свѣтѣ двумя высокими молодыми людьми, обмѣнялись нѣсколькими веселыми словами, а затѣмъ дружно зашагали вмѣстѣ и исчезли подъ деревьями.

## IV.

Большой заброшенный прудъ давно заглохъ и заросъ тростникомъ, но въ срединѣ его еще было много воды, въ которой блестяль теперь мѣсяцъ. Старыя развѣсистыя березы росли по высокому валу, въ которому подступалъ частый, густой лѣсъ почти со всѣхъ сторонъ; только въ одномъ мѣстѣ въ берегу примыкала луговина, подымавшаяся въ гору, въ усадьбѣ: и прудъ, и обступившій его лѣсъ лежали въ глубокой лощинѣ, надъ которой подымался серебристый туманъ въ эту позднѣй часъ.

Въ черной тѣни большихъ березъ давно уже стояли двѣ безмолвныя фигуры, такія темныя и неподвижныя, что ихъ можно было также принять за два пня или дерева по желанію.

Только огонекъ неразлучной сигары выдавалъ несомнѣнную принадлежность, по крайней мѣрѣ, одной изъ нихъ къ міру людей вообще и вурящихъ молодыхъ людей въ особенности.

— Онѣ! наконецъ-то!

Дѣйствительно, въ лѣсу послышался слабый трескъ сухихъ сучьевъ, и на валу пруда мелькнули бѣлыя платья.

— Какъ здѣсь хорошо! Какъ хорошо!—закричалъ веселый голосъ.

— Сыро ужь очень! Надо платья чуть не до колѣнъ поднимать.

За березами раздался смѣхъ.

— Маша, ты слышала?

— Что?

— Кто-то засмѣялся?

— Вздоръ!

— Нѣтъ, ты послушай?

Онѣ прислушались. Все было тихо, только лѣсъ

шумѣлъ кругомъ, и маленькая птичка чиривала гдѣ-то въ чащѣ.

— Тебѣ показалось. Ну, куда-же мы?

— Въ лѣсъ, на ту сторону. Постой, только свѣтляка достану. Смотри, какъ онъ красиво блеститъ въ тростникѣ.

Она спустилась съ вала и нагнулась надъ прудомъ. Свѣтляка было трудно достать; онъ забрался глубоко въ росистую траву.

Молодая дѣвушка такъ занялась имъ, что и не замѣтила, что произошло на вала. Слышала она шаги, легкій крикъ...

— Маша на лягушку наступила! — подумала она, улыбаясь. Но затѣмъ слишкомъ уже тихо стало кругомъ...

— Маша!

Гдѣ-то далеко впереди отозвалась Маша.

— Куда-же ты? Подожди меня!

Серебристый туманъ вился надъ прудомъ. Таинственно и странно бѣлѣлъ онъ между деревьями, принимая смутныя, непонятныя формы. Точно чудныя тѣни сплелись въ одну большую гирлянду и вьются, и подымаются, стараясь разъединиться и разлетѣться въ разныя стороны... Казалось, что изъ этихъ сонныхъ водъ, въ которыхъ отражался мѣсяцъ, выйдетъ страшная бѣлая русалка и засверкаетъ своими водяными зелеными очами, отряхая блестящія брызги съ длинныхъ волосъ... А на черныхъ сучьяхъ сухой березы притаится мохнатый лѣшій и закричитъ дивимъ голосомъ...

Станный, протяжный крикъ прозвучалъ и замеръ въ чащѣ...

## V.

Съ бьющимся сердцемъ молодая дѣвушка взбѣжала на валъ и осмотрѣлась кругомъ.



Она была одна.

Правда, ей показалось, что какая-то черная фигура мелькнула и спряталась за деревомъ, но это, вѣрно, только показалось. Однако, она невольно вздрогнула и поспѣшила впередъ, въ лѣсъ. Мама, конечно, по ту сторону пруда, тамъ, гдѣ растутъ папоротники. Скорѣе въ ней, а то какъ-то страшно одной...

Сыро и темно было въ лѣсу; сухой листъ шуршалъ подъ ногами; темное небо со своими рѣдкими звѣздами едва свѣзило въ вышинѣ. Все гуще и гуще становился лѣсъ.

— Мама! Мама-а!

Звонкій голосъ прозвучалъ въ ночной тишинѣ и оборвался...

Вмѣсто отвѣта раздался опять тотъ-же странный, дивій крикъ и еще—съ другой стороны...

Отъ этого крика сердце замерло у нея въ груди, и, ничего не помня, сама не зная зачѣмъ, она побѣжала, какъ встревоженная лань, задѣвая краями бѣлаго платья за низкія вѣтви и за кусты густого папоротника...

Она бѣжала впередъ, въ лѣсную чащу...

Что это такое? Что за страшная черная фигура съ уродливой головой? Да это—просто старый пенъ, обросшій мхомъ... Но тамъ, впереди, уже не пенъ... Кто-то стоитъ...

Длинное бѣлое что-то стоитъ и не движется... Чѣмъ ближе, тѣмъ длиннѣе... Это не можетъ быть Мама!

Она останавливается и всматривается съ бьющимся сердцемъ, задыхаясь отъ быстрого бѣга. Господи! можно-ли быть таковой трусихой! Это просто просвѣчиваетъ поляна между двухъ старыхъ осинъ!

Сырой лугъ тонетъ подъ ногами; кочки, заросшія жестьямъ брусничникомъ и кустами папоротника, поднимаются тамъ и сямъ. Болото!

Мѣсяцъ, должно быть, зашелъ. Небо совсѣмъ черно надъ головой; ярко горять звѣзды. Лѣсъ вздымается кругомъ черной стѣной; густой туманъ влудится надъ поляной и плыветъ въ лѣсъ бѣлыми полосами и таетъ между деревьями. Свѣтляки горять цѣлыми десятками на мшистыхъ кочкахъ...

— Да я, однако, заблудилась!—сказала дѣвушка громко. И ей стало страшно, страшно...

Вдругъ въ лѣсной тишинѣ прозвучалъ колоколь... Звуки его пронеслись среди ночи изъ отдаленнаго села; тихо и стройно прозвенѣлъ металлическій голосъ, возвѣщающій наступленіе полночи...

Вотъ она полночь—таинственный часъ, когда поднимаются русалки изъ забытыхъ водъ, когда расцвѣтаетъ огненный цвѣтокъ въ непроходимой чащѣ, когда бродить лужавый лѣшій...

Она невольно озирается кругомъ и слабо вскрикиваетъ...

## VI.

По полянѣ движется высокая черная фигура; вотъ она идетъ ближе и ближе, прямо къ ней... И въ ту же минуту у ногъ ея, въ вустѣ папоротника, вспыхиваетъ яркая красная искра...

Неужели въ самомъ дѣлѣ папоротникъ цвѣтетъ?.. Боясь оглянуться, вся дрожа, она наклоняется и протягиваетъ руку...

— Не трогайте, обожжетесь!—кричитъ голосъ прямо за ней.

Если это и лѣшій, то лѣшій знакомый; она тотчасъ узнаетъ его голосъ, который заставляетъ ея сердце забиться съ новою силой, но уже не отъ страха...

— Такъ это вы? Не болѣе того!—произноситъ она немедленно съ такимъ ироническимъ пренебреженіемъ,

которое дѣлаетъ честь ея умѣнью притворяться, особенно въ эту минуту, когда бурная радость охватываетъ все ея существо.

Отвѣтъ слѣдуетъ далеко не прямой и до того неожиданный, что, прежде чѣмъ она успѣваетъ опомниться, уже не остается никакого сомнѣнія ни въ ея, ни въ его взаимныхъ чувствахъ. Какъ это вышло—Богъ знаетъ, но въ лѣсу неизвѣстно почему раздается звукъ нѣжнаго поцѣлуя...

— Я иду на проломъ,—объясняетъ дерзкій лѣшій.

## VI.

Долго объясняться, впрочемъ, не пришлось. Прудъ оказался очень близко, и не только прудъ, но и Маша, и ея неизбѣжный спутникъ—кузень тоже явились неизвѣстно откуда... Все происходило неизвѣстно какъ и почему въ эту чудную ночь...

— Маша, и тебѣ не стыдно?

— Отчего-бы это? Ты скажи лучше, гдѣ ты пропадала?

— Вотъ ужъ не тебѣ-бы спрашивать!

— Ее лѣшій водилъ...

— Молчите, милостивый государь: Развѣ это не ужасно съ вашей стороны пугать меня и этакъ кричать... Вѣдь это вы кричали?

— Я.

— Нарочно?

— Конечно, не нечаянно.

— И вы уронили вашу гадкую сигару въ папоротникъ.

— Я! Я! Все я!

— И все нарочно, разумѣется. Спрашивается зачѣмъ?

— А чтобъ васъ дразнить, милостивая государыня!

— Меня дразнить!! Можно-бы, кажется, не дразнить...

— Не могу, не могу. Ты не знаешь, точно какой-то бѣсенокъ сидитъ во мнѣ и такъ и подмываетъ дразнить...

— И это вы называете любовью?

— Но вѣдь я только дразню; если-бъ вы любили меня какъ слѣдуетъ, вы не стали-бы обращать вниманіе на такіе пустяки...

— Вотъ какъ! Нѣтъ, это ужъ ни на что не похоже!

— А потому вы ужъ идите на проломъ — какъ я сдѣлалъ!

— Маша! нѣтъ, ты слышишь?

— Что?

— Ты послушай, чѣмъ занимаются наши молодые люди: они подслушиваютъ!!

— А тринадцать травъ положите подъ подушку?

— Это еще что? Да онъ все слышалъ, рѣшительно все!

— Нѣтъ, не все: я такъ и не знаю, что вы сдѣлаете завтра, если увидите меня во снѣ.

— Проплачу цѣлый день. Нѣтъ, какъ вамъ не стыдно было подслушивать и потомъ пугать меня такъ ужасно?

— Я шелъ на проломъ; что-же мнѣ оставалось больше? А напугать васъ было тоже совершенно необходимо: на то и ночь наканунѣ Ивана Купала.

## ЖИВОЕ ПРИВИДѢНІЕ.

### I.

То была полуразрушенная, запущенная барская усадьба. Множество старыхъ строеній, обвалившихся, ветхихъ, свидѣтельствовало о прежнемъ величїи. Сохранился только домъ, большой деревянный домъ на каменномъ фундаментѣ, съ крышей, пестрѣвшей заплатами, съ широкой террасой подъ холщевымъ навѣсомъ, заплетеннымъ растеніями. Оранжерея давно рухнула; конюшни стояли запертыми; сарай опустѣли. Вся жизнь сосредоточивалась въ большомъ домѣ. На широкомъ зеленомъ дворѣ передъ домомъ пестрѣли клумбы; въ глубинѣ огромнаго сада, не расчищеннаго съ незапамятныхъ временъ, деревья разрослись, распростерли всюду свои пышныя вѣтви, отягченныя листвою, и взяли подъ свою защиту старую усадьбу. Они закрыли ветхія строенія, заслонили отъ насмѣшливаго взора провалившіяся крыши и покривившіяся стѣны; они обступили старый домъ, широкій дворъ. Сирень и шиповникъ образовали цѣлый лѣсъ у обвалившагося забора: некому было ихъ расчищать и подрѣзывать, и они переросли ветхіе столбы, стѣснились, спутались и росли чудной сплошной массой зелени, которая вся сіяла теперь розовыми звѣздами шиповника и серебристо-лиловыми кистями сирени. Благоуханіе разносилось далеко по всей усадьбѣ, по всему лугу, усыпанному маргаритками, которыя изъ большой

влумбы давно распространились всюду. Въ его густой травѣ цвѣли и голубые барвинки, и яркія гвоздики— все остатки когда-то пестрѣвшихъ цвѣтниковъ. За домомъ высилась стѣна стараго сада, переходившаго въ березовую рощу; а роща поднималась на валъ огромнаго четырехугольнаго пруда и здѣсь обступала его, отражаясь въ свѣтлой, зеркальной поверхности. Этотъ прудъ уцѣлѣлъ въ усадьбѣ, оттого что такъ высоко выкопали его въ старыя времена. Рѣдѣли деревья по его берегамъ; то тутъ, то тамъ обрушивалась огромная сѣдая береза или ель съ черными отъ старости иглами; то буря сломить, то само упадетъ отъ старости величавое дерево, и такъ и оставались они на высокомъ валу, купая въ глубокой водѣ мертвыя вѣтви, приминая зеленую траву огромными стволами, одѣтыми косматыми лишайниками...

Безчисленныя стаи птицъ гнѣздились въ рощѣ и саду, оживляли все кругомъ и наполняли воздухъ радостнымъ пѣніемъ и щебетаніемъ...

Но домъ стоялъ, таинственный и молчаливый, среди зелени и цвѣтовъ... Казалось, тамъ никто не жилъ...

## II.

Такъ думалось двумъ молодымъ людямъ, проходившимъ мимо запущенной усадьбы въ чудное майское утро.

— Неужели тамъ никто не живетъ? Какая досада! — воскликнулъ одинъ изъ нихъ, остановившись на дорогѣ, противъ дома.

— Да, тутъ хорошо жить, — отозвался его товарищъ задумчиво. — Удивительная поэзія въ этой старой усадьбѣ. Такъ и просится на полотно этотъ сѣрый домъ съ пятнами солнечнаго свѣта на холстѣ террасы, съ этой тяжелой массой обступившей его зелени, съ рѣзкими тѣнями въ глубинѣ кустовъ и деревьевъ...

— Ну, еще бы ты этого не нашелъ! Художникъ!

— Развѣ ты не находишь, что этотъ домъ—чудная картина?

— Ты пейзажистъ, мой милый, а я пейзажей безъ фигуръ не люблю. Я нахожу, что этотъ пейзажъ прекрасный фонъ для прекрасной фигуры...

— Женской?

— Разумѣется. Я нахожу, что на этой террасѣ, въ этихъ заброшенныхъ клумбахъ, въ этомъ темномъ саду недостаетъ блага платья... Конечно, съ тѣмъ условіемъ, что личико и фигура будутъ достойны этого традиціоннаго блага платья, въ которое романисты обыкновенно одѣваютъ своихъ хорошенькихъ героинь лѣтомъ... Ты не находишь?

— Да...—разсѣянно отозвался художникъ, но видно было, что онъ думалъ о другомъ. Его умное нервное лицо, въ которомъ красота взгляда и высокаго лба заставляла забывать объ отсутствіи другой, общепонятной красоты, выражало задумчивую усталость.

— Мнѣ, напротивъ, хотѣлось бы, чтобъ тамъ никто не жилъ,—сказалъ онъ вдругъ.—Пожить въ такомъ уединеніи самому, отдохнуть — вотъ чего бы мнѣ хотѣлось.

— Отдохнуть? Отъ чего бы это? Отъ шатанья съ утра до вечера по полямъ и лѣсамъ вмѣстѣ съ твоими красками, зонтикомъ и прочими принадлежностями? Да еще и со мной въ видѣ аксессуара?

Художникъ улынулся.

— Вѣдь я тебя нисколько не заставляю ходить со мной. Чего-жь ты?—сказалъ онъ.

— Что же мнѣ еще остается, скажи на милость? Охоты никакой нѣтъ, дѣлать совершенно нечего. Уѣхать не могу. Умираю съ тоски въ этой „зеленой глуши“, какъ тебѣ угодно это называть; зову друга усладить мое одиночество; другъ пріѣзжаетъ, схватываетъ висти

и палитру и удираетъ отъ меня въ лѣсъ... Вѣдь, согласишься, что это именно такъ случилось...

— Соглашаюсь...

— Что-жъ мнѣ дѣлать? Вотъ я и бѣгаю за тобой, и помогаю тебѣ таскать твои ящики.

— Однако, не затѣмъ же я вырвался изъ Петербурга весной, чтобы просидѣть въ четырехъ стѣнахъ, когда кругомъ чудная природа!

— Чортъ бы ее побралъ! Тебѣ хорошо — ты мажешь. А мнѣ что дѣлать?

— Ты можешь курить,—и художникъ протянулъ ему папиросу.

— Да, это, конечно, утѣшеніе,—вдохнулъ пріятель.—Только одна бѣда: я влюбленъ.

— Ты! въ кого?

— Въ томъ-то и дѣло, что ни въ кого. Такъ вообще влюбленъ. И страдаю, что нѣтъ достойнаго предмета, въ которому можно было бы устремить свои...

— Вздохи.

— Именно!

— Мало-ли тутъ женскаго населенія по деревнямъ—чего тебѣ лучше!

— Благодарю покорно! Нашелъ героинь романа!

— Такого, какъ тебѣ нужно.

— Извини. Мнѣ нужно героиню... настоящую героиню...

— Въ бѣломъ платьѣ?

— О, да! Въ бѣломъ платьѣ. Съ лазурными очами, милый другъ, съ небомъ во взорахъ, съ рѣвой золотистыхъ кудрей, съ...

— Постой. Вотъ тебѣ героиня, пока не въ бѣломъ, а въ красномъ платьѣ и не съ золотистой рѣвой кудрей, а съ черной... если я не ошибаюсь!..



## III.

Они проходили мимо покривившейся, распатанной избы съ зіяющими окнами, давно лишеными рамъ и стеколъ. Высокая зеленая крапива, огромные репейники и широкіе, гигантскіе лопухи разрослись подъ окнами и окружали ветхое строеніе сплошною стѣною. Одна изъ оконницъ, украшенная грубой почернѣвшей рѣзьбой, служила рамкой яркой, живой фигурѣ. У окна стояла молодая дѣвушка.

Ея смуглое овальное лицо оживлялъ нѣжный, но горячій румянецъ брUNETOKЪ. Большіе блестящіе свѣтло-зеленые глаза, обрамленные черными рѣсницами, казались черными отъ огромныхъ черныхъ зрачковъ, заставлявшихъ ихъ сверкать, какъ два живыхъ бриллианта. Тонкія черты, яркія губки, двѣ ямочки на смуглыхъ щекахъ придавали всему лицу милое и нѣжное выраженіе, смягчавшее строгость черныхъ бровей и серьезность блестящаго взгляда. Черные, очень густые, вьющіеся волосы вырывались изъ-подъ яркаго краснаго платка и надали беспорядочными вольцами и прядями на лобъ, сбѣгали на плечи, на смуглую открытую шею и полубнаженные руки, перепутываясь съ яркимъ шелкомъ бахромы, пестряющей золотыми нитями. На ней былъ странный костюмъ — нѣчто вродѣ русской рубашки съ вырѣзаннымъ воротомъ и рукавами, поднятыми выше локтя; рубашка эта изъ палевой шелковой матеріи, вся расшитая пестрыми шелками, почти сливалась своимъ оттѣнкомъ съ блѣдно-смуглой шеей и руками дѣвушки. Цѣлый каскадъ янтарей, коралловъ, золотыхъ монетъ и пестрыхъ бусъ блестящей струей обвивалъ ея шею и спускался на грудь. Яркочерный передникъ съ лифомъ, точно большимъ краснымъ шарфомъ, опоясывалъ ея станъ и довершалъ этотъ пестрый,

яркій нарядъ. Ея обнаженная лѣвая рука, вся звенящая браслетомъ изъ золотыхъ монетъ, облокотилась на подоконникъ, и въ ней была палитра, вся перепачканная красками.

Молодые люди смотрѣли на незнакомку во всѣ глаза, притаившись въ кустахъ бузины.

— Палитра! Это по твоей части!..

Услыхавши шорохъ, молодая дѣвушка высунулась изъ окна и, звеня и сверкая своими браслетами и ожерельемъ, вся залитая майскимъ солнцемъ, склонилась головою надъ зарослью крупныхъ сочныхъ травъ, разросшихся у дороги. Въ лѣвой рукѣ она продолжала держать палитру, а правой заслонила отъ солнца свои блестящіе глаза.

— Сеня, Даша, это вы?—закричала она звонкимъ, веселымъ голосомъ. Художникъ не успѣлъ оглянуться, какъ его другъ уже стоялъ подъ окномъ.

— Это не Сеня и не Даша, а—Костя и Сапа!—закричалъ онъ съ разбѣга и вдругъ, снявши шляпу, низко поклонился и прибавилъ съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ:—съ вашего позволенія...

Молодая дѣвушка отскочила отъ окна и вспыхнула; брови ея гнѣвно сжались. Но черезъ нѣсколько секундъ она какъ будто передумала и, облокотившись на подоконникъ, слегка улыбнулась.

Можетъ быть, ея художественный взглядъ—а судя по палитрѣ, это, конечно, была художница—съ удовольствіемъ остановился на стройной фигурѣ молодого человѣка, который стоялъ на дорогѣ въ почтительной позѣ, предоставляя солнцу золотить свои красивые каштановые волосы и освѣщать самымъ выгоднымъ свѣтомъ не менѣе красивое, интересное лицо, плѣнявшее столько петербургскихъ дамъ. Онъ самъ сконфузился отъ своей неожиданной выходки и теперь не зналъ, что начать.

Незнакомка сама вывела его изъ затруднительнаго положенія:

— Ну, а если я не позволю?—спросила она насмѣшливо.

— Тогда... я умру на мѣстѣ,—отвѣчалъ онъ, не задумываясь.—Передъ смертью позвольте вамъ представиться: вашъ сосѣдъ, Константинъ Бартенева, а это мой пріятель—Александръ Ивановичъ Волковъ, художникъ.

— Если хотите знакомиться,—сказала дѣвушка, улыбаясь,—идите въ домъ. Тамъ мама. Она гостепріимная женщина и ничего не имѣетъ противъ сосѣдей. А здѣсь моя мастерская—сюда я никого не пускаю.

И съ этими словами она окинула обоихъ друзей смѣющимся, блестящимъ взглядомъ и исчезла.

#### IV.

Друзья переглянулись и засмѣялись.

— Какова художница!—сказалъ Волковъ.—Прелесть что за головка!

— Предупреждаю тебя, что я влюбленъ.

— Уже? Я тебѣ мѣшать не стану. Я только съ точки зрѣнія искусства...

— Знаемъ мы ваше искусство. Однако идемъ къ „мамѣ“!

— Какъ? куда?

— Знакомиться, чортъ возьми! Сказано „идите къ мамѣ“. Неужели же пропустить такой случай? Я-жь тебѣ говорю, что я влюбленъ.

— Однако, какъ же такъ, прямо? вѣдь мы даже и не знаемъ, кто такая эта барыня. Хоть разузнать сначала.

— Не все-ли равно? Да вотъ какіе-то ребяташки идутъ, спросимъ. Мальчикъ, послушай, какъ тебя звать?

— А Сенькой,—отвѣчалъ быстроглазый курносый мальчикъ лѣтъ одиннадцати, за которымъ застѣнчиво пряталась крошечная бѣловолосая дѣвочка.

- Вотъ какъ! А сестру твою Дашей зовуть?  
 — Дашкой.  
 — Вотъ они, Сеня и Даша!—воскликнулъ Барте-  
 невъ, чему-то обрадовавшись. — Ну, Сенька, ты мнѣ  
 скажи, кто тутъ живетъ—я тебѣ привенникъ дамъ?  
 — Гри-венникъ?  
 — Двугривенный. Говори живѣе!  
 — А что говорить-то?  
 — Кто здѣсь живетъ, въ этомъ домѣ?  
 — Въ этомъ домѣ? Извѣстно, наша барыня.  
 — Ты что же, въ ней идешь?  
 — Къ барынѣ-то? Нѣту. Мы къ барышнѣ.  
 — Какъ ее зовутъ, барышню?  
 — А Варварой, Варварой Михайловной. Мы къ ней.  
 — Зачѣмъ же? Въ гости, что-ли?  
 — А она посадить Дашутку, а я стоять буду, и  
 картину съ насъ рисуетъ. И потомъ пятачокъ дастъ—  
 мнѣ пятачокъ, и Дашутѣ пятачокъ. Таки махоньки  
 пятаки, свѣтлые. Серебряные, стало быть.  
 — Ну, вотъ тебѣ двугривенный. Спасибо, что ска-  
 залъ. Ну, а барыня теперь гдѣ?  
 — Кто? Марья Николавна? Гдѣ же ей быть. Чай  
 дома сидитъ.  
 — Какъ ея фамилія? Какъ ее зовутъ?  
 — Такъ и звать Марьей Николавной. Барыня!  
 — Довольно тебѣ къ нему приставать,—вмѣшался  
 Волковъ.—Будетъ съ тебя. Пойдемъ.  
 — Пойдемъ. Да куда ты?  
 — Какъ куда? Домой.  
 — Что-о? Идемъ знакомиться къ Марьѣ Николаевнѣ.  
 — Ни за что! Можешь идти одинъ, если хочешь.  
 — Одинъ я идти не хочу, а знакомиться хочу, и  
 потому ты пойдешь со мной.  
 Художникъ вздохнулъ и покорился.

## V.

Друзья обманулись въ своихъ ожиданіяхъ. Съ Марьей Николаевной они познакомились, — она оказалась дѣйствительно гостепріимной женщиной, — но дочь ея имъ такъ и не удалось увидѣть, несмотря на то, что просидѣли они у новой знакомой цѣлый часъ. Ихъ появленію сосѣдка даже нисколько не удивилась. Это была простая добродушная женщина, которая держалась, какъ пожилая домовитая мать семейства, нисколько не занимаясь собой, хотя была еще очень моложавая и даже красива.

— Приходите, когда вамъ вздумается, безъ церемоніи, — говорила она. — Только живемъ мы очень тихо — дочь да я. Не очень то у насъ весело вамъ покажется.

Разумѣется, молодые люди протестовали. Могло-ли быть невесело въ такомъ прелестномъ уголкѣ, съ такими интересными обитателями и т. д.

— Вы-же не скучаете, Марья Николаевна, — сказала Бартенева.

— Я-то? Мнѣ некогда скучать, — сказала она съ улыбкой. — Хозяйство небольшое, — вы видите, что у меня вся усадьба запущена, — а все-таки есть... Да, съ тѣхъ поръ, какъ скончался покойный мужъ, все пришло въ упадокъ, — прибавила она со вздохомъ. — Хорошо еще, что Варя моя такая покладистая, что въ деревнѣ не скучаетъ.

— А вы всегда въ деревнѣ — и зиму, и лѣто?

— Круглый годъ. И здѣсь намъ хорошо живется! Прежде, бывало, въ Москвѣ жили, а теперь всегда здѣсь... И, право, довольны. Варя чудачка у меня; ей нравится такая жизнь. Ну, а мнѣ только и нужно, чтобы она была довольна. Занята она съ утра до вечера. Днемъ я ее рѣдко и вижу. Сидитъ въ своей мастерской или въ лѣсу пропадаетъ.

Новые знакомые не могли не пожалѣть объ этомъ и ушли, общая любезной хозяйкѣ „надоѣсть“ своими посѣщеніями.

Они отправились домой въ прекрасномъ расположеніи духа. Бартеневъ даже запѣлъ было: „Благословляю васъ, поля, лѣса, долины, нивы...“ но ненадолго. Отъ этого христіанскаго романса онъ сейчасъ же перешелъ къ другому, болѣе современному произведенію, и принялся насвистывать вальсъ изъ „Боккаччіо“.

— Такъ-то лучше,—замѣтилъ Волковъ, усмѣхнувшись.— Это къ тебѣ больше идетъ!

## . VI.

На слѣдующій день было воскресенье.

Посмотрѣвши издали, какъ пестрая толпа расходилась изъ приходской церкви,—ибо начало обѣдни оба проспали, просидѣвши чуть не цѣлую ночь на террасѣ,—друзья отправились бродить. И какъ-то такъ вышло, само собой, что они очутились въ Колосовѣ, т. е. въ старой усадьбѣ своей новой знакомой, Марьи Николаевны Колосовой.

На этотъ разъ по какому-то необъяснимому инстинкту они пришли прямо къ большому пруду, и инстинктъ не обманулъ ихъ. Между деревьями, у воды, бѣлѣло женское платье.

— Вотъ тебѣ и бѣлое платье! — воскликнулъ художникъ.

— Въ бѣломъ она должно быть еще лучше,—сказалъ Бартеневъ, бросая зауренную напироску.

Это была дѣйствительно она, т. е. Варя.

На ней было бѣлое платье, только совсѣмъ не такое, какъ обыкновенно бываетъ у героинь французскихъ романовъ, гдѣ непременно фигурируютъ шумящіе трѣны и облака кружевъ. Повидимому, молодая дѣвушка не

любила одѣваться „какъ всѣ“, и костюмъ ея отзывался именно тѣмъ чудачествомъ, о которомъ говорила мать. Ея бѣлое платье было похоже на какой-то халатъ съ широкими рукавами, стянутый золотымъ шнуromъ вмѣсто пояса. Хорошенькую головку обвивалъ платокъ, на этотъ разъ не красный, а золотистожелтый, навинутый на ея черныя кудри небрежно, но необыкновенно живописно. Поза ея тоже не лишена была живописности. Она помѣстилась на низкой толстой вѣтвѣ березы, свѣсившейся надъ водой такъ, что концы вѣтвей купались въ водѣ, и читала, опираясь головкой на руку. Большой букетъ свѣжей сирени лежалъ у нея на коленяхъ.

Самая утонченная кокетка не могла бы выбрать болѣе граціозной позы и наряда, чтобы предстать передъ глазами того, кому она желала нравиться. Но въ позѣ Вари не было ничего преднамѣреннаго, и друзьямъ пришлось въ этомъ совершенно убѣдиться. Она, очевидно, искала уединенія и была до такой степени погружена въ свое чтеніе, что совсѣмъ не слыхала, какъ они подошли.

А потому они подошли такъ близко, что она увидѣла ихъ почти у самаго того дерева, на которомъ усѣлась. Бартеневъ задѣлъ какую-то вѣтку, вѣтка хрустнула. Дѣвушка подняла голову и отъ неожиданности, встрѣтивъ пристальный взоръ, устремленный на нее, вздрогнула и уронила книгу.

Волковъ поспѣшилъ поднять ее, и при этомъ ему нечаянно бросилось въ глаза заглавіе. То было сочиненіе Аллана Кардева.

— Извините, мы кажется испугали васъ?—сказалъ онъ, подавая ей книгу.

Она вдругъ покраснѣла и поспѣшно спрыгнула съ своей вѣтки. Книгу она взяла и сейчасъ-же сунула въ карманъ.

— Вы всегда появляетесь какъ-то неожиданно,— сказала она.

— Вы такъ углубились въ ваше чтеніе, что не слышали, какъ мы подошли,—оправдывался Бартеневъ.— Должно быть очень интересная книга?

— Для меня интересная.

— А намъ вы ея не покажете, Варвара Михайловна?

— Вы знаете мое имя?—удивилась она, раскрывая свои зеленые глаза.

— Намъ вчера Сеня сказалъ. Кромѣ того, мы имѣли удовольствіе быть у вашей мамы...—началъ Бартеневъ.

— Да, я знаю.

— Такъ что теперь мы можемъ считаться знакомыми. Не правда-ли?

— Да,—отвѣчала она серьезно и протянула ему руку. Потомъ она обернулась къ Волкову и, посмотрѣвши на него нѣсколько секундъ пристальнымъ взглядомъ, сказала еще серьезнѣе:

— Вы мнѣ нравитесь.

Художникъ поклонился, немножко смущенный.

— А я?—воскликнулъ Бартеневъ, жалобно-комическимъ голосомъ.

— Еще не знаю,—отвѣчала она спокойно.

„Чудачка!“ подумалъ онъ съ досадой.

И всѣ трое отправились черезъ рошу въ домъ.

## VII

Съ этого дня молодые люди стали бывать въ Колосовѣ каждый день. У художника скоро установились съ Варей самыя дружескія, конфиденціальныя отношенія. Она даже пустила его въ свою мастерскую, чего не дѣлала ни для кого, и чего Бартеневъ отъ нея такъ и не могъ добиться. Молодая дѣвушка вѣчно имѣла что нибудь сообщить своему новому другу, показывала



ему свои работы и отправлялась съ нимъ въ лѣсъ— писать этюды съ натуры.

Бартенева влюбился не на шутку и началъ ревновать пріятеля къ Варѣ.

— На твоёмъ мѣстѣ я бы не сталъ ревновать,— сказала однажды Волковъ. — Какъ ты можешь ревновать ее ко *мнѣ*?

— Отчего же не къ тебѣ, когда ты за нею ухаживаешь, а она оказываетъ тебѣ предпочтеніе?

— Я и не думаю за ней ухаживать, и она мнѣ никакого предпочтенія не оказываетъ. Мы съ ней просто хорошіе товарищи; оба любимъ искусство... Она недурно пишетъ...

— Такъ я тебѣ и повѣрилъ!

— Это какъ тебѣ угодно. Вообще ты не станешь отрицать, что ты больше меня нравишься женщинамъ.

— Это почему?

— Да хотя бы потому, что ты красивъ, а я нѣтъ.

— Женщины любятъ безобразіе!

— Покорно тебя благодарю. Но это вздоръ. Къ тому-же Варенька художница, а потому ей свойственно любить все... прекрасное и интересоваться *не* художниками.

— Можетъ быть, только не мной. Она на меня и не смотритъ!

— Смотритъ, когда ты этого не видишь, и даже очень смотритъ. Какъ ты не понимаешь разницы. Со мной она дружелюбна и проста, съ тобой она кокетничаетъ.

Такъ оно и было; это невозможно было отрицать. Но кокетствомъ занимались обѣ стороны, и потому дѣло рѣшительно не шло на ладъ.

## VIII.

Чѣмъ больше друзья узнавали молодую дѣвушку, тѣмъ больше убѣждались въ томъ, что мать была права,

называя ее чудачкой. Ничего она не дѣлала, какъ всё. Вставала она съ зарей и уходила въ лѣсъ со своими красками и холстомъ, сунувъ кусокъ хлѣба въ карманъ. Иногда пропадала цѣлые дни. Одѣвалась всегда по своему, не соображаясь ни съ какими модами и принятыми обычаями, и часто наряжалась въ такіе фантастическіе костюмы, точно собиралась въ маскарадъ. Гулять безцѣльно она соглашалась только по вечерамъ, причемъ особенно любила ходить на сельское кладбище или въ лѣсъ, воображая себѣ при этомъ Богъ вѣсть какіе таинственные ужасы, такъ какъ боялась и кладбища, и лѣса. Читала съ увлеченіемъ, непремѣнно забравшись въ какой-нибудь заглохшій уголокъ сада или на прудъ, и всегда при какой-нибудь особенной обстановкѣ. Возьметъ книгу и уплыветъ одна въ лодкѣ на середину пруда, тамъ сложитъ весла и принимается за свое чтеніе. Или повѣситъ гдѣ-нибудь въ саду свой гамакъ, который она особенно любила, и цѣлый день ее никто не можетъ разыскать. Книги она всегда носила въ карманѣ и ни за что не показывала, что читаетъ. Но Волкову удалось проникнуть и въ эти книжныя тайны. Онъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что Варя читаетъ или серьезныя философскія сочиненія, или фантастическія сказки, спиритическіе и черновнижные рассказы. Эдгаръ Поэ и Алланъ Кардекъ были ея любимыми авторами.

По вечерамъ она часто уходила въ бібліотеку, мрачную комнату, наполненную старыми книгами въ старинныхъ швафахъ.

— Вотъ вы набили себѣ голову всякими страстями, оттого и боитесь всего! — сказалъ однажды Волковъ, заставши ее въ бібліотекѣ съ одной свѣчой на массивномъ кругломъ столѣ, стоявшемъ посреди комнаты.

Она вздрогнула, какъ пойманная на мѣстѣ преступленія, и, захлопнувши книгу, обинула комнату быстрымъ, испуганнымъ взглядомъ.

— Что и меня за привидѣніе приняли?—сказаль онъ, смѣясь, и сѣлъ противъ нея.

— У меня сегодня нервы разстроены,—оправдывалась она смущенно.

— Не диво, что нервы разстроены послѣ такого чтенія. Что это у васъ? *Демонологія!* Ну, такъ и есть... Бросьте вы это!

— Оставьте, Александръ Ивановичъ. Если мнѣ нравится!..

— Вы себя портите этимъ чтеніемъ. Ну, что вы по сторонамъ озираетесь? Вотъ до чего дочитались. Поидете лучше гулять; вечеръ теплый, луна сіяетъ. Просто прелесть!

— Мнѣ страшно двинуться,—призналась она шопотомъ.

Гулять она пошла, но непремѣнно хотѣла идти на кладбище.

— Я теперь такъ чудесно настроена, — сказала она.—Мнѣ такъ страшно, что того и гляди что-нибудь померещится. Я вездѣ готова видѣть Богъ знаетъ что... Это такъ весело! Я люблю бояться...

— Странный у васъ вкусъ, Варвара Михайловна!—замѣтил Бартенева.—Но какъ же вы послѣ этого не боитесь спать одна въ вашей мастерской?

— Да я тамъ рѣдко сплю. Это вамъ мама наговорила? Она ужасно не любитъ, когда я сплю въ мастерской. Тамъ мнѣ не страшно. У меня есть папинъ револьверъ, который я кладу подъ подушку.

— Револьверъ отъ привидѣній не помогаетъ.

— Ужъ не знаю отчего, но тамъ я привидѣній не боюсь. Въ мастерской я боюсь только одного портрета... Знаете, Александръ Ивановичъ, того, что у меня виситъ надъ дверью.

— Старикъ въ черномъ бархатномъ беретѣ?

— Да. Онъ прежде висѣлъ въ дѣдушкиной библио-

тебѣ. Онъ такъ пронзительно смотритъ, у него такіе живые глаза, что я его боюсь. Я даже всегда завѣшиваю его чѣмъ-нибудь на ночь, когда тамъ сплю,—призналась она, смѣясь.

— Охота вамъ возиться, когда въ домѣ у васъ такъ хорошо!

— Въ мастерской лучше. Съ тѣхъ поръ, какъ мнѣ пришла фантазія разобрать всякое старье въ кладовой и завѣсить стѣны разными старинными коврами и гардинами, она у меня стала похожа на какую-то фантастическую палатку. Правда, Александръ Ивановичъ?

— Правда.

— А меня вы такъ и не пустите въ это таинственное убѣжище?—спросилъ Бартенева.

— Ни за что! Какое же оно будетъ таинственное, если я въ него всѣхъ буду пускать? А ужъ васъ никогда не пущу,—особенно *теперь*.

— Отчего же *особенно теперь*?

Она вдругъ вся вспыхнула, хотѣла что-то сказать и вмѣсто того повернулась и ушла въ домъ. Волковъ засмѣялся.

— Чему ты смѣешься?

— Чудачка!—сказалъ онъ и, усѣвшись на нижней ступенькѣ террасы, закурилъ папиросу.

## IX.

Частыя посѣщенія молодыхъ людей не прошли безслѣдно. Какъ ни глухо было въ Колосовѣ, но все же и тамъ были люди. А гдѣ люди, тамъ и сплетни.

Въ одно прекрасное утро въ крыльцу колосовскаго дома подошла вучка бабъ изъ прежней „крѣпостной“ деревни. Онѣ спрашивали барыню.

Марья Николаевна вышла.

Одна изъ бабъ выступила впередъ и съ поклономъ

подала барынь деревянную чашку, наполненную яйцами, и курицу, связанную за ноги пестрой лентой.

— Здравствуй, Матрена! Здравствуйте, бабы. Что вамъ?

— Здравствуй, матушка-барыня. Не погнушайся нашимъ подарочкомъ. Вотъ тебѣ курочка-молодочка и яичекъ полсотенки. Проздравить пришли, матушка. Съ зачатіемъ!

— Что такое?

— Съ зачатіемъ добраго дѣла, сударыня. Не обезсудьте, матушка. Примите подарочекъ!

Бабы поклонились въ поясъ.

Марья Николаевна ничего не понимала. На крыльцѣ показала Варя и остановилась въ изумленіи. При видѣ ея бабы зашевелились и заговорили въ одинъ голосъ.

— Вотъ она, красавица наша! Барышня-голубушка, сердечная наша, дай тебѣ Богъ, Царица Небесная, свадебку сыграть поскорѣе, зажить веселѣе! — Варя вспыхнула, какъ маковъ цвѣтъ, и вопросительно посмотрѣла на мать. Марья Николаевна сама покраснѣла.

— Не понимаю, съ чѣмъ вы меня поздравляете, — сказала она нетерпѣливо. — Поздравлять не съ чѣмъ, и яичъ я не возьму. Возьми свою курицу, Матрена. Идите съ Богомъ.

Но отъ Матрены не такъ-то легко было отдѣлаться. Насилу она ушла съ своей свитой, унося съ собою подарки. Ни она, ни остальные бабы ни на минуту не сомнѣвались въ томъ, что „барыня таится“. На селѣ всѣ знали, что барышня просватана за сосѣда. Бабы ушли разобиженные.

Но это было только начало.

Въ воскресенье, послѣ обѣдни, когда поповны изъ сосѣдняго села пришли по обыкновенію на пирогъ, Марья Николаевна сейчасъ-же замѣтила, что онѣ имѣли таинственный видъ, значительно переглядывались и пе-

решептывались между собою. Наконецъ, старшая, Любовь Θεодоровна, не вытерпѣла:

— Марья Николаевна, батюшка просвирочку прислали за здравіе нашей любезной невѣсты, — сказала она, вся покраснѣвъ.

— Какой невѣсты?

— Ахъ, Марья Николаевна, вѣдь мы свои... Чего же вамъ скрывать? Вѣдь дѣло хорошее, — подхватила Анна Θεодоровна, младшая.

— Да что вы, мои милыя! Въ чемъ мнѣ отъ васъ скрывать?

— Богъ съ вами, Марья Николаевна! Будто мы не знаемъ, что вы просватали Варвару Михайловну за бартеневского помѣщика!

— Съ чего вы это взяли? Вотъ еще извѣстіе! — съ досадою воскликнула Марья Николаевна.

— Съ чего! Извѣстно съ чего. Когда даже бартеневскій прикащикъ говорить, и въ лавѣ на селѣ толкуютъ, и фельдшеръ Чертковскій... Да что фельдшеръ, всякая баба на деревнѣ знаетъ! — обиженно сказала Любовь Θεодоровна.

Марья Николаевна серьезно разсердилась:

— Все это сплетни и больше ничего, — сказала она, нахмурившись. — Ни за кого я свою дочь и не думала сватать, и право не понимаю, съ чего...

Она запнулась на полусловѣ и вдругъ почувствовала себя очень неловко.

Поповны замѣтили причину ея неловкости и сейчас-же захихикали, поглядывая на дорожку, которая вела отъ клумбы въ дому.

По дорожкѣ шла Варя, необыкновенно хорошенькая и оживленная, въ палевомъ платьѣ, на который бросалъ алыя тѣни ея яркій китайскій зонтикъ. Она весело болтала, опираясь на руку Бартенева, который не сводилъ съ нея восхищеннаго взора. У ея корсажа и

въ петлицѣ его лѣтней жакетки алѣли одни и тѣ же цвѣты, пламенные маки, съ которыми могли поспорить яркостью цвѣта только улыбающіяся губки и разгорѣвшіяся щеки молодой дѣвушки.

Марья Николаевна, которая могла бы привыкнуть за лѣто къ этому зрѣлищу, поразилась имъ необыкновенно и съ досадою подумала про себя: „однако, надо положить этому конецъ!“

## X.

Въ тотъ-же вечеръ она заговорила объ этомъ щекотливомъ предметѣ, но не съ героемъ происшествія, а съ его другомъ. Она рассказала ему о поздравленіяхъ и сплетняхъ и заключила свое повѣствованіе довольно страннымъ вопросомъ:

— Скажите вы мнѣ, наконецъ, любите онъ Варю, или нѣтъ?

— Почему-же вы это у меня спрашиваете, Марья Николаевна? Спросите у него самого.

— Съ какою стати! Не стану-же я навязывать ему свою дочь. Но вѣдь это такъ невозможно оставить. Какъ это я не замѣчала до сихъ поръ! Вѣдь онъ отъ нея не отходить!

— Не отходить.

— Ну, что-же?.. Какъ вы думаете?—Марья Николаевна вдругъ оробѣла. Вольгову стало ея жаль.

— Марья Николаевна, я буду говорить съ вами откровенно, хотя это и не мое дѣло,—сказалъ онъ.— По моему, онъ влюбленъ въ Варвару Михайловну и даже очень сильно.

— Такъ отчего-же онъ не объяснится?

— Онъ неувѣренъ въ ея отвѣтъ. Ему кажется, что онъ ей не нравится.

— Неправда! Очень нравится. Развѣ я не вижу?

Марья Николаевна до сихъ поръ это и въ голову не приходило. Но въ эту минуту она была увѣрена, что ужъ давно замѣтила, что ея дочь равнодушна къ молодому человѣку.

— Да наконецъ, — сказала она, — вѣдь какъ-же узнать, нравится онъ ей, или нѣтъ, если онъ не объяснится? Вѣдь не воображаетъ-же онъ, что она первая признается ему въ любви?

— Вотъ я ему то-же говорю. Самолюбивъ онъ ужасно, вотъ въ чемъ бѣда!

Марья Николаевна заволновалась.

— Это ужасно! — повторяла она. — И еще эти сплетни! Это ужасно, Александръ Ивановичъ!

— Успокойтесь. Ничего. Все кончится благополучно, увѣряю васъ.

— Вы думаете?

— Я въ этомъ увѣренъ. Разумѣется, если вы не будете препятствовать.

— Я? Боже меня сохрани. Все, что угодно, только бы Варя была счастлива.

## XI.

Между тѣмъ, Бартеневъ всюду искалъ своего друга съ только что полученной телеграммой. Въ поискахъ онъ подошелъ къ Вариной мастерской и заглянулъ въ окошко.

— Волковъ, ты здѣсь? — закричалъ онъ.

Отвѣта не было. Мастерская была пуста. Но если тамъ не было *никого*, зато было *нѣчто*, что сразу приковало его вниманіе. Онъ взглянулъ и слегка вскрикнулъ отъ изумленія...

Перескочить черезъ ветхій плетень, черезъ крапиву и лопухи, взбѣжать на распатанное крыльцо, отворить дверь и войти — было для него дѣломъ одной минуты.



Онъ не ошибся: на мольбертѣ стоялъ его портретъ. При яркомъ освѣщеніи заходящаго солнца онъ не могъ не узнать себя, хотя не могъ не сознаться, что портретъ преувеличивалъ красоту оригинала. Однако, онъ былъ очень похожъ и почти конченъ. Молодой человекъ не зналъ, что ему думать? Сердце его страшно забилось... „Не есть-ли это доказательство, что она...“

Онъ не докончилъ своей мысли. Дверь отворилась, и сама художница показалась на порогѣ.

— Какъ вы смѣли сюда войти!—закричала она, вся вспыхнувъ.

Онъ повернулся къ ней съ такимъ взглядомъ, что она еще больше покраснѣла. Портретъ, стоявшій на мольбертѣ среди живописнаго безпорядка мастерской, и гнѣвное смущеніе молодой дѣвушки наводили его на такія мысли, что онъ готовъ былъ безъ всякихъ размышленій... распѣловать ее или броситься въ ея ноги... И это ярко выразалось во взглядѣ его красивыхъ, смѣлыхъ глазъ...

Сердце Вари забилось съ необыкновенной силой; грудь ея заволновалась. Она сдѣлала надъ собой страшное усиліе и проговорила небрежно:

— А, вы рассматриваете свое изображеніе! Этюдъ для моей картины „Нарциссъ, или влюбленный въ себя“.

И она звонко расхохоталась.

Бартеневъ вспыхнулъ и сейчасъ-же овладѣлъ собой.

— Вы не знаете, гдѣ Волковъ? Я заглянулъ сюда, думая, что онъ здѣсь.

— Я не знаю, гдѣ Волковъ, и нахожу, что вы ни въ какомъ случаѣ не имѣли права входить сюда безъ моего позволенія,—сказала молодая дѣвушка рѣзко.

— Виноватъ, я сейчасъ уйду,—проговорилъ онъ сухимъ, церемоннымъ тономъ, поклонился и вышелъ.

Едва затворилась за нимъ дверь, какъ Варя бросилась въ кресло и залилась горючими слезами.

Затѣмъ она вскочила и подбѣжала въ огонь.

— Упелъ! Боже мой, Боже мой, какъ я несчастна! — воскликнула она, обнаруживая такимъ образомъ величайшую непослѣдовательность. — Если онъ меня не любить, я умру, непременно умру!

— И прекрасно сдѣлаете! — раздалось подъ окномъ.

Она вздрогнула и отшатнулась, но однако посмотрѣла на дорогу.

Тамъ стоялъ Волковъ.

— Александръ Ивановичъ, идите сюда! — закричала она въ порывѣ внезапной рѣшимости. — Мнѣ васъ надо!

## XII.

— Я получилъ телеграмму и ничего не повимаю. Ясно одно, что необходимо сейчасъ же ѣхать въ Петербургъ.

— И поѣзжай съ Богомъ, если нужно.

— Я вернусь какъ можно скорѣе.

— Зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ!.. Что ты, точно ты не знаешь!

— Ничего я не знаю.

— Ты не знаешь, что я люблю Варю Колосову?

— Да будто ты ее любишь?

— Какое же въ этомъ можетъ быть сомнѣніе! Ужасно не хочется ѣхать.

— Поѣзжай себѣ. Это прекрасно, что ты уѣдешь на нѣкоторое время. По крайней мѣрѣ, сплетни утихнутъ.

— Какія сплетни?

— А ты не знаешь? Какъ же. И очень даже сильно сплетничаютъ.

— Да кто, о чемъ?

— Всѣ. Поповны, какой-то тамъ фельдшеръ, въ деревнѣ... мало-ли кто. Всѣ толкуютъ про твою свадьбу съ Варварой Михайловной.

- Это чортъ знаетъ что такое! Да ты почему знаешь?
- Мнѣ Марья Николаевна говорила. Ее это даже очень тревожить.
- Еще бы! Но что же она мнѣ-то ничего не говорила?
- Ей неловко, согласись самъ. Наконецъ что-жь такое? Сплетни вездѣ есть.
- Это очень неприятно. Надо будетъ это все прекратить. Однако, теперь не до того. Завтра я уѣду чѣмъ свѣтъ; надо пойти съ ними проститься.
- Поздно.
- Варя поздно ложится, я знаю; да и Марья Николаевна тоже. Ты идешь?
- Мнѣ-то зачѣмъ? Я, слава Богу, нивуда не уѣзжаю. Бартепевъ вернулся изъ Колосова въ очень свѣрвомъ расположеніи духа и прямо пошелъ спать.
- На другое утро, уѣзжая, онъ сказалъ другу:
- А вѣдъ я не видалъ ея вчера!
- Что такъ?
- Не вышла. Больна. Ты мнѣ напишешь?..
- Что мнѣ тебѣ писать?
- Если что нибудь случится.
- Что же такое можетъ случиться! Конечно, ничего. И друзья разстались.

## XIII.

„Разумѣется, ничего не случилось“, думалъ Бартепевъ, подѣзжая къ своему дому послѣ двухнедѣльнаго отсутствія. „Что же могло случиться?“

Но съ перваго взгляда онъ замѣтилъ по лицу встрѣтившаго его друга, что что-то неладно.

— Что? — спросилъ онъ поспѣшно. — Я вижу, что что-то есть.

Волковъ отвернулся.

— Говори скорѣе!

— Она больна, — сказалъ онъ сурово. — Очень больна.

— Давно ты ее видѣлъ?

— Давно. Вотъ уже недѣля, какъ къ ней никого не пускаютъ.

— Никого не пускаютъ! Ты меня пугаешь... Что съ ней такое?

— Горячка, кажется. Положеніе очень опасно.

Бартенева поблѣднѣлъ, какъ полотно.

— Что-жь ты мнѣ не написалъ?

— Къ чему? ты все равно не могъ раньше прійхать. Да и зачѣмъ? Къ ней тебя не пустятъ; вѣдь ты ей не братъ, не мужъ, не женихъ...

— Не все ли это равно. Если я ее люблю! — И онъ устремился къ двери.

— Куда ты? Я только что оттуда. Марья Николаевна въ ужасномъ состояніи и, конечно, не выйдетъ къ тебѣ. Вечеромъ можно будетъ сходить еще разъ.

Бартенева остался, но проволновался весь день. Подъ вечеръ принесли записку отъ Марьи Николаевны. Она писала, что Варѣ лучше и что сама она собирается отдохнуть послѣ столькихъ бессонныхъ ночей и рано ляжетъ, а потому просить добрѣйшаго Александра Ивановича отложить свой визитъ до завтрашняго утра.

— Я непременно пойду съ тобой — ужъ какъ ты хочешь!

— Пойдемъ! Завтра утромъ отчего же не пойти.

Но до завтрашняго утра оставался еще цѣлый вечеръ и цѣлая ночь. Пріятели выпили свой чай въ молчаніи и разошлись въ разныя стороны. Надо было какънибудь убить время.

Волковъ взялъ шляпу и ушелъ гулять.

#### XIV.

Бартенева взялъ какую-то книгу и усѣлся въ комнату, носившей названіе угловой гостиной и выходяв-

шей въ садъ, куда вела большая стеклянная дверь, раскрывая настѣжь въ эту теплую июльскую ночь.

Ночной воздухъ былъ до такой степени тихъ, что пламя свѣчи, стоявшей на столѣ, даже не колыhalось. Въ глубокой тишинѣ слышалось только трепетаніе крыльевъ ночной бабочки, что билась объ оконную раму, да издали доносился едва замѣтный шелестъ сада.

Молодой человекъ бросилъ книгу на столъ, сѣлъ на низкое бамбуковое кресло и разсѣянно оглядѣлъ знакомую обстановку уютной комнаты. Прямо передъ нимъ мерцало огромное зеркало, наполнявшее простѣнокъ между окномъ и угловой балконной дверью; по стѣнамъ блестѣло золото на тисненыхъ старинныхъ обояхъ, на рамахъ картинъ. Садъ таинственно чернѣлъ сквозь открытую дверь, посылая свои ночные звуки и ароматы въ комнату.

Бартеневъ задумался. Его мысли и мечты, какія-то неувольнимыя и смутныя, смѣшались и спутались подъ вліяніемъ усталости. Не даромъ онъ провелъ безсонную ночь въ вагонѣ. Голова его клонилась сама собой; нѣсколько разъ онъ поднималъ отяжелѣвшія вѣки, стараясь для чего-то осилить овладѣвшую имъ дремоту. Потомъ совсѣмъ закрылъ глаза и заснулъ...

Когда онъ проснулся, онъ явственно слышалъ, какъ старинныя часы въ столовой пробили полночь. Проснулся же онъ отъ страннаго ощущенія чего-то свѣжаго, даже влажнаго, что коснулось его горячаго лба. Ощущеніе это было такъ живо, что онъ машинально протянулъ руку, чтобы схватить то, что дотронулось до него точно налету. Но тутъ онъ открылъ глаза и замѣтилъ, что въ комнатѣ совсѣмъ темно или почти темно, потому что луна ярко свѣтила въ окно. Свѣча, оставленная имъ на столѣ часъ тому назадъ, потухла. Онъ всталъ, чтобы отыскать спички при свѣтѣ луны, и въ эту минуту взглядъ его случайно упалъ на зеркало напротивъ.

Онъ отшатнулся и вскрикнулъ.

Зеркало отражало бѣлую женскую фигуру. Несмотря на полумракъ, онъ узналъ Варю. Она казалась легкой, почти прозрачной, и стояла неподвижно, точно окутанная туманомъ. Луна падала прямо на ея лицо, блѣдное, какъ смерть, съ печальными глазами.

Онъ обернулся въ страшномъ волненіи.

За нимъ никого не было.

Въ ту-же минуту гдѣ-то въ саду раздался жалобный, раздирающій крикъ.

То былъ голосъ Вари.

Какъ сумасшедшій бросился онъ къ балконной двери. На полу, у его ногъ, что-то бѣлѣло. Онъ нагнулся: то была бѣлая роза, обрызганная росой. Поднимая ее, онъ почувствовалъ то свѣжее, влажное привосновеніе, которое разбудило его передъ тѣмъ.

„Она здѣсь!“ подумалъ онъ и бросился въ садъ.

Навстрѣчу ему появился Волковъ, точно изъ земли выросъ.

— Я изъ Колосова, — сказалъ онъ. — Варя умерла ровно въ полночь.

На этотъ разъ Бартеневъ даже не вскрикнулъ. Онъ прямо упалъ и лишился чувствъ.

## XV.

Когда онъ очнулся, ему снова почудился голосъ Вари, но только не жалобный и раздирающій душу, а тихій и нѣжный.

— Она умерла... прошепталъ онъ съ глубокимъ вздохомъ. — О, дайте мнѣ... дайте мнѣ... бѣлую розу...

Кто-то положилъ ему въ руку свѣжій, душистый цвѣтокъ. Онъ открылъ глаза и увидѣлъ... милое прелестное личико, склонившееся надъ нимъ съ нѣжностью и тревогой въ каждой чертѣ. Не блѣдность смерти, а

яркій румянецъ, вызванный волненіемъ, покрывалъ нѣжныя щеки этого существа.

— Что это?—проговорилъ онъ, боясь сойти съума.

— Глупая, сумасшедшая дѣвочка, вотъ что ты надѣлала!—послышался знакомый, слегка дрожащій голосъ Марьи Николаевны. Этотъ голосъ окончательно возвратилъ его къ дѣйствительности. Онъ отеръ глаза, приподнялся и осмотрѣлся. Онъ увидѣлъ, что сидитъ на диванѣ въ угловой гостиной, что не одна свѣча, а цѣлая лампа ярко горитъ на столѣ и освѣщаетъ взволнованныя лица его друга, Волкова, Марьи Николаевны и Вари, живой и прелестной Вари, которая стояла около него вмѣстѣ съ другими...

— Глупая, сумасшедшая дѣвочка!—повторила Марья Николаевна тономъ глубочайшей укоризны.—Простите ли вы ее когда-нибудь, милый мой Константинъ Платоновичъ?

— Мама, мама, вѣдь я только хотѣла посмотрѣть, любить ли онъ меня! будетъ ли ему жалко, если я умру! Я сама страшно испугалась себя, когда осталась одна въ саду, и такъ закричала, что ужасъ! Вѣдь вы меня простите?

Прощеніе не заставило себя долго ждать? Молодой человѣкъ прямо съ дивана бросился къ ней, упалъ передъ ней на колѣни и покрылъ поцѣлуями ея руки. Она ихъ не отнимала и такъ низко наклонила къ нему хорошенькую головку, что только онъ одинъ могъ слышать, какъ она прошептала:

— Милый!

— Марья Николаевна! Совѣтую вамъ отдать это привидѣніе моему другу,—сказалъ Волковъ, смѣясь.—На что оно вамъ?—И, обратившись къ Варѣ, онъ прибавилъ:

— Развѣ я былъ неправъ? развѣ вы не прекрасно сдѣлали, что умерли?





## ШАРМАНЩИКЪ.

(Сюжетъ заимствованъ).

### I.

— Сынъ въ пажескомъ корпусѣ, и далеко, далеко не изъ послѣднихъ... Милый Жоржъ! Мужъ — какъ шелковый, даромъ что полный генераль. За дочьку ухаживаетъ препорядочный молодой человѣкъ, да еще изъ министерства иностранныхъ дѣлъ. Единственный сынъ — тоже немало значить. Какъ ни скупъ старикъ, а „умреть — все сыну достанется“; вотъ только жаль — мать умерла: урожденная княжна была. Дорогá немножко эта дипломатическая карьера, но зато до чего она можетъ довести! А вдругъ когда нибудь Вѣрочка будетъ посланницей! Чего добраго? И какъ пріятно имѣть зятя аих affaires étrangères! Правда, Ртищева прозвали étranger аих affaires — ну, такъ чтожь такое — молодой человѣкъ! Ишь, ишь, какъ онъ за ней увивается!

Такъ размышляла ея превосходительство, Анна Сергѣевна Ермолина, отдыхая на террасѣ своей дачи, въ Павловскѣ, и съ умилениемъ наблюдая за оживленною сценою, происходившею на зеленой лужайкѣ. Тамъ играли въ вольетъ; многіе дѣйствительно увивались за многими, а въ томъ числѣ и молодой человѣкъ изъ

министерства иностранныхъ дѣлъ увивался около дочери ея превосходительства, Вѣрочки.

Быль онъ въ самомъ дѣлѣ пріязный молодой человекъ и носилъ рiсе-пезъ только для виду, потому что обладалъ во всѣхъ отношеніяхъ прекрасными глазами. Его бѣлокурые усики шли къ нему просто необыкновенно — таково было мнѣніе Вѣрочки, за которою онъ увивался. Что до самой Вѣрочки, то не даромъ мамаша говорила про нее: „совершенный амуръ—вся въ меня!“ Хорошенькая, живая и граціозная, въ самомъ идеальномъ дачномъ костюмѣ, каковой можетъ быть созданъ изъ батиста и бретонскихъ кружевъ, въ воздушной шляпѣ, отягченной полевыми цвѣтами, распустившимися за витриной m-me Mathilde, на Невскомъ, — она была неотразима.

Кромѣ нея было много хорошенькихъ дѣвушекъ на лужайкѣ, и крокетъ кипѣлъ оживленіемъ. Особенно отличался юный питомецъ пажескаго корпуса, любимецъ мамаша. Онъ ухаживалъ за самыми хорошенькими барышнями, а съ ихъ взрослыми кавалерами обращался съ высоты своего шестнадцатилѣтняго величія, — строго и несправедливо. Впрочемъ, для молодого Ртищева, изъ министерства иностранныхъ дѣлъ, онъ дѣлалъ исключеніе, потому что считалъ его своимъ завадычнымъ другомъ, и не даромъ: тотъ всегда предоставлялъ ему валяться вверхъ ногами на диванахъ своего кабинета и предлагалъ самыя вѣрныя сигары, какъ взрослому, когда онъ приходилъ къ нему въ гости, чтобы запать денегъ. А денегъ никогда не давалъ, — у самого никогда нѣтъ, — говорилъ онъ. И Жоржъ охотно вѣрилъ.

— Когда бъ мамаша знала!..

Хорошо было въ Павловскѣ, на дачѣ ея превосходительства. Его превосходительство былъ только слегка хозяиномъ у себя дома, и то только въ тѣ минуты, когда надо было разбранить еучера: на это генеральъ еще го-

дился. Теперь же онъ просто храпѣлъ въ столовой, на томъ мѣстѣ, гдѣ застала его рюмка послѣобѣденнаго ликера; а его величественная супруга съ трудомъ поддерживала свое достоинство въ глубокомъ креслѣ, на террасѣ, и любовалась на рѣзвую молодежь, стараясь не засыпать.

Свѣтлый петербургскій вечеръ обливалъ весь садъ мягкимъ свѣтомъ. Изъ цвѣтниковъ доносилось благоуханіе резеды и левкоевъ; въ благовоспитанномъ газонѣ трещали неблаговоспитанные кузнечики, а въ большой англійской клумбѣ, около искусственной бесѣдки, заплетенной дикимъ виноградомъ, даже зашелкалъ соловей, не соображая, какъ это было неумѣстно. Его могло извинить только то, что въ бесѣдкѣ онъ ясно различилъ влюбленную пару и нашелъ необходимымъ примѣниться къ обстоятельствамъ. Что же, если не соловьиное пѣніе, идетъ къ нѣжному дуэту, который, очевидно, собирались исполнить дочла ея превосходительства и молодой человекъ изъ министерства иностранныхъ дѣлъ?

Они довольно долго пробыли въ бесѣдкѣ, что не скрылось отъ пронизательнаго взора любящей мамыши, возвышавшейся на подобіе горы на террасѣ, подъ сѣнью холщевыхъ маркизъ и вьющихся ипомей. Когда же они вышли изъ бесѣдки, красивые глаза молодого человека блестяли еще болѣе обыкновеннаго, а въ петлицѣ его лѣтней жакетки красовалась бѣлая роза, которую передъ тѣмъ всѣ видѣли у корсажа Вѣрочки. А сама Вѣрочка раскраснѣлась до невозможности, постоянно опускала глазки, и еще похорошѣла. На ея личикѣ появилось новое, торжественное выраженіе, и соловей слышалъ, какъ она шепнула на порогѣ бесѣдки:

„Сегодня же поговорите съ мамашей...“

Конечно, это относилось къ будущему дипломату, и онъ немедленно направился къ дому, соображая, съ какой стороны будетъ удобнѣе взять приступомъ мате-

ринскую крѣпость. Но тутъ на террасѣ появилось новое лицо—выѣздной лакей ея превосходительства, съ подносомъ въ рукѣ.

— Что тамъ такое?..

Лицо генеральши изъ благодушнаго мгновенно превратилось въ брезгливое и кислое; она отличалась особенной брезгливостью относительно прислуги, и ея выѣздной обыкновенно проходилъ трудную школу, прежде чѣмъ былъ выдрессированъ настолько, что научался надѣвать шубу и теплыя калоши на тучныя плечи и необъятныя ноги барыни, не дотрогиваясь до ея превосходительства.

— Деша, ваше превосходительство.

— Давай.

Подносъ приблизился въ почтительной и помѣстительной длани выѣздного.

— Да это совсѣмъ не ко мнѣ, любезный. Отнеси господину Ртищеву, Павлу Александровичу Ртищеву. Что бы это значило?—прибавила генеральша мысленно.

Увы! это значило, что влюбленнаго немедленно требовали въ Петербургъ „по дѣлу, нетерпящему отлагательствъ“, извѣщая, что родитель его скоропостижно вернулся изъ-за границы; „остальное лично“. Телеграмма была отъ повѣреннаго старика Ртищева. Что значило это „остальное?“ Когда бы онъ могъ это подозревать, то, конечно, не такъ весело простился бы съ предметомъ своей страсти, бѣдный молодой человѣкъ! Разговоръ съ мамашей не состоялся, но — *ce qui est remis, n'est pas perdu* нѣжно шепнулъ онъ кому слѣдовало и мимоходомъ успѣлъ даже поцѣловать дрожащую ручку, которую впрочемъ и не думали у него отнимать.

— Я вернусь скоро, скоро... можетъ быть завтра, ангель!

И съ этимъ заявленіемъ онъ поспѣшилъ на желѣзную дорогу: до поѣзда оставалось всего какихъ-ни-

будь десять минутъ, но зато вокзалъ былъ въ двухъ шагахъ.

Съ генеральской дачи было слышно, какъ засвистѣлъ паровозъ, предупреждая Вѣрочку, что увозить въ Петербургъ ея нареченнаго жениха, ибо нужно-ли говорить, что насколько зависѣло отъ нея, онъ уѣхалъ женихомъ, а зависѣло отъ нея очень многое!.. Итакъ, паровозъ успокоительно просвистѣлъ, давая знать, что вотъ дескать ѣдемъ! Не безпокойтесь, доставимъ благополучно! И все стихло.

Тогда Вѣрочка глубоко вздохнула, прожая глазами дымокъ, залюбившійся надъ деревьями парка, потомъ немножко подумала и улыбнулась.

Ахъ, совсѣмъ, совсѣмъ напрасно!

## II.

Изъ оконъ просторной кухни, помѣщавшейся въ подвальномъ этажѣ дома ея превосходительства, на Конногвардейскомъ бульварѣ, — виднѣлся мокрый троттуаръ, на которомъ отражались фонари. Деревья бульвара торчали унылыми пучками розогъ, простирая свои обнаженныя вѣтки къ тусклому октябрьскому небу, нависшему надъ Петербургомъ. Между небомъ и мостовой все пространство наполнялъ не то сѣрый туманъ, не то какая-то ужасная изморозь, сырая и пронизывающая до костей.

Въ кухнѣ было тепло и свѣтло: вся она сіяла газовыми рожками и блескомъ только что вычищенной мѣдной посуды. Посреди кухни стояла подбоченясь толстая кухарка, „кардонъ блю“, какъ она сама себя величала. Съ интересомъ внимая разговорамъ общества, собравшагося въ сотый разъ на дню пить свой цикорный кофе, она сама не участвовала въ преніяхъ, и только иногда обращалась къ судомойкѣ, немилосердно брен-

чавшей тарелками, чтобы замѣтить ей, что она желтоглазая чухна и косолапая деревенщина.

— Ужь изойдетъ она слезьми, вся изойдетъ! — уныло потрясая головою, утверждала почтенная особа въ шиньонѣ и „паньѣ“, горничная ея превосходительства. Сердце мое изныло, на нее глядя — краше въ гробъ владуть!

— По ихнему званію эфтихъ глупостевъ невозможно, — возражалъ басистый выѣздной, развалившійся переважно на стулѣ и игравшій толстою часовой цѣпочкою. — Какъ теперь женился старый хрычъ на молодой, она можетъ все изъ его сдѣлать. Можетъ, или не можетъ?

— Ужь извѣстно! — одобрительно вставила вухарка.

— Опять же, дѣти у ихъ могутъ пойти. Во всѣхъ случаяхъ, причемъ же онъ останется, Ртищевъ-то баринъ молодой? Первое — мотать онъ даже очень способенъ; второе — чтобы ему наживать, этого онъ у себя въ головѣ не держитъ. Стало быть, по всему наша генеральша въ своемъ разсужденіи справедливы выходятъ...

— У нашей барышни и на двоихъ бы хватило! — бойко перебила вторая горничная. — Очень намъ нужно, что у ихъ ничего нѣтъ!

— Это опять другой разговоръ. Это разговоръ пустой. По видимости выходитъ, что какъ старый женился, молодой намъ болѣе не женихъ. Кабы старикъ не вздумалъ этого, очень бы мы согласны нашу барышню за Павла Александровича отдать, а теперь нечего тутъ и разговаривать.

— Нечего, печего! А зачѣмъ же барыня сами потакали? — затараторила молодая горничная, вступаясь за свою барышню. — Не надо было заводить, а ежели ужь разъ сами потачку дали, теперь уже поздно назадъ идти! Я сама слышала, какъ и молодой баринъ за сестрицу спорился, и очень даже съ мамашей ругались...

— А ты лучше прималчивай объ эфтомъ!—неожиданно раздалось изъ угла, гдѣ дремалъ генеральскій камердинеръ. Всѣ расхохотались, а горничная обидѣлась.

— Чего мнѣ молчать! Въ носъ бросается! И какъ это самъ енараль не вмѣшается, удивляюсь, ей Богу!

— Вотъ и видно, что дура,—заклучилъ камердинеръ.—На что же ему вмѣшиваться-то? Нешто его кто слушаетъ?—Раздался опять хохотъ, но старшая горничная опять заныла.

— И настроили, настроили ее, голубушку барышню,—завела она жалобно,—а тутъ вотъ на, поди! Не принимать Павла Александрыча, и полно! И носится теперь это барыня, съ эфтимъ—прости Господи! купидономъ безмозглымъ, и покоя бѣдняжкѣ не даетъ. Чѣмъ тебѣ не миль, чѣмъ не хорошѣ? Ужъ и я давеча не вытерпѣла: что это, говорю, ваше превосходительство, чего вы въ емъ, въ нѣмцѣ, не видали? И носище-то у его съ топорище, говорю. А она мнѣ, барыня-то,—ты, говоритъ, Матрена, себя забываешь! У него, говоритъ, Матрена, милліоны! А что въ нихъ, въ милліонахъ, когда рожа крива... Охъ, доведутъ они ее до бѣды, доведутъ!

### III.

И дѣйствительно, надъ Вѣрочкою стряслась бѣда: въ ея судьбѣ произошла ужасная переменѣна. Только что она размечталась о своемъ счастиі и позволила своему сердцу утонуть въ любви къ тому, кого считала своимъ женихомъ, все пошло вверхъ дномъ...

Старый Ртищевъ удивилъ всѣхъ, внезапно женивъ лись. Красивая молодая жена, подцѣпившая его въ Киссингенѣ, забрала его совершенно въ руки вмѣстѣ со всѣмъ состояніемъ, и единственный его сынъ очутился въ прескверномъ положеніи, да еще вдобавокъ

рисковалъ сдѣлаться не единственнымъ... Вслѣдствіе всего этого, кредитъ молодого человѣка сразу понизился до нуля, а генеральша не только не допустила его изъяснить свои чувства, но даже приказала совсѣмъ не принимать, опасаясь съ его стороны „дерзкой настойчивости“.

— Кстати, Жоржъ, запрещаю тебѣ бывать у Ртищева.

— Ваше дѣло запрещать, а мое—не слушаться,—пробормоталъ Жоржъ чрезвычайно явственно.

— Что такое?

Но Жоржъ уже стоялъ передъ зеркаломъ и показывалъ свой весьма длинный и хорошо повѣшенный языкъ.

Тѣмъ дѣло для него и кончилось.

Но для его сестры это было только началомъ тяжелыхъ испытаній.

Ничего такъ не боялась генеральша для своей дочери, какъ „смѣшного“. А смѣшное, или лучше сказать, „ридикюль“, заключалось, по ея понятіямъ, въ позднемъ замужествѣ. Между тѣмъ, Вѣрочкѣ уже пошелъ двадцать второй годъ! А потому, забравовавъ одного кандидата на должность своего зятя, мамаша немедленно озаботилась присканіемъ другого и остановила свое благосклонное вниманіе на томъ господинѣ, котораго ея почтенная горничная окрестила названіемъ „безозглаго купидона“. Къ сожалѣнію, чуждый министерству иностранныхъ дѣлъ, онъ прямо происходилъ изъ государственныхъ имуществъ, и имѣлъ за себя камеръ-юнкерскій мундиръ и остзейскій титулъ. Вѣрочка будетъ баронессой, и пятьдесятъ лѣтъ совсѣмъ ужъ не такъ много, особенно если у кого обезпеченный доходъ съ имѣнія. Слѣдовательно, все прекрасно. Оставались только сушіе пустяки: чтобы баронъ возымѣлъ намѣреніе, а Вѣрочка согласилась. Съ барономъ справиться оказа-



лось очень нетрудно, но Вѣрочка упрячилась. Мамаша принялась горько раскаяваться въ томъ, что не выдержала ее въ институтѣ, а пустила учиться вмѣстѣ съ княжнами, для которыхъ мать-вольнодумка устроила курсы у себя на дому. „Вотъ вамъ эти хваленныя словесности и ботаники! Одно непослушаніе и модныя идеи! И нелегкая меня дернула тогда связаться съ этою княгиней!“ съ сердцемъ размышляла генеральша, обсуждая въ прочувствованномъ монологѣ поведеніе своей дочери.

Резоны и приставанія доводили Вѣрочку до слезъ; но вышло еще хуже, когда баронъ сдѣлалъ предложеніе и приставанія смѣнились приказаніями. Тутъ даже генераль попробовалъ вмѣшаться, но получилъ отказъ и послѣшно ретировался въ кабинетъ.

Не такъ легко было обратить въ бѣгство Жоржа. Мамашиный любимецъ храбро вступился за сестру и совершенно вышелъ изъ себя, услышавши, что мамаша дала согласіе барону вопреки желанію Вѣрочки. Въ какія-нибудь пять минутъ онъ пообѣщался переломать барону всѣ кости, побить у мамыши зеркала, вызвать ненавистнаго барона на дуэль, напобить смертельныхъ ранъ и умереть въ мученіяхъ, бѣжать изъ родительскаго дома вмѣстѣ съ сестрой и „цѣнными бумагами“, и еще многое другое въ томъ же духѣ. Мамаша замахала руками и бѣжала съ поля сраженія. Но на другой день съ новымъ жаромъ возобновила нападеніе, вооружившись букетомъ, который баронъ осмѣлился прислать „своей нареченной невѣстѣ“ съ запиской, въ которой онъ извѣщалъ, что непременно явится вечеромъ, въ качествѣ счастливѣйшаго изъ смертныхъ.

Это было уже слишкомъ!

Расщипавши букетъ на мелкія части, Вѣрочка разбросала его по полу, истоптала хорошенько своими маленькими ножками, сѣла къ окошку и стала горько плавать, усердно утирая глаза.

Нервы у нея были разстроены до послѣдней степени, а потому неудивительно, что она расплакалась еще пуще, когда за окномъ раздались заунывные звуки шарманки, затянувшей раздирающую арію изъ „Травіаты“. Шарманка завывала довольно долго, такъ что Вѣрочка совсѣмъ вышла изъ терпѣнія. Желая прекратить свое мученіе, она отворила форточку и бросила шарманщику нѣсколько мѣдныхъ пятаковъ, которые разсыпались и громко звякнули о мостовую.

— Этого еще не доставало! — трагически воскликнула ея превосходительство изъ другой комнаты. — Ты съума сошла, Вѣрочка! Битый часъ этотъ негодяй раздираетъ мнѣ слухъ своей шарманкою, а ты еще его поощряешь!

— Да я затѣмъ, чтобы онъ поскорѣ ушелъ, мамаша!

— Прекрасное средство, нечего сказать! — И мамаша съ негодованіемъ сама поспѣшила къ форточкѣ, и, угрожая одновременно головою и рукою, потрясавшею носовымъ платкомъ, энергично закричала на улицу: к-шъ! Убирайся! Не надо, не надо!

Но ничто не помогало, и шарманщикъ только удвоивалъ свое рвеніе, къ великому негодованію барыни.

Она гнѣвно захлопнула форточку и удалилась въ свои апартаменты.

#### IV.

— Карнѣй!

— Чего изволите, ваше превосходительство?

— Ступай сію минуту, скажи этому разбойнику, чтобы онъ убирался.

— Кому-съ?

— Шарманщику!

— Да я посылалъ давеча Григорія, ваше превосходительство, такъ онъ не уходитъ-съ.

— Ступай самъ. Скажи, чтобы онъ убирался сію минуту! Это ни на что не похоже—важный день сюда таскается вотъ уже цѣлый мѣсяцъ.

— Шестую недѣлю-съ.

— Скажи, что я его въ полицію отправлю!

— Да онъ по нашему не понимаетъ, ваше превосходительство. Должно, венгерецъ или итальянецъ какой: и борода у его кустастая, и цвѣту какъ бы не здѣшняго-съ.

— Гони его въ шею! Слышишь!

— Слушаюсь-съ. Только осмѣлюсь доложить...

— Ахъ, ты, Господи, навазаніе! Что я тебѣ говорю?

Пошелъ.

— Я только къ тому, ваше превосходительство, что барышня Вѣра Петровна-съ очень ихъ приваживаютъ, этихъ шарманщиковъ. Потому и отогнать никакъ невозможно. Можно сказать, немало цѣлковыхъ перекидали-съ. Поминутно въ лавочку ходишь, эти самыя деньги мѣнять...

Въ сосѣдней комнатѣ хлопнула форточка и цѣлый свертокъ мелочи полетѣлъ на мостовую.

— Вѣрочка, да ты, ей Богу, съума сошла! — воскликнула мамаша впѣ себя.

— Барыня барышнѣ говорятъ, что ты, моль, рехнулась; оно и точно, что, пожалуй, справедливо, — сообщала Каринѣ въ кухню.

— Рехнулись и есть; все съ этой тоски съ любовью, отъ размышленіевъ, — проговорила Матрена, вздыхая.

— Ужъ вы тоже, Матрена Ѳедоровна! Я чай, она и думать забыла про свою, про эту любовь, — презрительно замѣтила кухарка: — Теперь дѣло на свадьбу пошло...

Это было справедливо. Еще въ октябрѣ Вѣрочка и слышать не хотѣла про барона; но не прошло и мѣ-

сяца, какъ она весьма спокойно и развязно объявила мамашѣ, что согласна исполнить ея желаніе и выйти замужъ, съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, что свадьба будетъ отложена до весны и что до самой свадьбы мамаша общается не объявлять ея невѣстой официально, чтобы этого никто не зналъ. Мамаша торжествовала, но торжество ея нѣсколько омрачалось условіями, поставленными дочкой, и тѣмъ обстоятельствомъ, что, сдѣлавшись невѣстой, Вѣрочка продолжала обращаться съ барономъ, какъ съ постороннимъ.

Въ тотъ единственный разъ, когда онъ осмѣлился поцѣловать у нея руку, невѣста стремительно побѣжала въ свою комнату и вымыла эту руку, какъ можно старательнѣе. Какъ хотите, это было странно!

Вѣрочка утверждала, что приличія не позволяютъ благовоспитанной барышнѣ допускать какія бы то ни было фамильярности со стороны жениха, особенно, за-долго до свадьбы.

— Къ тому же, мамаша, вы знаете, какъ я застѣнчива!—прибавила она.

Мамаша прежде этого никогда не замѣчала; но если такъ... Что прикажете на это отвѣчать? Оставалось утѣшиться приданымъ и совершенно зарыться въ простыни и салфетки.

#### V.

Кто пришелъ въ негодованіе, узнавши о предстоящемъ событіи, такъ это Жоржъ.

— О женщины, женщины! еще и башмаковъ не износили!—воскликнулъ онъ, возмущившись и припоминая, что гдѣ то слышалъ какое то такое выраженіе, примѣненное въ какомъ то такомъ случаѣ,—ну, словомъ, вродѣ этого.

— Вѣрочка, а я вѣдь ей-Богу вѣрилъ, что ты влюблена въ Ртицева! — укоризненно сказалъ онъ се-стрѣ, оставшись съ ней вдвоемъ: — Ужь если не за

Ртицева, такъ выходила бы лучше за этого болвана Кривцова: онъ же такъ за тобой ухаживаетъ!

Въ отвѣтъ на это братское увѣщаніе, Вѣрочка заплакала горькими слезами.

— Душка, не плачь! Плюнь ты на мамашу! Пускай она сама выходитъ за своего барона, если онъ ей такъ нравится.

— Да вѣдь она ужь за-а-мужемъ, Жоржъ, за папа-шей.

— Ну, такъ я его отколочу, и дѣло съ концомъ, и не нужно никакой свадьбы... Не плачь, не плачь, Вѣрочка!

Вѣрочка не только перестала плакать, но вдругъ даже развеселилась и начала смѣяться сквозь слезы.

— А давно ты его видѣла, Жоржъ.

— Кого? Поля?—третьяго дня.

— А какъ же мамаша запретила тебѣ въ нему ходить?—и она принялась хохотать до упаду.

— Успокойся ты, ради Бога! Что это съ тобой!—съ безпокойствомъ проговорилъ Жоржъ, совершенно сбитый съ толку.

— А что онъ тебѣ говорилъ?

— Кто? Поль? да ничего особеннаго.

— Ничего особеннаго?

— Конечно, ничего. Чему ты такъ смѣешься? Вѣра, выпей воды! Честное слово выпей! Не сошла ли она съума? — мысленно прибавилъ ошеломленный Жоржъ, выходя изъ комнаты.—Вотъ поди, разбери ихъ, этихъ женщинъ!

Онъ махнулъ рукой и рѣшился отправиться во французскій театръ, благо вечеръ былъ субботній и время свободное. По крайней мѣрѣ, развлеченіе! Потомъ выспаться и завтра все яснѣй будетъ. Но вышло не такъ, какъ онъ предполагалъ...

## VI.

Во-первыхъ, вмѣсто того, чтобы сидѣть въ партерѣ Михайловскаго театра и скромно созерцать добропорядочную пьесу, онъ переодѣлся въ штатское платье и украсилъ своимъ присутствіемъ Картавовскій храмъ искусства, въ которомъ звонили на этотъ разъ „Корневильскіе колокола“. А во-вторыхъ, встрѣтилъ тамъ „взрослаго“ друга, обладателя собственныхъ саней; и такъ какъ обратный путь лежалъ имъ какъ разъ мимо Бореля, которому они оба ужъ и безъ того были много должны, то и оказалось, что мамашинъ любимецъ очутился у родительскаго подъѣзда очень поздно. При этомъ шляпа сидѣла у него совсѣмъ на затылкѣ, въ головѣ было немножко странно и онъ не очень хорошо отличалъ правую руку отъ лѣвой, такъ что даже насколько не удивился тому, что швейцарская была ярко освѣщена въ этотъ поздній часъ, и тамъ стоялъ самъ толстый Карнѣй, въ обществѣ дворника и околодочнаго.

— Э, Карнѣй! Какъ ты поживаешь?—привѣтствовалъ его молодой баринъ изъ-за густого дыма крѣпкой сигары, отъ которой ему было ужасъ какъ тошно.

— Бѣда, Юрій Петровичъ! Бѣда у насъ страслась! —отвѣчалъ Карнѣй, совсѣмъ невпопадъ.

— Что-о ты, ей Богу?—съ любопытствомъ освѣдомился юный Жоржъ, подпирая руки въ боки, чтобы стоять покрѣпче.

— Барышня-то наша! И вотъ случись же такая напасть!..

— Ну, что ты тамъ болтаешь!

— Чего мнѣ болтать, своими глазами видѣлъ! Опять же и околодочный и дворникъ... Сами извольте спросить—вотъ они стоятъ.

— Да что мнѣ у окологочнаго спрашивать! Вотъ, очень нужно!

Карнѣй нагнулся чуть не къ самому уху барина и произнесъ таинственно:

— Барышня пропали: ужъ три часа, какъ нѣтъ. Убѣжали-сь!

— Какъ? Куда убѣжала?

— Совсѣмъ ушли-сь изъ родительскаго дому-сь. Въ бѣгство изволили обратиться.

— А свадьба-то?

— Стало быть, ужъ и свадьбѣ теперича не бывать... Какая ужъ тутъ свадьба!

Къ немалому удивленію Карнѣя, молодой баринъ вдругъ разразился неудержимымъ хохотомъ, замахалъ руками и, задыхаясь отъ смѣха, возопилъ въ неистовомъ восторгѣ:

— Поддеюлили мамашу! Уррра!

Затѣмъ онъ утихъ и, совершенно отрезвленный радостной вѣстью, спросилъ:

— А она не спитъ?

— Мамаша-то? Какое тутъ спать! Ужъ сколько спирту вынюхали: въ истерикахъ лежать. Давеча горничная съ горячими салфетками побѣжала.

Успокоенный такимъ образомъ, Жоржъ отправился навѣрхъ въ мамашину спальню.

— Ахъ, Жоржъ, ахъ, Жоржъ! — закричала ея превосходительство съ кушетки, на которой предавалась негодованію въ самомъ плачевномъ видѣ.

— Вы какъ будто чѣмъ-то разстроены, мамаша?

— Онъ ничего не знаетъ! Бѣдное дитя! Она погубила себя и погубила всѣхъ насъ, Жоржъ!

— Кто, мамаша?

— Сестра твоя, негодная эта дѣвчонка! Боже мой, Боже мой, никогда мнѣ не поднять головы послѣ такого позора!

— И не поднимайте, потому что сами виноваты! Что вы къ ней приставали, какъ съ ножемъ къ горлу?

— Молчи, дерзкій мальчикъ!

— Замолчу, успокойтесь. И тоже убѣгу... очень скоро. А гдѣ папаша?

— Почему я знаю, гдѣ этотъ ужасный человѣкъ? Онъ, онъ со своей непростительной слабостью всему виной! Онъ, онъ...

— Экъ куда хватила! — подумалъ изумленный Жоржъ и пошелъ отыскивать отца.

Онъ сидѣлъ въ креслѣ у своего письменнаго стола, подавленный событіями. Видъ у него былъ такой жалкій, что Жоржу вдругъ представилось, что сестра во все ужъ не такъ хорошо поступила, и что радоваться, можетъ быть, неумѣстно.

— Вотъ такъ происшествіе! — произнесъ онъ со вѣсьмъ инымъ тономъ.

— Да, мой другъ, происшествіе, — уныло отозвался генераль. — Я, впрочемъ, не сталъ бы очень винить бѣдную дѣвочку, если бы только...

— Если бы что, папаша?

— Если бы она убѣжала съ кѣмъ нибудь другимъ, Жоржъ.

— Да, такъ она не одна?.. Ну, да, конечно! Такъ она съ кѣмъ же? Съ Кривцовымъ?

— Кабы еще съ Кривцовымъ, куда ни шло. Все-таки онъ въ гвардіи!

— Такъ не съ Экземплярскимъ же?

Жоржа начинало разбирать нѣкоторое безпокойство. Экземплярскій былъ его бывший репетиторъ, — семинаристъ, вздохавшій по Вѣрочкѣ.

— Ахъ, если бы съ Экземплярскимъ!

— Папаша, вы меня пугаете! Съ кѣмъ же, наконецъ? Я могу подумать, Богъ знаетъ, что: что она съ прикащикомъ изъ магазина...



— Хуже, Жоржъ! Хуже!

— Ради Бога, скажите же, наконецъ! Я стума сойду! Съ трубочистомъ, что-ли?!

— Съ шарманщикомъ, мой милый! Кто бы могъ этого ожидать? Съ шарманщикомъ, ты только подумай!

Жоржъ раскрылъ было ротъ, но только свистнулъ.

— Представь себѣ, какой скандалъ! Бѣдная, бѣдная! И завтра весь Петербургъ объ этомъ узнаетъ. Намъ просто никуда показаться нельзя будетъ!

— Чортъ знаетъ, что такое!

— Я себя виню во всемъ; да, во всемъ... Бѣдная дѣвочка была доведена до крайности, мнѣ слѣдовало вступиться.

— Положимъ, мамаша хотъ святого выведетъ изъ терпѣнія, но шарманщикъ!.. Согласитесь, папаша, что это слишкомъ!

— Соглашаюсь, мой другъ, соглашаюсь...

— Да вы совершенно увѣрены, что она... бѣжала? Вы ее хорошо искали?

— Еще бы! Въ десять часовъ мы ее хватились... Она цѣлый день была такая странная, и глазки заплаканы...

— Но почему же вы думаете, что она съ шарманщикомъ?

— Всѣ говорятъ, Жоржъ. Вся прислуга. Видѣли.

— Видѣли и не остановили?!

— То есть видѣла то не прислуга, а какой-то мальчишка, и, кажется, околочный; а когда мы хватились...

— Да это ни на что не похоже! Надо хорошенько узнать, расспросить! Я бѣгу!

И Жоржъ устремился внизъ въ швейцарскую.

## VII.

Тамъ собралась вся домашняя прислуга, и кромѣ того, тутъ же находились околодочный, дворникъ и мальчишка изъ мелочной лавки, вокругъ котораго всѣ столпились, заинтересованные его повѣствованіемъ. При появленіи молодого барина, онъ замолчалъ.

— Карнѣй, ты видѣлъ, какъ барышня... вышла? Ты, что ли, ее выпускалъ?

— Я-съ, Юрій Петровичъ. Около девяти часовъ таеъ вышла, одѣвши въ пальтъ, и съ савояжемъ.

— Таеъ ты чтоже ея не остановилъ?

— Да смѣю-ли я, баринъ? И какъ же мнѣ ихъ те-перича останавливать? Еще кабы я зналъ... Ну точно, что мнѣ удивительно, зачѣмъ онѣ, и съ савояжемъ; однако же опять...

— Хорошо, хорошо. Ты говоришь въ девять часовъ...

— Въ десятомъ часу мы ихъ хватились,—вмѣшпалась молодая горничная: — Пошла это я къ нимъ въ бадуваръ, доложить, что чай поданъ, а ихъ ужъ и слѣдъ простылъ.

— Кого, ихъ? Что ты выдумываешь?

— Обнаковенно Вѣры Петровны. Гляжу: всѣ ко-моды и ящики переворочены, а туды-сюды—ищу, зову, таеъ меня вдругъ и осѣнило! Бѣгу это я къ Карнѣю Васильевичу...

— Хорошо, хорошо... Дѣло не въ этомъ. Да что вы это всѣ здѣсь стоите? Убирайтесь вонъ! — вдругъ огрызнулся баринъ: — Мнѣ нужно одного Карнѣя! Ты почему же думаешь, что барышня... не одна? А?

— Осмѣлюсь доложить, баринъ, — выступилъ горо-довой: — какъ вся прислуга въ полномъ согласіи на-счетъ того, что у здѣшняго дома постоянно шарман-щиви прохаживались, и барышня деньги ежедневно имъ

видали, и съ другой стороны, мальчишка изъ лавки напротивъ; опять же и эту вещь у самаго дома я нашель на трохтуарѣ.

— Что ты городишь? Какой мальчишка? Какая вещь?

Тутъ прислуга разступилась, и Жоржъ увидѣлъ, во-первыхъ, курносаго мальчишку въ вихрахъ и въ бѣломъ передникѣ, а во-вторыхъ—шарманку.

— Очень оно подозрительно выходитъ, — продолжалъ городской уже совершенно увѣренно: — Да и не то что, а прямо мальчишку извольте допросить: онъ все долженъ знать.

— Что такое онъ долженъ знать?

— Барышню видѣлъ, и шырманщика видѣлъ; — сѣли въ карету и поѣхали!—бойко и задорно объявилъ мальчишка.

— Что ты врешь, дуракъ?

→ А дуракъ, такъ я и домой пойду.

— Говори толкомъ, болванъ! Вотъ тебѣ цѣлковый! Ну, что ты видѣлъ?

— Что видѣлъ? Да то, что вышла барышня, сѣла съ шырманщикомъ въ карету и поѣхали. А шырманку на трохтуарѣ оставили, —прибавилъ мальчишка, ухмыляясь.

— Рассказывай все, по порядку! Какъ? Когда? Да смотри, не ври!

— Нечего и рассказывать. Вертѣлся онъ тутъ подъ вечеръ...

— Кто, онъ?

— Извѣстно, шырманщикъ. Вертѣлся, вертѣлся, заигралъ. Барышня окошко отворила, и платкомъ замахала. Сейчасъ онъ побѣжалъ...

— Да ты какъ это видѣлъ?

— Извѣстно, какъ: изъ лавки. Противъ васъ. Барышню тоже не со вчерашняго дня знаю. Побѣжалъ это шырманщикъ, а я гляжу, что будетъ. Вижу, подѣ-

ѣхала карета, на углу вотъ противу погреба остано-  
вилась. Карета стала; онъ и выходитъ. А немного погода  
и барышня вышла. Встрѣтились на трохтуарѣ, гово-  
рить стали, она платочкомъ утирается, а онъ ее за ручку  
и повелъ. Сѣли въ карету и уѣхали. Вотъ и городской  
видѣлъ.

— Точно, что видѣлъ. По привычкѣ даже и номеръ  
у ней, у кареты, записалъ. Номеръ двѣ тысячи сто  
семьдесятъ второй.

— Двадцать пять цѣловыхъ тебѣ, если ты мнѣ  
эту карету разыщешь и узнаешь, куда барышню во-  
зили! Только живо!

— Слушаю, ваше благородіе!

Городовой исчезъ съ быстротою молніи, и черезъ  
три часа Жоржъ уже зналъ, что карета № 2.172 от-  
возила его сестру и ея похитителя на варшавскую же-  
лѣзную дорогу въ одиннадцатичасовому поѣзду.

### VIII.

— Какъ? Сейчасъ ѣхать? Но куда же мы поѣдемъ,  
Жоржъ?

— По варшавской желѣзной дорогѣ, папаша.

— Куда? Куда, скажи мнѣ? Почему ты знаешь,  
куда она уѣхала?

— Ахъ, Боже мой, узнаемъ какънибудь! Будемъ  
ездѣ спрашивать по дорогѣ, авось выслѣдимъ. Все  
лучше, чѣмъ такъ-то сидѣть.

— А какъ же ты то? А классы?

— Классы, классы! Чортъ съ ними, съ классами!  
А мамаша на что? Пускай улаживаетъ, какъ знаетъ.  
Да вотъ и она сама!

— Какой скандалъ, какой скандалъ!—воскликнула  
мамаша, входя.— Низкая, неблагодарная дѣвчонка!

— Вотъ ужъ нисколько, мамаша. И чего вы право;

какого зятя вамъ еще нужно? Если только онъ на ней женится...

— Ахъ, молчи, Жоржъ! молчи!

— Такой красивый иностранецъ, и независимое положеніе имѣть, не то, что бѣдный Поль Ртищевъ!

— Молчи Жоржъ. Ахъ, молчи!

— Такъ будетъ отлично на нашихъ jour fixe! ахъ: онъ будетъ играть, а мы подсвистывать!

Ея превосходительство упала въ кресло въ сильнѣйшей истерикѣ, но вдругъ раздумала, вскочила и поспѣшно удалилась.

— Ну, папаша, теперь въ путь-дорогу. Собирайтесь скорѣе, да захватите побольше денегъ!

— Куда же мы?

— По варшавской дорогѣ, все впередъ. На первый разъ хоть въ Берлинъ. Кстати, были у Вѣрочки деньги?

— Денегъ немного, но она взяла всѣ свои драгоценности, кромѣ только того браслета, что этотъ проклятый...

— Желаю ему провалиться въ преисподнюю. Значить у нея есть съ чѣмъ уѣхать. Экая досада, что она совершеннолѣтняя! Ужъ повѣрьте, что она постарается махнуть подальше.

— А если они на Вѣну, Жоржъ?

— Поѣдемъ въ Вѣну, очень просто.

— Ну, а если мы ее найдемъ?

— Отнимемъ, а ему переломаемъ ребра. Или нѣтъ... Ее отнимемъ и выдадимъ за Ртищева, и больше ничего.

— А если...

Но тутъ вошелъ камердинеръ съ чемоданомъ. Разговоръ пока прекратился, а черезъ два часа Жоржъ уже усаживалъ унылаго папашу въ купе перваго класса, въ которомъ имъ предстояло ѣхать въ Берлинъ.

## IX.

Одна за другой летѣли телеграммы изъ-заграницы на имя ея превосходительства генеральши Ермолиной, и всѣ онѣ гласили одно и то же: ничего новаго! Наконецъ, черезъ недѣлю послѣ отъѣзда отца и сына, телеграфъ извѣстилъ опечаленную мамашу, что явилась надежда отыскать ея дочь. „Напали на слѣдъ, ѣдемъ въ Бернъ“,—стояло въ телеграммѣ.

— Бернъ! Такъ онъ еще и швейцарецъ!—воскликнула ея превосходительство въ ужасѣ.

Между тѣмъ, измученный и упавшій духомъ генераль вѣстѣ съ неутомимымъ Жоржемъ дѣйствительно попали на слѣдъ. Разспрашивая всюду кондукторовъ и желѣзнодорожныхъ служителей и чиновниковъ, разыскивая по всѣмъ отелямъ въ Варшавѣ, въ Кенигсбергѣ, въ Берлинѣ, они щедро расточали талеры направо и налево, повторяя на всѣхъ языкахъ примѣты бѣглецовъ: „молодая дѣвица средняго роста, брюнетка, волосы на лбу подстрижены бахромой, на лѣвой щекѣ около губъ родинка. Въ черной бархатной шубѣ, обшитой соборьями. Господинъ высокаго роста, обладистая черная борода и курчавые волосы; въ толстомъ пальто и мягкой войлочной шляпѣ; на шеѣ красный шарфъ“. Но долго все оставалось тщетнымъ. Генераль приунылъ и жалобно умолялъ Жоржа вернуться домой, но Жоржъ упорствовалъ. Наконецъ, въ одномъ изъ берлинскихъ отелей на ихъ разспросы отвѣчали утвердительно: кельнеръ и портье видѣли даму, подходящую къ описанію; она была навѣрное русская — дала два талера на водку. Съ ней былъ и господинъ, но какой—кельнеръ не запомнилъ.

— Гдѣ же они? Въ какомъ номерѣ?

Они уѣхали въ Бернъ три дня тому назадъ. Жоржъ

отослалъ къ матери успокоительную телеграмму и по-тащилъ папашу въ Бернъ.

Но тутъ ихъ ожидало горькое разочарованіе. Отчего-то Жоржу представлялось, что какъ только они прійдутъ въ Бернъ, такъ и увидятъ бѣглецовъ, спокойно гуляющими близъ желѣзнодорожнаго вокзала. Вышло совсѣмъ не то: ужъ нѣсколько дней они жили въ Бернѣ и снова послали въ Петербургъ извѣщеніе, что „ничего новаго“.

— Довольно, Жоржъ. Ыдемъ домой. Вѣдь ты видишь, что ничего сдѣлать нельзя.

— Не вижу, папаша.

— Однако, мой милый...

Въ дверь постучались. Вошелъ кельнеръ съ газетами.

— Послушайте,—обратился къ нему Жоржъ, ослѣненный внезапнымъ вдохновеніемъ.—Видите вы этотъ золотой!

— Zwanzig Frank? o ja! Excellenz.

— Прекрасно. Теперь, смотрите. Вотъ фотографическая карточка. Возьмите ее. Если вы найдете даму, которая изображена на этомъ портретѣ и доставите мнѣ ея адресъ, вы получите пять такихъ золотыхъ. Идетъ?

Кельнеръ живо замоталъ головой, взялъ карточку и юркнулъ въ дверь.

— И ты воображаешь, что изъ этого что нибудь выйдетъ?—спросилъ генералъ недовѣрчиво.

— А вотъ, посмотримъ,—спокойно отозвался Жоржъ съ того дивана, на которомъ помѣстился въ своей любимой позѣ, т. е. вверхъ ногами, съ французскимъ романомъ въ рукѣ.

На другой день онъ послалъ за своимъ кельнеромъ и съ удовольствіемъ узналъ, что тотъ отлучился на цѣлый день.

— Вотъ, видите, папаша; что я вамъ говорилъ! Эти кельнеры здѣсь всё другъ друга знаютъ; онъ обойдетъ отели, разспроситъ своихъ знакомыхъ и все разбѣдаетъ лучше любого сыщика. Ужь если они здѣсь, имъ отъ него не спрятаться.

— Ну, еще погоди радоваться.

Но Жоржъ былъ правъ. Подъ вечеръ, часовъ въ восемь его повѣренный явился съ таинственнымъ самодвольнымъ видомъ и объявилъ, что дама найдена и что экипажъ уже ждетъ господъ у подъѣзда, чтобы свезти ихъ по требуемому адресу.

Черезъ полчаса они уже были у цѣли своего странствія. Къ немалому изумленію Жоржа, экипажъ ихъ остановился передъ красивымъ зданіемъ, украшеннымъ гербомъ и флагомъ русскаго государства.

— Это что за домъ?—спросилъ Жоржъ у проворнаго кельнера, соскочившаго съ козелъ, чтобы открыть дверцы.

— Домъ русскаго посольства, Excellenz.

— Какъ? Неужели въ нашемъ посольствѣ согласились укрывать барышню, удравшую изъ родительскаго дома съ бродягой? Не можетъ быть!—сказалъ Жоржъ по-русски, и затѣмъ уже по-нѣмецки добавилъ, для кельнера: Доннерветтеръ!

— Молодая дама находится здѣсь,—любезно отозвался кельнеръ,—и супругъ съ нею.

— А-а, смуглый таковой господинъ высокаго роста, съ черной вудравой бородой?

— Прошу извиненія у господъ, но господинъ совсѣмъ не смуглый, нѣтъ. Скорѣе блѣокурый и борода не носить.

— Такъ это не они! Это совсѣмъ не они!

— Excellenz, даму я нашель, а насчетъ господина мнѣ ничего не было приказано. Дама та самая,—настойчиво увѣрялъ кельнеръ.



— Ну, будь что будеть! Форвертсь, маршь!—воинственно воскликнулъ Жоржъ, и побѣжалъ вверхъ по лѣстницѣ. Папаша поплелся за нимъ, уговаривая его успокоиться.

— Ужь ты ради Бога съ ней не горячись, если это она!—повторилъ онъ.

— Не безпокойтесь; я съ ней и разговаривать не буду. Вы ее сейчасъ берите и везите къ намъ въ отель. А съ этимъ негодяемъ я самъ справлюсь.

— Смотри, Жоржъ, эти итальянцы народъ опасный. А вдругъ у него ножикъ, или кинжалъ?

— Ну, вотъ еще!

— Пожалуйте, господа!

Передъ ними отворилась какая-то дверь, въ которую впустилъ новоприбывшихъ очевидно уже предупрежденный лакей. Они миновали переднюю, еще одну комнату, вошли въ столовую, гдѣ навстрѣчу имъ поднялись съ своихъ мѣстъ господинъ и дама, сидѣвшіе за очень мило убранномъ чайнымъ столомъ. Да, они ихъ нашли: это была Вѣрочка и ея похититель. Взглянувши мелькомъ на сестру и убѣдившись, что это дѣйствительно она, Жоржъ прямо бросился къ шарманщику, накинулся на него, какъ разъяренный звѣрь, вскрикнулъ, отшатнулся и принялся душить его въ своихъ объятіяхъ. Генералъ взглянулъ, заморгаль и началъ протирать глаза...

Передъ нимъ стоялъ Павелъ Александровичъ Ртищевъ.

Прежде чѣмъ его превосходительство могъ придти въ себя, Вѣрочка уже висѣла у него на шеѣ и со слезами и поцѣлуями просила у него прощенія, восклицая, что Поль самый лучший мужъ въ свѣтѣ и что они, честное слово, собирались сами писать!

— Поль, какъ я радъ! Въ жизни я не былъ такъ радъ! Вѣрочка, поцѣлуй и меня, душка!—вричалъ

Жоржъ, въ восторгѣ. Поцѣлуи и объятія сдѣлались общими; въ смятеніи генераль нѣсколько разъ поцѣловалъ Жоржа вмѣсто Вѣрочки, а Поль тоже ошибся и поцѣловалъ Вѣрочку. Наконецъ, всѣ успокоились.

— Ты вѣдь насъ простишь, папаша?—спрашивала Вѣрочка.

— Разумѣется, мой ангель. Но какъ ты насъ всѣхъ напугала! Я-то, мой другъ, прощу—но мамаша твоя...

— Ха-ха-ха! Воображаю! Вотъ будетъ потѣха! — разразился Жоржъ.

— Да, милые мои, я боюсь, что она будетъ недовольна, — содрогаясь, произнесъ генераль.—Это очень вѣроятно. Но скажите, какимъ образомъ вы очутились въ русскомъ посольствѣ, — съ какой стати, друзья мои?

— Поль здѣсь служить, — съ гордостью объявила Вѣрочка.—Онъ вторымъ секретаремъ!

— Давно ли?

— Уже вторая недѣля!

— Поздравляю съ дипломатическимъ назначеніемъ, господинъ шарманщикъ, — закричалъ неугомонный пажъ.—А встати, что это тебѣ за фантазія пришла идти въ шарманщики?

— Самъ не знаю, честное слово. Совсѣмъ съума сходилъ, когда меня отъ васъ выгнали, ну въ отчаянную минуту и пришло въ голову. Фантазія дивная, конечно. Но вѣдь вышло очень хорошо! Неправда ли, Вѣра?

— Выгодно, не спорю. Сколько она тебѣ денегъ въ форточку то перекидала! Ты ихъ куда же дѣвалъ?

— Папироски покупалъ!

Это показалось забавнымъ даже и папашѣ, нѣсколько приунывшему въ виду перспективы супружескаго гнѣва.

— Въ первый разъ, какъ она меня узнала, съ ней

чуть обморокъ не сдѣлался. А потомъ привыкла и премилыя записочки мнѣ писала!

— И въ нихъ деньги завертывала? Ай-да дочка!— догадался папаша.

— Именно. А я ей писалъ въ лавочкѣ, что на противъ васъ, и отправлялъ съ мелочью, за которой она посылала для меня же. Все шло черезъ мальчишку...

— Ишь, подлецъ, мальчишка! Мнѣ небось этого не сказалъ!—замѣтилъ Жоржъ.

— Такъ мы и насчетъ побѣга условились. Сначала Вѣра и слышать не хотѣла, а какъ мамаша пристала къ ней съ барономъ...

— Поль, счастливая мысль!—перебилъ вдохновенный Жоржъ:—возьму я твою благословенную шарманку и поставлю къ себѣ въ комнату; и чуть только мамаша начнетъ чудить, я сейчасъ изъ „Травяты“!..

Затѣмъ счастливое семейство усѣлось вокругъ чайнаго стола.

---

Жоржъ сохранилъ шарманку; но играть ему на ней не пришлось, потому что воинственный пылъ ея превосходительства остылъ самъ собой, особенно съ тѣхъ поръ, какъ ее держать въ повиновеніи дѣти Вѣры Петровны Ртищевой.



## Г Р У Ш А.

(Изъ деревенскихъ портретовъ).

### I.

Если вы спросите у нея, какъ ее зовутъ, она непременно потупится и отвѣтитъ вполголоса:

— Уграфеной, — сильно напирая на букву у.

У насъ ее зовутъ Грушей, въ деревнѣ больше Уграфеной или Груняшкой, а городская прислуга, среди которой она живетъ, дала ей кромѣ того прозвище „Игрушечки“. Но на игрушечку она очень мало похожа. Развѣ что на одну изъ тѣхъ дешевыхъ, неладно скроенныхъ, но крѣпко сшитыхъ и пестро размалеванныхъ игрушекъ, что продаются на деревенскихъ ярмаркахъ. Небольшого роста, крѣпко, но дурно сложенная, съ фигурой ребенка, несмотря на свои пятнадцать лѣтъ, Груша очень некрасива. Во всемъ лицѣ у нея только и есть хорошаго, что глаза — небольшіе, но умные, живые, красиваго, голубого цвѣта, съ густыми, темными рѣсницами. Брови были бы тоже хороши, если бы ихъ не спутала оспа. Груша замѣтно рябая. Въ довершеніе всего, лѣтомъ солнце наводитъ темный лакъ на ея лицо и шею, а ея жесткіе, точно конскій хвостъ, волосы при этомъ выгораютъ и отливаютъ тѣми особенными, бѣлесовато-рыжими тѣнями, которыя только на головахъ крестьянскихъ дѣтей и увидишь. Они всегда

заплетены въ тощую косичку, перевязанную кумачной кромкой или тесемкой, подобранной Богъ знаетъ гдѣ.

Несмотря на все это, лицо у Груши пріятное и симпатичное, а когда она смѣется, что случается часто, все оно точно освѣщается. Въ своемъ будничномъ, ситцевомъ платьѣ съ бѣлыми рукавами и съ ниткой голу-быхъ бусъ на шеѣ, она всего лучше. Но что она съ собой дѣлаетъ въ праздничные дни! Надѣваетъ ярко-красное „хрэнцувское“ платье съ желтыми разводами, намажетъ голову деревяннымъ масломъ, повяжется платкомъ-картой своей родной московской губерніи, или еще того хуже, нарядится въ „баску“, позаимствованную у какой-нибудь городской горничной, и ходитъ цѣлый день, шурша немилосердно накрахмаленной юбкой, на подобіе гремучей змѣи, стуча огромными бапмаками, распространяющими запахъ дегтя на всю усадьбу.

Но въ праздники ли, въ будни, Груша всегда поетъ.

Она не можетъ жить безъ пѣсни, какъ дѣсная птица, которая начинаетъ чиривать, какъ только пробудитъ ее утро на зеленой вѣтѣ. Только съ наступленіемъ осени птицы перестаютъ пѣть и щебетать, а Груша и зимой, конечно, не перестаетъ, а въ этомъ увѣрена, хотя зимой ея не вижу.

Груша — дочь старосты изъ ближайшей деревни. Деревня бѣдная, а староста чуть ли не всѣхъ бѣдѣе и потому каждое лѣто, когда мы пріѣзжаемъ къ себѣ въ имѣніе, съ удовольствіемъ отпускаетъ свою дочь къ намъ. У насъ исполняетъ она роль не то помощницы горничной, не то судомойки, а главнымъ образомъ роль козла отпущенія для всей остальной прислуги, привозимой изъ Петербурга. Чего только не дѣлаетъ Груша, куда только ее не посылаютъ! И она никогда ни отъ чего не отказывается, ничѣмъ не тяготится и успѣваетъ еще каждый день сбѣгать домой въ деревню, или въ лѣсъ за орѣхами, или въ поле за щавелемъ.

Но гдѣ бы она ни была, что бы она ни дѣлала — она всегда поетъ.

— Уграфена, подь доложи барышнѣ: молъ, свотница яйца принесла.

— Груша, а Груша, очисти картофель. Да растопки наколи.

— Груняшка, спросио-сь, стануть брать ягоды, ай нѣтъ?

— Груша, никакъ старостинъ бытъ у насъ опять на овсѣ? Выгоняй скорѣй.

Въ отвѣтъ на это изъ высокой клумбы, разросшейся среди двора, раздастся звонкая пѣсня:

На томъ ли полѣ серебристомъ  
Стояла дѣва предъ луной,  
Увѣряла небомъ чистымъ  
Хранить навѣки свой покой...

Это Груша чистить самоваръ подь бузиною.

## II.

Груша страстно любитъ природу и восхищается всѣмъ, что видитъ въ лѣсу и въ полѣ.

— Ужь и пахнуть же эти ландуши. Рай Господень!—говорить она, уткнувши свой курносый носъ въ букетъ свѣжихъ цвѣтовъ, которые мы съ ней собираемъ въ чащѣ молодыхъ дубковъ и орѣшника.

Непосредственно вслѣдъ за „ландушами“, Грушинъ восторгъ возбуждаетъ гнѣздышко, отысканное въ густой травѣ ея зоркими глазами.

— Матушка, ваки махоньки яички. Уродить же Господь... Гляньте, Катерина Ондревна: голубенькия, чисто какъ небеса! И съ пятнышками.

Я подхожу и люблюсь яичками. Груша на нихъ просто не посмотрится.

— Катерина Ондревна,—спрашиваетъ она неожиданно,—а у зайца какія яички?

— Что ты, Груша, развѣ заяцъ несетъ яйца?

— То-то мнѣ и думатца—не несетъ... А у насъ, въ деревнѣ, говорятъ, несетъ...

Груша стоитъ въ раздумьѣ, поднявъ голову и прикрывши глаза рукой. Ея губы раскрыты, лобъ наморщился, она что-то соображаетъ.

— А что теперь во всякой деревнѣ солнушко такъ-то высоко, ай нѣтъ?—спрашиваетъ она.

— Въ нашемъ краю, во всякой, а въ дальнихъ странахъ разное, гдѣ встаетъ, гдѣ ложится.

— Вѣдь во всякой деревнѣ свое солнушко?—говоритъ Груша живо.

— Какъ свое солнышко?

— А такъ, что кольцо деревень, только и солнушекъ.

Съ удивленіемъ и съ интересомъ слушаетъ она мое объясненіе. Ея голубые глаза, не сморгнувъ, смотрятъ на солнце, съ удвоеннымъ восхищеніемъ.

— Стало быть, одно оно красное, на весь бѣлый свѣтъ!—восклицаетъ она.—Всѣхъ любить милосердное, всѣмъ-то всѣмъ православнымъ хрестьянамъ\*) свѣтитъ!

Груша просто растрогана этимъ извѣстіемъ.

— А „твѣтовъ“ то, „твѣтовъ“ сколько на полѣ,—замѣчаетъ она вслѣдъ затѣмъ.—Ишь, кукушкины слезки (Груша произноситъ кукуштинны слести) скоро твѣсти (цвѣсти) начнутъ!

— А вотъ и кукушка кукуеть. Слышишь, Груша?

— Это она уттаво кукуеть, Катерина Ондревна, что ее мать прокляла!—объявляетъ Груша бойко.

— Что за вздоръ!

---

\*) Т. е. хрестьянамъ, что, къ слову сказать, у Груши значитъ также крестьянамъ, такъ что хрестянинъ и крестьянинъ по ея понятію одно и то же.



— Нѣтъ, правда, Катерина Ондревна, ей Богу. Она прежде человѣкомъ была и согрѣшила. Ее мать прокляла, вотъ она съ тѣхъ поръ и кукуетъ, — говоритъ Груша съ убѣжденіемъ, набивая ротъ щавелемъ.

Ей неприятно, что я не вѣрю такой всѣмъ извѣстной вещи и, чтобы прекратить разговоръ, она затагиваетъ во все горло, продолжая собирать щавель:

У полѣнницы, у дровъ,  
 Была совѣтная любовь...  
 Раскатилася полѣнница,  
 Разсыпались дрова,  
 Разсердилася милашечка  
 За грубыя слова.

### III.

Вѣрить Груша всему, но преимущественно нелѣпымъ извѣстіямъ. Однажды застаю ее въ горѣ. Она сидитъ на ступенькахъ кухоннаго крыльца и, медленно вытирая тарелку толстымъ полотенцемъ, перекинутымъ черезъ плечо, заливается слезами.

— Груша, кто тебя обидѣлъ?

Изъ кухни раздается громкій смѣхъ и чей-то звонкій голосъ кричитъ мнѣ въ окно:

— Это она объ Амурѣ, Катерина Андреевна!

— Это еще что?

Груша владеть тарелку на волѣни и рыдаетъ неутѣшно.

— Груша, да что съ тобой, наконецъ?

— Да неужто-жь это правда?

— Что правда?

— Сказываютъ у насъ въ деревнѣ-ѣ... всѣхъ шпигонцевъ у отцовъ-матерей отымутъ, на Умуръ погонять... Умуръ, чтобы заселять... Да неужто-жь?..

— И объ этомъ ты плачешь?—Кто это тебѣ навралъ?

— У насъ, Катерина Ондревна, шпитонцы всѣ, у моего тяти—и Кузька, и Анютка... и во всей деревнѣ у всѣхъ шпитонцы... и всѣхъ-то сказываютъ, вышель приказъ на Умурь, чтобы заселять...

— Никто этого не приказывалъ, успокойся! Все врутъ.

— Врутъ?—переспрашиваетъ Груша, утираясь концомъ вухоннаго полотенца. — И вправду и въ вѣдомостяхъ вы не читали?

— Я тебѣ говорю, вздоръ. Ни въ какихъ вѣдомостяхъ этого нѣтъ.

Груша сейчасъ же вѣрить; она успокаивается совсѣмъ и отправляется на кухню съ тарелкой. Ее встрѣчаетъ дружный хохотъ, и черезъ минуту въ кухнѣ уже звенить посуда, и раздается топотъ пляшущихъ босыхъ ногъ и громкая пѣсня:

Какъ пошла наша Параша  
На колодезь за водой..  
Ай, Параша! Ай, Параша!  
Ай, Па-ра-шенька моя-а!..

#### IV.

Недаромъ извѣстіе о заселеніи „Умура“ питомцами такъ печалить Грушу: изво всѣхъ своихъ братьевъ и сестеръ она одна уцѣлѣла, всѣ остальные умерли, и въ ея семьѣ только и есть питомцы. Не успѣетъ обыкновенно Груша сообщить, что „мамѣ Богъ далъ“ — что случается почти каждый годъ, — какъ уже слышишь, что новорожденный померъ и „татя повезъ маму въ Москву за питомцемъ“. Питомцы тоже умираютъ, но не всѣ, и какимъ-то чудомъ въ семьѣ старости уцѣлѣлъ Иванъ, теперь уже взрослый парень, да Кузька и Анютка. Я говорю чудомъ потому, что даже въ деревнѣ считается, что у Марѣи-старостихи „тяжелая

рука“ на дѣтей — не въ томъ смыслѣ, чтобы она ихъ била, а потому что у нея дѣти не живутъ. По моимъ личнымъ наблюденіямъ, эта тяжелая рука объясняется тѣмъ, что Марѳа отличается не совсѣмъ обыкновенной глупостью и такимъ пристрастіемъ къ грязи, какое и въ деревнѣ рѣдкость. Между прочими спасительными взглядами на физическое воспитаніе она строго придерживается того правила, что до шести недѣль грѣхъ ребенка мыть. Впрочемъ, это въ деревнѣ принято вездѣ. Такой искусъ грязи выдерживаютъ, конечно, немногія дѣти, но разъ что выдержать, послѣ этого на всю остальную жизнь отличаются особенной прочностью и толстокожестью. А потому и Груша, и Кузька, и Анютка очень крѣпкія, рѣзвыя и здоровыя дѣти.

Груша нѣжно привязана къ своему родимому дому и къ семьѣ. Домъ ея чуть не самая кривая изба во всей деревнѣ, сарай совсѣмъ разваливается, а овинъ похожъ на огромное птичье пугало, пристроенное притомъ же совсѣмъ не къ мѣсту, потому что и птицъ пугать не къ чему: въ огородѣ произрастаетъ одинъ хрѣнъ.

Отецъ Груши, очень умный и плутоватый мужикъ, несмотря на весь свой умъ и изворотливость, за которую его даже прозвали въ деревнѣ „Налимомъ“, никакъ не можетъ поправиться, не то что разбогатѣть.

— «Счастья Богъ не далъ! — говорятъ про него мужики.

Кромѣ жены Марѳы, Груши да двухъ питомцевъ, у старосты живетъ его отецъ, сѣдой, сгорбленный старикъ, непомѣрно старый, но всегда занятый какой нибудь работой. Въ деревнѣ онъ специально извѣстенъ подъ названіемъ „дѣдушки, который вѣкъ свой доживаетъ“.

— Кто это тамъ у васъ, на гумнѣ, сѣно ворошить?

— А дѣдушка... Вѣкъ свой доживаетъ... — говоритъ Груша.

— Это твой отецъ, Иванъ Сергѣевичъ?

— Да-съ... дѣдушка... вѣкъ свой доживаетъ.

И самъ дѣдушка тоже:

— Здравствуй, дѣдушка! Какъ поживаешь?

— Живу, матушка, помаленьку... вѣкъ свой доживаю...

Дѣдушку Груша любитъ (отчего не любить!), но тятю особенно. Его больше всѣхъ изъ всей семьи.

Ужъ которое трехлѣтіе выбираютъ его въ старосты, значить — мѣръ доволенъ. А между тѣмъ нѣтъ ни одного мужика на деревнѣ, который бы не зналъ и не рассказывалъ про старосту тьму тьмущую разныхъ северныхъ исторій, расписывая его воромъ и мошенникомъ.

— А къ чему у него ваши подрѣза, матушка, прижились? Сроду онъ съ подрѣзами не ѣздилъ, а теперь что? — говорить мнѣ одинъ.

— Видѣлъ я ваши книжки у старосты на прошлой недѣлѣ, — замѣчаетъ другой. — На папиросы рветъ.

— Онъ и не курить, тятя мой! — раздается неожиданно негодующій голосъ Груши. И, обругавши говорящаго „какъ не надо быть хуже“, она съ достоинствомъ удаляется въ кухню, откуда ее вызвали обличительные голоса.

На бѣду, у старосты есть кума среди нашей прислуги и довольно вліятельная кума. Онъ постоянно проводитъ свои досуги въ нашей усадьбѣ и принимаетъ участіе во многомъ, что здѣсь происходитъ. А потому на него безпрестанно сваливаются всякіе недочеты, пропажи и провинности, къ сожалѣнію, иногда не безъ основанія...

— Гдѣ новый хомутъ, ну, гдѣ? И опять же отчего прошлогоднихъ подковъ половины нѣтъ?

— Вотъ извольте спросить у старосты! — значительно говорить вучерь.

— Да что же староста? Вѣдь ты смотришь за лошадыми и за конюшней, а не онъ!

— И опять—гдѣ наши веревки?—узориженно продолжаетъ мой Яковъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на мои слова. — Прачкѣ не на чемъ бѣлье вѣшать... а толстѣющія были веревки изъ Петербурха навезены... А съ этой вонъ самой телѣги заднія колеса гдѣ? У старосты, все у старосты!

Тутъ ужь, если Груша слышитъ, она является вся дрожащая, глубоко взволнованная. Ея глаза полны слезъ, несвязно и сбивчиво начинаетъ она защищать тятю, сообщая кстати, *идъ* видѣла веревки, кому понадобились колеса и т. д. Она клянется и божится, что на тятю все врутъ, хотя и помнить смутно, что веревки и колеса и въ самомъ дѣлѣ какъ будто у тяти. Какъ бы то ни было, нападки на тятю повергаютъ ее въ такое неутѣшное состояніе, что самая пѣсня, которую она затягиваетъ по привычкѣ вслѣдъ за этимъ, звучитъ печально и заунывно и свидѣтельствуетъ о ея скорбномъ настроеніи.

Матушка неродная —  
Похлебочка холодная...  
Кабы родная была,  
Щецъ горячихъ налила...

## V.

Лѣтомъ первое Грушино удовольствіе—купаться.

Подъ самой деревней, гдѣ Груша родилась и выросла, протекаетъ небольшая, но очень хорошенькая рѣчка, мѣстами глубокая, мѣстами довольно широкая, повсюду свѣтлая и прозрачная. Течетъ она, безпрестанно извиваясь, среди душистыхъ луговъ, которые совершенно заливаются весной; по ея берегамъ густо растутъ ольха, заплетенная хмѣлемъ. Дно вездѣ ровное, песчаное, рѣчка веселая, быстрая и кипитъ рыбой, которой въ нашемъ краю не ловятъ („Какъ ты ее до-

станешь? Вѣдь она въ водѣ“, говорятъ наши предприимчивые мужики, почесываясь). Прилетаютъ туда бѣлыя чайки съ сосѣднаго озера, качаются на водѣ выводи дивныхъ утокъ, плаваютъ круглые, жесткіе листья и бѣлыя цвѣты водяной нимфы. Въ песчаныхъ берегахъ вьютъ себѣ гнѣзда полевая ласточки, надъ прибрежными травами кружатся блестящія стрекозки, а деревенскіе ребята все лѣто безпрестанно копошатся въ теплой водѣ.

Груша съ дѣтства плаваетъ, какъ рыба, умѣетъ нырять и продѣлывать всякіе фокусы въ водѣ, напрямѣръ, долго идти подъ водой съ огромнымъ камнемъ въ рукахъ, который въ водѣ „легокъ будто перышко, а на волю не пускаетъ“.

Первобытный костюмъ Грушѣ особенно милъ и удобенъ. Она никогда не бываетъ такъ невозмутимо развязна и самоувѣренна, какъ въ тѣ минуты, когда все ея платье лежитъ на берегу, въ травѣ. Прикрывая рукою глаза отъ солнца, она безмятежно прогуливается по берегу безъ всякаго одѣянія, кромѣ шнура съ крестомъ на шеѣ, вся коричневаая, точно загорѣлая съ ногъ до головы. Такія прогулки Груша предпринимаетъ, чтобы разглядѣть, гдѣ больше распустилось „бѣлыхъ твѣтловъ“ или куда дѣлись утки, которыя „равно быдто спустились неподалечку“, а иногда даже и затѣмъ, чтобы убѣдиться, нѣтъ ли гдѣ по близости пастуховъ или восцовъ, присутствіе которыхъ непріятно барышнѣ. О собственномъ уединеніи въ такихъ случаяхъ она не помышляетъ,—ей рѣшительно все равно.

Однажды, когда Груша сорвала большой листъ водяной нимфы и, заслонившись имъ отъ солнца, бойко побѣжала по берегу безъ всякой другой одежды, меня поразило ея сходство съ краснокожимъ дикаремъ, изъ тѣхъ, что изображаютъ обыкновенно на картинкахъ къ романамъ Купера или Майнъ-Рида. Недоставало только

пучка перьевъ на макушкѣ головы, а то было бы полное сходство.

Въ водѣ Грушей овладѣваетъ буйный восторгъ. Она плещется, взвизгиваетъ, поминутно выходитъ на берегъ и бросается въ воду со всего размаха или схватываетъ пригоршни песка и неистово третъ себя этимъ пескомъ. Сходство ея съ краснокожимъ диваремъ продолжаетъ меня поражать.

— Груша, что ты дѣлаешь?

— А пескомъ моюсь, Катерина Андревна, — говорить Груша совершенно просто и естественно и продолжаетъ растирать себя съ такимъ ожесточеніемъ, точно она самоваръ, который ей предстоитъ вычистить. И затѣмъ, вся облѣпленная пескомъ, красная, буйная, она стремительно бѣжитъ въ рѣку, расплескивая воду во всѣ стороны блестящими брызгами и распугивая стаи рыбокъ, играющихъ на солнцѣ.

— Гляньте, гляньте, какъ я на спинкѣ поплыву! — кричитъ она съ азартомъ.

— Будетъ тебѣ. Вылѣзай!

— Еще маленечко! Гляньте, гляньте, какъ я нырну!

Но едва она вышла изъ воды, какъ уже одѣта и сейчасъ же принимается собирать дудки или щавель, напѣвая вполголоса:

Бѣдный ры-ы-царь, все стри-и-митца,  
И а-ахъ, къ Мальвинѣ ма-ло-до-ой..

## VI.

Какая-то сердобольная барышня, прожившая три зимы по сосѣдству съ Грушиной родной деревней, выучила Грушу читать и писать. Груша, вообще, любить читать, но всего больше правятся ей пѣсенники и сказки. Сборникъ народныхъ пѣсень, который я ей подарила, занялъ ее необыкновенно. Особенно обрадовалась она, когда нашла тамъ нѣсколько знакомыхъ ей пѣсень.

— Наши самыя, деревентстія пѣсни!—говорила она, сіяя.

Замѣчательно, что у Груши прекрасный музыкальный слухъ и память. Всякія мелодіи она запоминаетъ удивительно быстро и никогда не фальшивить. Слова ей даются также очень легко, но со словами она обращается безбожно и фразировки въ пѣніи не признаетъ.

Вспомни, Со-ни-чка, дру-ужо...

раздается на дворѣ во все горло, затѣмъ отворяется дверь, и среди внезапно наступившаго молчанія звенитъ посуда, которую Груша разставляетъ въ буфетѣ. Потомъ опять отворяется дверь и со двора немедленно доносится продолженіе:

...чикъ,  
Ка-акъ люби-лись мы съ тобой!..

Само собою разумѣется, что излюбленное Грушей чтеніе только увореняетъ всѣ ея безчисленныя суевѣрія и утверждаетъ ее въ твердой вѣрѣ во всевозможную чертовщину. Домовой, огненный змѣй, русалки — для нея живыя лица, въ существованіи которыхъ она нимало не сомнѣвается. Кромѣ того вѣритъ она еще множеству всякихъ небылицъ и часто приходится въ этомъ убѣждаться.

Напримѣръ, спать она обыкновенно, засунувши голову подъ подушку, и во снѣ кричитъ благимъ матомъ, вскакиваетъ и мечется по своей постели.

— Груша! зачѣмъ ты покрываешь голову одѣяломъ, да еще засовываешь подъ подушку?

— Такъ лучше.

— Какъ лучше, когда ты всю ночь кричишь? Вѣдь такъ ты задохнешься когда пибудь.

— Это не уттаво, Катерина Ондревна.

— Какъ не оттого? Навѣрно оттого. Ты себя душишь.



— Нѣтъ, не уттаво,—упрямо повторяетъ Груша.— Все уттаво, что у меня два духа,—прибавляетъ она, понизивъ голосъ, печально.

— Что такое?

— Два духа у меня: одинъ спить, другой кричить. Вотъ что! А бываетъ и домовой. Какъ онъ начнетъ, какъ начнетъ... Ужъ извѣстно, онъ все по ночамъ ходить. Тятю разъ за ноги съ лавки стащилъ.

— Вѣрно очень былъ пьянъ, твой тятя.

— Нукъ чтожь, что былъ пьянъ! — обижается Груша.— Праздникъ былъ, нивакъ Покровъ. Вотъ его домовой въ тѣ поры съ лавки, да объ полъ.

— Не домовой стащилъ, а самъ съ лавки пьяный свалился.

— Батюшки, да неужто вы не вѣрите?—спрашиваетъ Груша въ изумленіи и, помолчавъ немного, говорить:

— Вотъ опять бѣлыя женщины бывають. Тятя видѣль.

— Вѣрно тоже пь...

— Тверезый, Катерина Андревна, ей Богу тверезый! Еще за водкой только поѣхаль. Солнышко только-только сѣло, зоря погасла, а онъ изъ кабака-то домой на лошади и ѣдетъ, водку везетъ. Бума мы угощали на Илью. И только вотъ тятя до колдобины доѣхаль, гдѣ скотину поять, а она подъ кустомъ и сидить.

— Кто? скотина?

— Нѣ-ѣтъ, бѣлая-то это сама. Сперва тятя подумаль—можетъ баба—и закричалъ громкимъ голосомъ: „ты кто, — человѣкъ, ай — баба?“ А она молчить... Опять онъ: „человѣкъ ты хрещенный, ай — баба?“ А она все молчить. Тутъ ужъ онъ какъ хлестнетъ лошадь и поскакаль. А лѣсъ-то какъ загудеть за имъ, какъ загудеть!.. Такъ у его кажный волосъ на головѣ сталь. Ужъ очень испужался!

Тѣ сказки, гдѣ она находитъ своихъ любезныхъ домовыхъ и „бѣлыхъ женщинъ“, пользуются ея особеннымъ довѣріемъ.

Съ наступленіемъ осени, когда ночи становятся длинныя и темныя, а вѣтеръ воетъ въ трубахъ и шумитъ деревьями, фантазія Груши особенно разыгрывается, и она непременно рассказываетъ собравшейся прислугѣ страшныя исторіи про разныхъ бѣглыхъ каторжниковъ, проживающихъ будто бы въ казенномъ лѣсу, около насъ, про разбойниковъ и т. д. Сама она вѣритъ своимъ рассказамъ больше всѣхъ.

— Вотъ и у Старога Стана парень на дорогу выходитъ, сказываютъ.

— И пушай его выходить, воли ему на мѣстѣ не сидится, — говоритъ поварь.

— Такъ зря, что-ли, онъ выходитъ, — огрызается Груша. — Грабятъ, народъ убиваетъ — вотъ что, а не то, чтобы такъ. Вонъ намедни кабатчикъ нашъ ѣхалъ. Такъ онъ узналъ его. Вышелъ къ ему: „э, ты“, — говоритъ, „свой. Своихъ не трону“. А это дѣйствительно, что изъ нашей онъ деревни — Оедька Куранъ, бѣглый.

— Для чего бѣглый?

— А такъ что земли у его нѣтъ, роду племени нѣтъ. Днемъ побирается Христа ради, а ночью на дорогу выходитъ. Совсѣмъ безтоловый парень, ни на что не годный. Даже въ солдаты и то его не взяли. Самъ опредѣлился, вольноопредѣляющій былъ. А теперь грабятъ.

— Да ты видѣла?

— Что мнѣ видѣть? Люди говорятъ.

Груша пускается въ подробности и такъ убѣждаетъ, не то, чтобы слушателей, но главное слушательницъ, въ близкомъ сосѣдствѣ грабителя Оедьки Курана, что горничная и прачка отъ страха рѣшаются лечь на одной кровати, а подъ кровать посадить Забіяку — всегда

грязную, мохнатую дворняжку. Група сама присоединяется къ ихъ компани, но передъ отходомъ ко сну беретъ гармонію и старается разогнать всеобщія опасенія, отплясывая во всю мочь и припѣвая съ необычайнымъ ухарствомъ:

Шель я верхомъ, шель я низомъ—  
 У милашки домъ съ карнизомъ!  
 У милашки огонекъ:  
 Милашка бушаетъ чаекъ.  
 Наливай, мамаша, чай  
 Въ золотыя чашки;  
 Иду милую встрѣчать  
 Въ шерстяной рубашкѣ...

## VI.

Група, вообще, очень мало цивилизовалась, да и грамота привилась къ ней поверхностно. Который годъ проводить она каждое лѣто въ нашемъ домѣ, а перемѣнъ въ ней очень немного. Съ одной стороны, она все такъ-же проста и независима, какъ была—и слава Богу! Съ другой, почти такъ-же неуклюжа и неисполнена дѣйствительныхъ понятій, какъ прежде. Она не научилась ни умываться, ни правильнѣе говорить. „Ничаво“ и „уттаво“ попрежнему входятъ въ ея лексиконъ. Она привыкла ѣсть мавароны и рубленное мясо, очень любила пудинги и кремы, но ѣсть эти вещи не руками и не облизывать тарелки со всѣхъ сторонъ—такъ и не привыкла. Ужасныя накрахмаленныя „баски“ и огромныя кожаные башмаки—единственные признаки ея виѣшней цивилизаціи. Впрочемъ, башмаки она бережетъ и, если грязно, ходитъ босикомъ, напечатлѣвая слѣды своихъ ногъ по всему дому.

Всего замѣчательнѣе то, что пребываніе у насъ, среди обстановки совершенно другого рода, чѣмъ у себя дома, не наводитъ ея ни на какія сравненія или размышленія, не поселяетъ въ ней никакого недовольства, не возбуждаетъ никакихъ стремленій.. Проживши у

насъ четыре мѣсяца, она совершенно просто и спокойно, безъ всякаго сожалѣнiя, оставляетъ свою свѣтлую комнату, постель, обильную пищу и сравнительно легкую работу и возвращается домой—въ душную черную избу, гдѣ приходится скудно и сѣверно ѣсть и сидѣть чуть не полгода взаперти, а остальное время работать не шутя. Груша любитъ свою семью и свою родную деревню; къ намъ она тоже привязана, и никакихъ больше соображенiй у нея нѣтъ. Весной она радуется нашему приѣзду, осенью она не безъ удовольствiя возвращается домой.

— Ну вотъ, Груша, осень на дворѣ. Скоро мы уйдемъ.

— Дай Богъ, въ часъ добрый, Катерина Ондровна!

— Стало быть, ты теперь домой вернешься?

— Домой.

— Много дѣла теперь будетъ?

— Да что дѣла! Молотить—безъ меня убомолотили. Вотъ рожь только подсѣвать на музу. А потомъ картошку рыть станемъ, ленъ трепать на пряжу. Зимой мы съ мамой пряжу прядемъ, холсты дѣлаемъ. Зимой-то больше что-жь дѣлать? Въ избѣ духота, ночь... Мужики, тѣ почитай всѣ зиму спать: кто на лавкахъ, кто на печи. Дѣдушка на всю зиму на печку заберется, уйдетъ.

— А ты что?

— Я-то? Да вотъ прясть да холсты твать съ мамой. Концы вышивать къ полотенцамъ. Еще-то что-жь?.. На волѣ-то не пройдешь. Небось, снѣгъ засыпетъ, что и пути-дороги не сыщешь. Къ рѣкѣ проѣхать за водой, и то съ лошаdkю разъ пятокъ провалишься. Все въ избѣ и сидишь, али бы на завалинкѣ. Опять же темно скоро, спать рано ложимся—финогену (т. е. фотогену, веросину) не напасешься,

— Скучно вѣдь, Груша?

— Какъ не скучно! А другой разъ ничего. Въ избу набьемся, дѣвки всѣ вмѣстѣ, сами прядемъ, а сами сказки сказываемъ, пѣсни поемъ. Тутъ насъ не разонать — тако веселье.

При этомъ воспоминаніи лицо Груши распускается въ улыбку, а пѣсня такъ и просится у нея на волю; я прекращаю разговоръ и ухожу, тѣмъ болѣе, что Грушу уже зовутъ отовсюду.

— Груша-а, а Груша! поди, погляди, который часъ.

— Оглохла ты, что-ли, Уграфена? Который разъ тебя спрашиваю, ты куда вѣвнень-то запропастила?

— Груняшка, барыня кличетъ жаровню разводить!

— Груша, ступай, надергай моркови. Живѣй!

Съ минуту Груша стоитъ въ нерѣшимости, какъ бы недоумѣвая, на какой призывъ слѣдуетъ ей откликнуться. Затѣмъ она вдругъ стремительно срывается съ мѣста и несется черезъ дворъ. По всей вѣроятности, она положила прежде всего надергать моркови, ибо черезъ минуту съ огорода доносится звонкая пѣсня:

Ты, милашка, бѣлый свѣтъ,  
Сшей въ Миколѣ маѣ кисеть.  
Пришелъ вечеръ, дѣлать неча,  
Начала кисетикъ шить...



# ЗАБИТАЯ СВЕКРОВЬ.

(Изъ деревенскихъ портретовъ).

## I.

Въ жаркій лѣтній день я заблудилась въ лѣсу: тропинка, по которой я шла, привела меня не на знакомую поляну, въ заглохшему пруду, какъ я ожидала, а въ какую-то незнакомую мѣстѣчку.

Передо мною было большое пространство, покрытое недавно сведеннымъ лѣсомъ, за которымъ синѣли верхушки большихъ деревьевъ. Все это мѣсто уже успѣло зарости цвѣтущими травами, земляникой и неизбѣжнымъ въ нашихъ краяхъ малинникомъ. Пробираясь все дальше и дальше между пнями, хворостомъ и зелеными кустами, я потеряла и ту тропинку, по которой пришла. Теперь меня окружало со всѣхъ сторонъ море цвѣтущихъ травъ; надъ головой синѣло яркое небо и кромѣ неба и зелени ничего не было видно; пахло медомъ и полынью. Солнце стояло уже высоко, а птички весело и звонко щебетали, несмотря на то, что июль приближался въ концу. Я очутилась въ совершенно незнакомомъ мѣстѣ, въ какой-то зеленой пустынѣ...

Но это была не пустыня; я ошибалась. Тутъ было еще одно живое существо, кромѣ меня.

## II.

Откуда она взялась—я не могла понять. Точно изъ земли выросла и встала передо мной, какъ листъ передъ травой, маленькая сгорбленная, худенькая старушонка. Въ изодранной холщевой рубахѣ и синемъ сарафанѣ, съ выбивающимися изъ-подъ платка прядями жидкихъ сѣдыхъ волосъ, босикомъ, съ какими-то лохмотьями вмѣсто кацавейки на плечахъ, она имѣла жалкій, за сердце хватающій видъ. Ея маленькое, съжизившееся лицо покрывали безчисленныя морщины; глаза побѣлѣли и потускнѣли, узкія губы беззубаго рта точно провалились между носомъ и подбородкомъ. Ея босыя ноги были такъ уродливо худы и искривлены, что съ перваго взгляда казалось, будто на нихъ гораздо больше пальцевъ, чѣмъ обыкновенно бываетъ.

Это дрожащее, трясущееся, покрытое лохмотьями существо точно вынырнуло изъ земли и остановилось передо мной.

Старуха прикрыла своей сморщенной, черной рукой бѣлые глаза, поглядѣла на меня и повлонила молча, чуть не до земли. Въ другой рукѣ у нея была большая корзинка, наполненная необыкновенно крупной и спѣлой малиной.

— Здравствуй, бабушка. Малину собираешь?

— Малину, родимая, малину, красавица,—торопливо забормотала старуха дребезжащимъ голосомъ и, въ моему немалому удивленію, изъ ея бѣлыхъ глазъ, окруженныхъ точно кровавой каймой, сейчасъ же потекли слезы.

— Ты, стало быть, здѣшняя, бабушка? Знаешь, что это за мѣсто?

— Не здѣшняя я, нѣтъ, не здѣшняя. Издали я, горькая; изъ села Оминскаго. Можетъ, слышали, матушка?



— Какъ же, знаю. Это версть за пять отъ насъ. А славная у тебя малина, гдѣ это ты такую набрала? Покажи-ка.

Старуха вдругъ неожиданно бухнулась мнѣ въ ноги.

— Что ты, бабушка, Богъ съ тобой! Встань скорѣе. Чего тебѣ надо?

— Купи ты у меня малинку, сударыня, сдѣлай милость Божескую! Помоги мнѣ, горькой старушонкѣ!..

— Да полно, тебѣ, встань! Съ удовольствіемъ куплю. Только бы домой попасть,—у меня съ собой и денегъ нѣтъ.

— Я дойду съ тобой, сударыня, только не оставь—возьми малинку.

— О чемъ же ты плачешь, бабушка? Я же сказала, что куплю.

— Не плачу я, родимая; это такъ—слеза идетъ. Такъ, стало быть, возьмешь?

— Непремѣнно. Только, видишь-ли, я заблудилась тутъ въ лѣсу, дорогу потеряла. Не знаю, какъ до дома идти. Можетъ, ты моему горю поможешь?

Оказалось, что старуха хорошо знаетъ мѣстность и что намъ съ ней стоитъ только немножко пройти, чтобы добраться до сторожки лѣсника, за которой началась настоящая дорога. А тамъ мнѣ было уже очень легко попасть домой.

### III.

Старуха пошла впередъ, я за ней.

Странное дѣло: видъ у нея былъ такой, что мнѣ казалось, будто она едва можетъ передвигать ногами, а между тѣмъ она довольно бодро, хотя медленно, шла впередъ, раздвигая кусты и травы костлявой рукой. Ея бѣлые глаза были похожи, какъ двѣ капли воды, на глаза слѣпого, а между тѣмъ она ими видѣла; трасу-

щаяся голова была плотно повязана платкомъ, а между тѣмъ она слышала.

— Бабушка, сколько тебѣ лѣтъ?

Старуха обернулась, посмотрѣла на меня тусклыми глазами, изъ которыхъ продолжали выкатываться рѣдкія слезинки, и жалобно проговорила:

— Пятый десятокъ доходить, сударыня. Нивагѣтъ пятьдесятъ годовъ прожила.

— Да не можетъ быть!—воскликнула я невольно. Я думала, что ей, по крайней мѣрѣ, сто лѣтъ.

— Пожалуй, что и того нѣтъ, родная. Немного годовъ мнѣ отъ Бога—люди состарили... Люди! Прости, Господи, мое согрѣшеніе...

Она забормотала что-то непонятное и медленно поплелась по тропинкѣ, согнувшись чуть не вдвое. О моемъ присутствіи она точно забыла. Такъ мы шли до самой сторожки.

Повидимому, лѣсникъ хорошо зналъ мою старуху, потому что онъ очень привѣтливо обливнулъ ее съ порога своей крохотной избушки:

— Здорово, бабушка Авсинья! Сядь, отдохни на крылечкѣ—кваску принесу.

Старуха сѣла, предварительно повлонившись лѣснику чуть не въ ноги. Я расспросила дорогу и пошла домой, повторивши свое обѣщаніе бабушкѣ Авсинѣ купить у нея ягоды.

Часа черезъ полтора она явилась со своей малиной и, получивши отъ меня двѣ серебряныя монетки, опять упала мнѣ въ ноги, причемъ слезы быстрѣе потекли по ея морщинистому лицу.

Я велѣла покормить несчастную старуху и хотѣла оставить ее ночевать, такъ какъ до дома было ей далеко, а солнце уже близилось къ закату. Но она ни за что не соглашалась.

— Да вѣдь ты устала, бабушка?

— И то устала, сударыня, притомилась, — жалобно говорила она, сидя на ступенькахъ кухоннаго крыльца, вся сторбленная и сморщенная, сжимая въ костлявыхъ рукахъ мои два двугривенныхъ, точно это были какіе нибудь драгоценные алмазы.

— Таеъ отчего-жь ты не хочешь остаться у насъ? Переночуешь въ людской избѣ, со скотницей, а завтра рано утромъ накормятъ тебя и пойдешь домой.

— Убьетъ она меня, матушка, больно убьетъ, коли деньжонокъ не принесу до солнышка...

— Какъ убьетъ? Кто?

— Невѣстка, — произнесла старуха чуть слышно, и вдругъ выраженіе такого непреодолимаго, тупого страха появилось на ея лицѣ, что я невольно вздрогнула.

— Твоя невѣстка? Да какъ же она смѣетъ! А сынъ-то твой чего же смотреть?

— Далеко онъ, родная, въ солдаты сданъ и не знамо гдѣ. Некому заступиться за меня, за нищую старушонку...

— Никого у тебя, кромѣ невѣстки, и нѣтъ, и кормить тебя некому?

— Какъ не быть... Хозяинъ у меня, мужикъ богатый...

Она съ усиленіемъ встала, поклонилась мнѣ низко-низко и поплелась прочь, не прибавивъ больше ни одного слова.

Я осталась въ полнѣйшемъ недоумѣніи.

#### IV.

А между тѣмъ она говорила правду. Дѣло было очень просто.

Мужъ ея, Захаръ, былъ самый зажиточный мужикъ въ селѣ. Всего у нихъ было вдоволь, тѣмъ болѣе, что и семья невелика: одинъ сынъ, Иванъ. Все шло хорошо,

пока его не женили. Понравилась ему красивая, разбитная дѣвка изъ большого торговаго села Рогачева. Но, къ несчастью, понравилась она не только Ивану, но и его отцу. Какъ только вошла въ домъ молодая хозяйка, такъ и перевернулось все вверхъ дномъ. Ивана отецъ скоро спровадилъ въ солдаты и сталъ открыто жить со снохой, которая принялась всячески мучить и угнетать свою свекровь. Она заставляла ее страшно работать, почти не кормила, била и истязала самымъ жестокимъ образомъ, а когда Авсинья изъ здоровой, пожилой женщины превратилась въ очень короткое время въ дряхлую, безсильную, измученную старуху — стала посылать ее за грибами и ягодами лѣтомъ, а зимой заставляла ходить по міру. Всѣ вырученные деньги, каждый собранный кусокъ хлѣба несчастная старуха приносила невѣстѣ и боялась ея до такой степени, что даже вдали отъ нея не смѣла ничего съѣсть изъ того, что ей давали въ видѣ подаенія.

Говорили, что до сына-солдата дошли печальныя вѣсти обо всемъ этомъ и что онъ будто бы спился съ горя и пропадаетъ неизвестно гдѣ...

## V.

Три лѣта сряду бабушка Авсинья приносила мнѣ самыя крупныя, спѣлыя ягоды, какія только бываютъ въ поляхъ и лѣсахъ. Въ іюнѣ она приносила землянику, а съ половины іюля до половины августа чуть не каждый день приходила съ большой корзинкой душистой, алой малины.

Въ прошлое лѣто она не пришла. Земляника поспѣла и сошла, началась малина, а бабушки Авсиньи все не было. Куда она дѣвалась — у насъ никто не зналъ.

Въ одинъ прекрасный день мнѣ пришли сказать, что меня спрашиваетъ какой-то старикъ.

Самъ старикъ былъ мнѣ совершенно неизвѣстенъ.

Его худощавое лицо съ глубоко впалыми глазами, ушедшими подъ кустастыя, черныя брови, крупный носъ, высокій, обнаженный лобъ и длинная сѣдая борода мнѣ были совершенно незнакомы. Но что мнѣ было положительно знакомо — это почернѣвшая, сплетенная изъ прутиковъ корзинка съ алой, необыкновенно крупной малиной: то была корзинка и отборныя ягоды бабушки Аक्सиньи.

Высокая мощная фигура незнакомаго старика въ синей линалой рубахѣ и старенькомъ армякѣ низко склонилась передо мной, пока онъ вланился мнѣ въ поясъ.

— Сударыня, — проговорилъ онъ суровымъ, почти торжественнымъ голосомъ, — я старикъ вашей лѣтошней старухи.

И онъ подалъ мнѣ корзинку съ малиной.

— А! стало быть это бабушка Аक्सинья прислала мнѣ малину? А что же она сама не пришла?

— Упокой, Господи, ея душу, — тихо сказалъ старикъ, сотворяя крестное знаменіе. — А мнѣ пошли, Господь, милосердное прощеніе за великій мой грѣхъ...

И, помолчавши, онъ прибавилъ:

— Нищій я, сударыня, стою передъ вами: все роздалъ... Буду подаваніемъ кормиться.. А что пожелаете за малинку — пойдетъ во святую церковь, за упокой ея души...



## ЛЮДИ И ВЕЩИ.

---

Елена Николаевна ужасно любила вещи, и мелкія, и крупныя, но, конечно, хорошія вещи—чтобы было куплено въ хорошемъ магазинѣ, сдѣлапо у хорошей француженки и все настоящее.

— Я люблю каждую свою вещь,—говорила она часто.

— Вообще, любишь собственность,—поддразнивалъ мужъ.

— Да, люблю. По моему, Паскаль былъ просто дуракъ. Преглупо онъ это сказалъ— „La propriété—c'est le vol“.

— Не Паскаль, а Прудонъ.

— Ну, Прудонъ. Не все-ли это равно. Я всегда ихъ путаю.

И точно на зло Прудону, хотя и совершенно независимо, какъ отъ него, такъ и отъ всѣхъ прочихъ мыслителей-экономистовъ и социалистовъ, Елена Николаевна съ полнымъ сознаніемъ своей правоты постоянно заботилась о своей собственности. Она никогда не думала о томъ, хороши или нехороши эти ея наклонности и вкусы. Она знала, что у нихъ съ мужемъ нѣтъ ни копейки долгу, и думала, что живутъ они, конечно, хорошо, но вполне благоразумно. Вонъ Савицкіе проживаютъ двадцать тысячъ въ годъ, хотя у нихъ не больше двѣнадцати дохода; Лопухины живутъ прямо

въ долгъ; Петровы держатъ лошадей и задаютъ балы, хотя они совсѣмъ небогаты. Нѣтъ, они гораздо благо-разумнѣе, и проживаютъ несравненно меньше. Положимъ, ихъ всего двое, дѣтей нѣтъ; но зато есть имѣнье въ Рязанской губерніи, на которое идетъ — тысячи двѣ въ годъ, по крайней мѣрѣ, хоть и хозяйства тамъ ровно никакого нѣтъ. Отъ Петербурга далеко, все за глазами; живешь тамъ всего какихъ-нибудь два—три мѣсяца въ годъ, да если бы и больше жили, что толку? Дворяне развѣ умѣютъ получать доходы съ имѣнія? Это доступно только богатымъ людямъ, а богатыхъ дворянъ теперь почти нѣтъ. Вотъ, напримѣръ, хоть бы она, Елена Николаевна, и ея мужъ. Вѣдь у нихъ ничего нѣтъ; живутъ мужнинымъ жалованьемъ, и проживаютъ почти все, что получаютъ. А вѣдь тратятъ только на все самое необходимое; правда, Елена Николаевна любитъ все хорошее, но никакой глупой роскоши себѣ не позволяетъ: ей въ голову не придетъ покупать себѣ брилліанты, или выписывать платья изъ Парижа.

— Къ чему это? — разсуждаетъ она. — Глупая трата денегъ. Моя портниха очень хорошо шьетъ, и всего двадцать пять рублей за фасонъ. Какіе тутъ брилліанты, когда нужно столько необходимыхъ вещей. Вотъ въ гостиную непременно нужно коверъ во весь полъ — иначе никогда не будетъ комфорта.

— Да вѣдь у тебя и такъ три ковра въ гостиной, — возражалъ мужъ.

— То-то и не хорошо, что три ковра. Я ихъ сниму...

— И бросишь?

— Совсѣмъ нѣтъ. Они еще очень годятся въ другія комнаты; я ужъ имъ найду мѣсто, не безповойся. Чѣмъ больше ковровъ, тѣмъ уютнѣе. Къ тому же въ Петербургѣ безъ этого невозможно: всегда дуетъ отъ



оконъ, во всѣхъ квартирахъ, и съ пола дуетъ. Нѣтъ ничего легче, какъ схватить простуду, и нажать какую-нибудь скверную болѣзнь. Вонъ инфлюэнца чуть не въ каждой семьѣ. Доктора дороже всякихъ ковровъ обойдутся,—прибавляла она, чувствуя себя до глубины души такой практичной, благоразумной и умѣлой.

Мужъ не возражалъ, да ему и нельзя было возражать, потому что онъ самъ любилъ, если не собственность (въ которой чувствовалъ нѣкоторую враждебность, потому что понятіе о ней отождествлялось у него съ представленіемъ объ имѣніи, стоившемъ денегъ зимой и наводившемъ скуку лѣтомъ), то вещи и даже спеціально японскія и китайскія вещи. У него была страсть закупать уродцевъ изъ фарфора и бронзы, чайную посуду, въ которой онъ никому не давалъ пить чай, до которой даже не позволялъ дотрогиваться, и множество другихъ интересныхъ вещей; а для уродцевъ были совершенно необходимы подходящія этажерки и консоли, для посуды и прочей утвари еще того необходимѣе подходящія витрины и столы, а въ комнату, гдѣ все это помѣщалось, еще того необходимѣе соломенные циновки, вмѣсто ковровъ, лаковая мебель и драпировки изъ китайскаго крепа. Вѣдь не повѣсить же шелковыя портьеры отъ Коровина или московскій джутъ въ такую комнату, гдѣ стоятъ три настоящихъ буддійскихъ идола?

— Посмотри,—говорилъ Павелъ Александровичъ, показывая женѣ новую покупку.—Случайно нашелъ въ антикварской лавкѣ. Всего пятнадцать рублей.

— Какъ, этотъ мерзкій чайникъ? Да еще съ отбитымъ носомъ?

— Да вѣдь это настоящій клоазонне. Это ужасно дешево!

— Страшно дорого! За такую дрянъ пятнадцать рублей! За пятнадцать рублей можно купить у Марсеру цѣ-

люю дюжину кофейных чашекъ. Кстати, мнѣ необходимы кофейныя чашки. Знаешь, теперь въ модѣ разноцвѣтныя чашки, всѣ разныя. Это удивительно мило, я на дняхъ видѣла у Сони. И за всю дюжину пятнадцать рублей.

— А вонъ Толстой на пятнадцать рублей кормитъ цѣлый мѣсяцъ десять мужиковъ. Вотъ ты и разсуждай, что дорого, что дешево,—сказалъ Павелъ Александровичъ, уходя съ своимъ чайникомъ влоазонне.

— Какой вздоръ!—сказала жена ему вслѣдъ.—На эти деньги только съ голоду можно умереть.

И она отправилась одѣваться. Надо ѣхать къ Сонѣ: онѣ сговорились вмѣстѣ отправиться въ Гостинный дворъ, покупать дѣтямъ игрушки къ елѣ. До Рождества правда еще десять дней, но всегда лучше пораньше это дѣлать: и дешевле, и не такая давка въ магазинахъ.

Съездила очень удачно, и вернувшись домой, Елена Никольевна особенно обрадовалась, найдя у себя мать, которой можно было рассказать про игрушки!

— Надѣюсь, ты обѣдать, мама?

— Да, душа моя. Конечно.

— И чудесно! У насъ, какъ нарочно, твой любимый соусъ изъ артишковыхъ...

За обѣдомъ, угощая мать соусомъ изъ артишковыхъ, (въ декабрѣ оно немножко дорого, но зато вкусно)—она рассказывала, какія удивительныя игрушки онѣ съ Соней купили. Особенно кухня для Любы, и пожарная команда для Сережи.

— Кухня такая очаровательная, мама, что мнѣ право самой захотѣлось поиграть. Плита настоящая—можно угольями топить, или спиртомъ.

— Воображаю, чего это стоитъ!

— Всего пятнадцать рублей.

— Господи! Вонъ Толстой на пятнадцать рублей десять мужиковъ цѣлый мѣсяцъ кормитъ.

— Ну, такъ вѣдь это Толстой. На то онъ гениальный писатель. Но только не можетъ быть, мама. Кто тебѣ это сказалъ?

— Никто не сказалъ. Я сегодня въ газетахъ читала.

— Ахъ, мама, въ газетахъ все врутъ...

— Ну, не все, Эленъ. Тамъ подробно все написано. Толстой устраиваетъ общія столовныя, гдѣ всякій обѣдающій получаетъ обѣдъ изъ четырехъ блюдъ...

— Какъ изъ четырехъ? Это зачѣмъ? Даже у насъ не каждый день четыре; иногда я заказываю только три.

— Ну, это только слава одна, что четыре блюда, — проговорилъ Павелъ Александровичъ, не отрывая глазъ отъ дюшессы, съ которой онъ тщательно снималъ кожу серебрянымъ ножомъ. — Этакъ мы у себя десять блюдъ насчитаемъ, если такъ считать, какъ тамъ.

— А ты почему знаешь, какъ тамъ считаютъ?

— Да тоже въ газетахъ читалъ, какъ и папа. Это только ты одна теперь газетъ не читаешь.

— Ну, и что же ты тамъ такое прочелъ? — сказала Елена Николаевна, слегка задѣтая за живое. — Расскажи, пожалуйста, если это такъ интересно.

— Да ты возьми сама и прочти.

— Онъ навѣрно самъ не читалъ, мама. Расскажи ты. Ну, что же они ѣдятъ?

— Во-первыхъ, хлѣба à discrétion, сколько хотять; потомъ щи или супъ, какой-то свекольникъ, каша или картофель, овсяный кисель...

— Ну вотъ, ну вотъ, какъ я говорилъ, — прервалъ Павелъ Александровичъ. — По нашему мы вчера ѣли — сколько? Три блюда?

— Конечно, три: супъ съ пирожками, ростбифъ и апельсинное желе.

— Прекрасно! Такъ супъ — разъ, пирожки — два, ростбифъ — три и въ нему что такое у насъ было? Брюс-

сельская капуста, каштаны, морковка и грибы. Еще четыре блюда—семь; желе—восемь.

— Кто же такъ считаетъ!

— Да, вотъ хоть бы у Толстого, все такъ считается. То же самое,—упорствовалъ Павелъ Александровичъ.

— То же, да несовѣтъ,—вздыхнула его belle-mère. — Даже какъ-то совѣстно эти ростбифы и желе ѣсть, когда такая страшная нужда подъ бокомъ, а вотъ еще у тебя попрошу немножко, Эленъ. Очень вкусное желе—такое душистое.

— Это отъ мараскина. У меня всегда кладутъ мараскинъ. Но все это навѣрно ужасно преувеличено, мама.

— Что преувеличено?

— Да вотъ... это все. Голодающіе. Право, куда ни пойдешь — вездѣ только и слышишь, что голодающіе. Пожертвованія, вечера, базары—все въ пользу голодающихъ. А между тѣмъ, какъ-то совѣтъ незамѣтно.

— То-есть, какъ это незамѣтно? Что ты хочешь свазать?

— Помилуй, мама, если бы все это было правда. Ну, дѣйствительно, въ самомъ дѣлѣ, — чтобы столько было голодающихъ... которые бы въ самомъ дѣлѣ голодали... съ голоду умирали... по настоящему...

Елена Николаевна запуталась и умолкла.

— Ну?—сказала мать удивленно.

— Я хочу сказать, что если бы это было все правда, такъ развѣ бы стали всѣ такъ жить?

— Кто, всѣ?

— Остальные всѣ. Ну мы, ты, Лопухины, Савицкіе, Соня... Однимъ словомъ всѣ,—сказала Елена Николаевна съ нетерпѣніемъ, сама внутренно удивляясь, что она это говорить.

— А какъ же намъ жить, по твоему?—съ глубокимъ недоумѣніемъ спросилъ мужъ.

— Да такъ же, какъ мы и теперь живемъ, потому что я ничему этому не вѣрю. Бѣдные всегда были и будутъ: одни бѣднѣе, другіе богаче; сравнительно съ мужиками, пожалуй, и мы богаты, ну, а сравнительно съ какими-нибудь Поляковыми и Штиглицами—мы нищѣ. Все сравнительно.

— Такъ что же изъ этого? Я все-таки не понимаю, что ты хочешь сказать, — сказалъ Павелъ Александровичъ.

— Хочу сказать, что это въ порядкѣ вещей. А голодъ—это не въ порядкѣ вещей, и если, дѣйствительно, голодъ, это такъ нельзя. У однихъ слишкомъ много... положимъ, не слишкомъ,—поправилась она,—а больше, гораздо больше—у другихъ—ничего. Это надо какъ-нибудь... ну, я не знаю—перемѣнить что-ли. Если бы былъ таковой голодъ—это бы перемѣнилось. Да, да, навѣрно. Но я не вѣрю,—заклчила она.

— Нечего тутъ не вѣрить,—сказалъ Павелъ Александровичъ, допивая кофе. — Голодъ, дѣйствительно, ужасный; въ Казанской губерніи даже пухнуть и мрутъ; въ десяти другихъ, чортъ знаетъ, что ѣдятъ вмѣсто хлѣба, и мы, общество, дѣлаемъ все, что можемъ. Вонъ и въ нашемъ департаментѣ всѣ согласились по три процента въ мѣсяцъ; это немало. А все-таки, пора въ театръ ѣхать. Расфилософствовалась моя Елена Николаевна, въ какія-то донъ-кихотскія разсужденія пустилась...—засмѣялся онъ.—Стушай-ка лучше одѣваться, а то слишкомъ опоздаемъ.

— Вы сегодня во французскомъ?

— Какъ же, вѣдь суббота. Быть можетъ, и вы съ нами, тамап? Насъ всего трое въ ложѣ.

— Нѣтъ, спасибо, мой милый. Испортились французы; у нихъ теперь совершенный балаганъ, даже не смѣшно.

— Нѣтъ, не скажите. Отлично послѣ обѣда; спать

вредно, а посмѣяться очень хорошо. Эти милые французы великолѣпно пицеваренію помогаютъ. И Лего очень хороша...

— Вѣшалка для нарижскихъ платьевъ, — отрѣзала Елена Николаевна, уходя.

— Женское сужденіе, — сказалъ Павелъ Александровичъ, смѣясь. — А мы и въ итальянскую оперу абонировались, шатап. На два кресла раззорились.

— Вотъ ужъ именно раззорились. Это и я бы поѣхала, да дорого очень.

— Нынче дешевле обыкновеннаго: благодаря голоду и итальянцы подешевѣли. Видите, нѣтъ худа безъ добра. Да что же это, Лена, однако? Непремѣнно опоздаемъ!

Елена Николаевна, дѣйствительно, сильно опоздала въ театръ въ этотъ вечеръ и была не въ духѣ.

— Да что съ тобой такое? — допытывался мужъ. — Отчего ты такая кислая? Неужели это тебя голодающіе такъ разстроили?

— Ахъ, какой вздоръ, — сказала она съ досадой. — Совсѣмъ не голодающіе, а просто у меня ужасная непріятность.

— Что такое?

— Сейчасъ, когда я заказывала обѣдъ, Анна показала мнѣ совсѣмъ подозрительной и отъ нея сильно пахло водкой. Боюсь, что она опять запьетъ, на нѣсколько дней.

— Ну, судомойка будетъ готовить.

— Она невозможно готовить.

— Ну проговоришь Анну и возьмешь другую.

— Передъ праздникомъ? — съ ужасомъ воскликнула Елена Николаевна. — Теперь до Рождества всего десять дней осталось, — гдѣ же тутъ найдешь хорошую кухарку? Просто не знаю, что я буду дѣлать.

Опасенія Елены Николаевны оправдались. На дру-

гое утро Анна даже не стояла на ногахъ, и судомойка была временно водворена на ея мѣсто. Елена Николаевна была въ отчаяніи, но совершенно неожиданно дѣло вдругъ уладилось. Горничная Поля, ненавидѣвшая кухарку, предложила барынѣ сходить за своей знакомой, которая очень просила о мѣстѣ и готовила за повара. А ужь трезва — такъ положительно на удивленіе.

— Отчего же она безъ мѣста, если она такая хорошая кухарка? — подозрительно освѣдомилась Елена Николаевна.

— Только что изъ деревни пріѣхавши.

— Странно! Передъ самымъ праздникомъ пріѣхала.

— Ахъ, барыня, да коли тамъ ѣсть нечего! — воскликнула бойкая Поля. — У нея весной братъ померъ, она поѣхала въ деревню хоронить, да послѣ его осталось что-то, а тутъ сама захворала...

— Хорошо, хорошо. Сходите за ней и приведите. Только поскорѣе. Можете взять извозчика.

Поля мигомъ съѣздила за кухаркой, и кухарка оказалась дѣйствительно очень искусной. Но ея наружность показалась Еленѣ Николаевнѣ еще болѣе подозрительной, чѣмъ несвоевременный пріѣздъ изъ деревни.

— Вы навѣрное знаете, что она не пьетъ, Поля? — спросила она у горничной.

— Ни, ни, ни, барыня! Вотъ хоть побожиться!

— Зачѣмъ я и спрашиваю? — подумала Елена Николаевна. — Развѣ она скажетъ правду? Онѣ всегда лгутъ. Навѣрное пьетъ. Отчего же у нея лицо такое? — сказала она вслухъ.

— Лицо? — переспросила Поля. — Да, должно быть, съ хлѣба. Съ деревенскаго хлѣба. Вѣдь въ деревняхъ-то теперь, что? Съ позволенія сказать, не то что мякину ѣдятъ, а еще и того нѣтъ.

— Вотъ и Поля тоже! — подумала Елена Нико-

лаевна.—А кухарка изъ деревни, и сама видѣла, и даже сама... голодающая? Ну, у меня голодать не будетъ, и то хорошо.

Кухарка замѣчательно хорошо готовила. Елена Николаевна со спокойной совѣстью пригласила сестру съ мужемъ и со всѣми дѣтьми обѣдать на третій день праздника, и заранѣе обдумывала меню рождественскаго обѣда. А пока съ утра до вечера разѣзжала по магазинамъ. Надо было купить столько необходимаго.

— Лучше бы ты дома сидѣла въ такую погоду,—убѣждалъ Павелъ Александровичъ.—Слякоть, мерзость, туманъ—а ты уже и такъ кашляешь.

— Пустяки. Мнѣ необходимо. Мы съ Соней съ утра до вечера ѣздили всѣ эти дни, и все-таки еще много осталось покупокъ. И такъ едва успѣю. Мнѣ еще надо въ Аравину подарки прислугѣ купить.

Выходя отъ Аравина, гдѣ она приказала послать къ себѣ на домъ купленные куски матеріи, Елена Николаевна зашла въ Казанскій соборъ. Она давно собиралась пойти посмотрѣть на всѣ эти мѣшки и кули, которые тамъ жертвуютъ для голодающихъ. Говорятъ, очень много жертвуютъ. А отъ Аравина всего два шага.

Мѣшковъ и кулей было дѣйствительно много. Какое-то странное, совсѣмъ новое чувство охватило Елену Николаевну при ихъ видѣ.

— Такъ странно видѣть эти мѣшки въ церкви, на полу!—промелькнуло у нея въ головѣ. Но совсѣмъ не то ее поразило, что свазалось словами, а другое, несознанное. Ей показалось, что этихъ кулей и мѣшковъ безконечно много—цѣлая гора. Стало-быть, голодающихъ-то много? Они въ самомъ дѣлѣ есть, гдѣ-то далеко, какъ бы въ другомъ мірѣ, который она себѣ совсѣмъ не можетъ хорошенько представить. Они есть, они живутъ, т. е. умираютъ съ голода. Боже мой, сколько кулей, сколько мѣшковъ!



— Капля въ морѣ, поймите вы, капля въ морѣ! — раздался около нея раздраженный голосъ.

Она вздрогнула и обернулась. За нею оживленно разговаривали двое мужчинъ.

— Вы говорите, много пожертвованій!—говорилъ высокій господинъ въ распахнутой енотовой шубѣ, сильно жестикующуя рукой, въ которой держалъ мѣховую шапку.—Вы вспомните, батюшка, что тридцать миллионѣвъ голодныхъ прокормить надо до новаго урожая—если еще онъ будетъ!

— Тридцать миллионѣвъ,—машинально повторила Елена Николаевна про себя.—Сколько же это?—Она не могла себѣ представить тридцати миллионѣвъ людей. Но это что-то ужасно много.

Какъ жарко въ церкви! Она распахнула свою чернобурую ротонду.

— А что мы имъ даемъ, этимъ тридцати миллионамъ? — продолжалъ господинъ громкимъ шопотомъ. Сухія корки? А? Вѣдь всѣ эти кульки и мѣшки—онъ повелъ на нихъ рукою—это что? Корки!

— Не однѣ корки...—началъ было его собесѣдникъ. Но тотъ не слушалъ.

— Да и тѣ корки не мы даемъ, а по большей части даютъ тѣ, которые, пожалуй, и сами бы ихъ доѣли въ другое время; и это и есть пожертвованіе настоящее. Когда мы даемъ корки—намъ стыдъ, да, стыдъ-съ! Сами ростбифы и рябчики ѣдимъ, а *жертвуемъ* корки! Скажите, какая жертва!

Собесѣдникъ заволновался:

— Но, позвольте, однако! Кажется, нельзя упрекнуть наше общество въ равнодушіи. Кажется, ни одно учрежденіе...

— По одному проценту! Знаемъ-съ!

— Мы по три даемъ!—съ облегченіемъ припомнила Елена Николаевна. Ей становилось какъ-то ужасно

нехорошо. Этот раздражительный господинъ точно бранится; бранить всѣхъ, и въ томъ числѣ, какъ будто и ее и ея мужа. Ей хотѣлось заговорить, въ чемъ-то оправдаться. И она ждала, что собесѣдникъ раздражительнаго господина оправдается за нее и за всѣхъ. И онъ дѣйствительно оправдался.

— Иные по три и по четыре! — сказалъ онъ. Но раздражительному господину и этого было мало.

— А на Мазини по сколько процентовъ ухлопають? — воскликнулъ онъ. — А на Смуровыхъ и Елисеевыхъ? А елки и игрушки?

— Господи! Какой злой этотъ господинъ! — мысленно воскликнула Елена Николаевна. — Елки и игрушки! Да вѣдь это дѣтямъ... А дѣти чѣмъ же виноваты? Да и вообще никто не виноватъ... Чего же онъ бранится?

Она поплотнѣе закуталась въ ротонду, точно холодно ей стало отъ слышанныхъ ею рѣчей и поскорѣе отошла отъ разговаривающихъ. Ей хотѣлось еще посмотреть хлѣбъ, который выставленъ въ соборѣ по приказанію митрополита и присланъ, кажется, изъ Казанской губерніи. Но когда она его увидала, ей опять не повѣрилось. Это? Это хлѣбъ? Да развѣ можно это ѣсть?

— Ахъ, опять этотъ ужасный господинъ подошелъ!

— Полкуютесь! — шипѣлъ онъ, указывая на поразившій ее кусокъ хлѣба, и ей показалось, что онъ обращается къ ней. — Вѣдь это хорошо намъ смотреть! А вѣдь тамъ-то только это и есть! Этотъ вотъ кусокъ не то глины, не то камня какого-то, это теперь замѣняетъ нашему народу супъ-съ, жаркое-съ и пирожное! Да-съ! Это его ростбифы, его рябчики! Да еще и это не у всякаго есть. Въ сравненіи съ этимъ и кажутся роскошью и свекольники, и картофель, и кисель, и пустяки щи, которыми Толстой кормить цѣлаго человѣка за полтора рубля въ мѣсяцъ...

— Ну, и ѣхали бы къ вашему Толстому! — внезапно огрызнулся его собесѣдникъ.

— И поѣхалъ бы, если бы могъ! Но развѣ я человѣкъ свободный? Вѣдь я служу-сь! Вы забываете, что я служу!

— Отпускъ возьмите, въ отставку выходите!

Теперь они оба кричали и оба были злы.

Елена Николаевна рѣшительно пошла къ выходу. Она ненавидѣла въ эту минуту этого незнакомаго человѣка; у нея было такое чувство, точно онъ ее прибилъ. Она заторопилась домой. Темнота на улицахъ стояла такая, точно полночь настала; а и четырехъ часовъ еще не было.

— Ужасная, въ самомъ дѣлѣ, эта петербургская погода! — думала она, чувствуя, что сырость пробираетъ ее насквозь, и дрожа въ своей теплой рогондѣ. — И какой мракъ! Даже электричество какое-то тусклое. Отвратительный, злой, антипатичный господинъ! Но неужели новая кухарка тоже такой хлѣбъ ѣла? И оттого у нея такое лицо, точно распухшее отъ пьянства? А между тѣмъ, надо всего только полтора рубля въ мѣсяцъ — пять копѣекъ въ день — чтобы навормить человѣка... Всего пять копѣекъ!

Отдавая швейцару полтинникъ, чтобы заплатить извощику, и поднимаясь по своей ярко освѣщенной лѣстницѣ, устланной бархатнымъ ковромъ, Елена Николаевна думала, что полтинникъ — это значить десять разъ пять копѣекъ, значить на полтинникъ можно навормить десять человѣкъ въ день. Какъ дорого она заплатила извощику!

— Что за глупости! — опомнилась она и тряхнула головой, точно желая отогнать эти мысли.

Но это ей не удалось. Весь вечеръ назойливо дѣзли ей въ голову пятачки, полтора рубля въ мѣсяцъ, десять человѣкъ въ день на пятьдесятъ копѣекъ.

— Лена, ты, однако, ужасно кашляешь, и у тебя совсѣмъ нехорошій видъ,—замѣтилъ Павелъ Александровичъ съ безпокойствомъ, собирався уѣзжать послѣ обѣда въ какой-то комитетъ.—Ты навѣрно простудилась!

— Да, кажется. Я заходила въ Казанскій соборъ...

— Зачѣмъ?—удивился мужъ.

— Мнѣ хотѣлось этотъ хлѣбъ посмотрѣть... знаешь, который выставленъ,—конфузясь, сказала Елена Николаевна.

— Ну? И видѣла?

— Да. Ужасное что-то, этотъ хлѣбъ. Похожъ на глину.

— Говорятъ. Ну, такъ ты пошли за докторомъ, милая. Я тебя прошу! Право. У тебя совсѣмъ нехорошій видъ.

— Пустяки. Завтра навѣрно все пройдетъ!—сказала она нетерпѣливо, чувствуя, однако, что сама этого не думаетъ, что ей въ самомъ дѣлѣ нехорошо. Главное, какое-то напряженное состояніе и все холодно. Ужъ не послать-ли въ самомъ дѣлѣ за докторомъ? Доктору пять рублей за визитъ, отвѣчалъ внутренній голосъ; а на пять рублей сколько же можно накормить человѣка въ день? Сто! Цѣлую толпу. Или одного человѣка кормить сто дней—больше трехъ мѣсяцевъ.

— Барыня, кухарка пришла къ приказу, въ нашемъ кабинетѣ дожидается.

— Хорошо, иду. Да, принесите мнѣ плюшевую накидку, Поля, Или нѣтъ, лучше большой оренбургскій платокъ.

Елена Николаевна усѣлась въ большомъ креслѣ, въ своемъ уютномъ кабинетѣ, укуталась платкомъ и положила ноги на скамеечку.

— Какъ васъ зовутъ?—неожиданно спросила она у кухарки, ожидавшейся въ почтительной позѣ.

— Маланьей, сударыня.

— Ну, такъ вотъ что, Маланья... — Елена Николаевна остановилась, точно припоминая что-то.

— Вы насчетъ оленины, сударыня? Приказывали мнѣ узнать, такъ я...

— Нѣтъ, нѣтъ, я совсѣмъ не про то. Давно вы изъ деревни?

— Вторую недѣлю, сударыня.

— Вы изъ какой губерніи?

— Съ Тульской.

— Какъ? Развѣ и тамъ голодъ? И тамъ *такой* хлѣбъ ѣдятъ?

— Какой ужъ хлѣбъ, сударыня, хлѣбъ-то давно подобрали. Такъ кое-что. Наказаль Господь. Видно и мякины себѣ не заслужили за наши грѣхи. Страшно смотрѣть на нашъ хлѣбъ—ровно каменный. Размачиваешь, размачиваешь въ водицѣ—осклизнетъ, а не смягчаетъ. И сытости никакой нѣтъ—только жуешь, время проводишь.

Кухарка разговаривалась очень охотно, и Елена Николаевна ея не останавливала. Она только пристально смотрѣла въ лицо Маланьѣ и думала, что это она съ *того* хлѣба такая. Теперь лучше стала, но все что-то еще странное въ ея лицѣ. Или ужъ ей это кажется?

— Какъ къ вамъ-то поступила, ровно въ рай Господень,—говорила кухарка. — До хлѣба-то дорвалась, просто, думала, никогда его не наймся, ни къ чему и не тянетъ—все бы хлѣбца, вотъ онъ, молъ, какой, хлѣбушка-то настоящій, сладкій, мягкій...

— Такъ вотъ отчего у насъ столько хлѣба вышло это время... А я-то удивлялась!—мысленно встала Елена Николаевна.

— И живешь-то ровно въ царствіи небесномъ—и сытно, и тепло, слава Тебѣ, Господи! Темно тебѣ—свѣчечку или бы лампочку зажжешь, несолоно—соли возьмешь, посолишь... И имъ, стало быть, помога: вотъ

дасть Богъ, мѣсяцъ проживу, пожалуете, что я у васъ заслужила, и имъ пошлю въ деревню, хошь бы ребяташкамъ...

— А у васъ и дѣти есть?

— Была одна дѣвочка, да померла нынче осенью. У невѣстки четверо; теперь послѣ брата вдовой осталась, скотину продала, что кормить нечѣмъ: чуть не даромъ отдали, ну и режутъ ребята съ голоду. Глядѣла, это я глядѣла, и отъ нихъ уѣзжать на сытую жизнь совѣстно, да и оставаться толку мало. Все проѣли, что съ собою привезла, одежду даже всю. Лучше уѣду, думаю, на мѣсто постушло, имъ же, помогать стану...

Елена Николаевна поспѣшно достала ключи и отперла письменный столъ.

— Я вамъ сейчасъ дамъ, сейчасъ же пошлите, — заторопилась она. — Скорѣ пошлите!

— Я и сама хотѣла было попросить у васъ сколько-нибудь впередъ, сударыня, да не посмѣла, молъ, недѣли еще не зажила... Благодарствую покорно, немножко бы.

— Это не впередъ, а такъ... Я хочу послать, пошлите имъ, только поскорѣй! — торопливо заговорила Елена Николаевна, пересчитывая бумажки. — Вотъ, пятьдесятъ рублей. Поскорѣ пошлите!

Кухарка бухнулась ей въ ноги.

— Пошли вамъ, Господи, Царица Небесная! — проговорила она, всхлипывая. — Матушка, ужъ я и не знаю...

— Что вы! Что вы! Встаньте, Маланья! Развѣ это можно! — закричала Елена Николаевна. Но кухарка не вставала и продолжала плакать и бормотать что-то невнятное.

Тогда и Елена Николаевна сѣла въ кресло и заплакала. О чемъ? Она и сама не знала. Нервы очень

разстроились, устала. Надо принять валериановыхъ капель. Поздно заказала обѣдъ Елена Николаевна, и написала кухаркѣ письмо въ деревню, и узнала еще, что въ этой деревнѣ сорокъ шесть дворовъ, и во всѣхъ дворахъ тоже самое. Двѣсти душъ, говорила Маланья, и это гораздо легче было себѣ представить, чѣмъ тридцать милліоновъ. Но, когда, наконецъ, Маланья съ своимъ мокрымъ, заплаканнымъ лицомъ, радостно ушла, снабженная распоряженіями насчетъ оленины и драгоценнымъ письмомъ, Елена Николаевна осталась одна и погрузилась въ свои мысли, далеко не раздѣляя радости своей кухарки. На сердцѣ ея лежалъ какой-то камень, и мысль усиленно работала.

— Ну вотъ, она тоже пожертвовала на голодающихъ, много пожертвовала—вѣдь это много, пятьдесятъ рублей? Въ газетахъ рѣдко увидишь, чтобы столько жертвовали (Елена Николаевна послѣдніе дни читала газеты)—все больше одинъ рубль, три рубля, много „десять рублей отъ неизвѣстнаго“... Но совсѣмъ это не облегчило ея совѣсти... Прежде у нея даже точно и не было этой совѣсти—какъ-то она ея не чувствовала. Да развѣ это пожертвованіе? Пожертвованія—это кладутъ въ кружку, „соглашаются отчислить процентъ“, и т. д. ну точно въ кружкѣ или въ департаментѣ оно и останется—никакого при этомъ нѣтъ особеннаго чувства; все равно, что выпить стаканъ воды—такъ какъ-то... А когда она эти пятьдесятъ рублей отдавала, у нея билось сердце, и слезы капали изъ глазъ, и было такое чувство, что надо вотъ встать, поскорѣ схватить деньги, и торопиться, бѣжать... Господи, скоро ли еще онѣ дойдутъ? Дѣти режутъ отъ голода, — говоритъ Маланья. Вѣдь вотъ, когда Сонины Лидочка заплачетъ, когда хочетъ кушать и котлетка еще не готова, весь домъ бѣгаетъ, всѣ торопятъ няню, няня бранить кухарку, всѣ интересуются, скоро-ли зажарятъ

котлетку, хотя Лидочка недавно кушала тапіока. И Соня сердится, если котлетка опоздает на двѣ минуты.

— Какъ же это вы не распорядились, няня? Вѣдь ребеновъ кушать хочется!

Это ужасно!

И няня чувствуетъ свою вину. Еще бы!

Вотъ Маланья говоритъ,—что этихъ пятидесяти рублей невѣсткѣ съ дѣтми почти до новаго хлѣба хватить. Это хорошо. Но это „одинъ дворъ“; а тамъ еще сорокъ пять остается, и въ нихъ тоже ребята ревутъ, и все точно также. А вѣдь деревень много, гдѣ голодающіе. Губерній, говорятъ, семнадцать, а въ каждой сколько можетъ быть уѣздовъ? И въ уѣздѣ деревень? Тридцать миллионовъ людей... Нѣтъ, это невозможно себѣ представить. А одна деревня—Маланьина—тамъ двѣсти человѣкъ голодаетъ, нѣтъ, теперь ужъ на пять человѣкъ меньше, имъ послано пятьдесятъ рублей.

Нельзя-ли послать еще? Хоть сколько-нибудь? Надо рассчитать деньги.

Елена Николаевна опять открыла письменный столъ и начала быстро пересчитывать деньги, аккуратно разложенныя по разнымъ конвертамъ и бумажникамъ. Она была аккуратная хозяйка, и аккуратно вела счета и все записывала; на все у нея была положена и отложена извѣстная сумма, и на самое необходимое, и на экстренные расходы.

Денегъ было много; но все отложенныхъ на самое необходимое; въ экстренныхъ расходахъ оставалось всего полтора ста рублей. Въ послѣдніе дни она ужасно много истратила; но хоть это и было экстренное—по случаю праздника—но въ то же время и необходимое...

Подарки прислугѣ, игрушки дѣтямъ, турецкая оттоманка—сюрпризъ мужу, холодильники для шампансваго у Кача (тоже, въ сущности, для него, онъ



такъ давно желаетъ ихъ имѣть), а подь Новый Годъ это необходимо, когда такой торжественный ужинъ, да, необходимо... Развѣ необходимо? Вѣдь до сихъ поръ обходились? А они стояли двѣсти рублей. Двѣсти, можно въ четыре семьи послать еще по пятидесяти рублей—до новаго хлѣба...

Вотъ бы еще четыре двора. А все еще сорокъ одинъ остается.

Еще конвертъ открыла Елена Николаевна. Это что? Это уже не деньги; абонементъ на итальянскую оперу, два кресла—девяносто рублей.

Это мужъ подарилъ. Лучше бы ужъ не абонироваться, а послать еще — прибавить десять рублей, и тогда будетъ еще двумъ семьямъ...

Елена Николаевна начала быстро пересчитывать и искать по конвертамъ, откуда бы взять эти десять рублей, да поскорѣе, точно вотъ сейчасъ нужно было ихъ отдать изъ рукъ въ руки, точно около нея стояли люди, дожидавшіеся этихъ денегъ, чтобы не умереть съ голода... И вотъ она все считала, и разсчитывала, и соображала, рылась, и точно чего-то не находила. Нѣтъ, все мало, все мало—ни за что не достанетъ на всѣхъ!

— Полтора рубля въ мѣсяцъ на человѣка; до слѣдующаго урожая остается семь... восемь мѣсяцевъ; восемь разъ полтора рубля—двѣнадцать рублей...

Такъ засталъ ее мужъ. Она сидѣла, низко наклонившись надъ своимъ письменнымъ столомъ, на которомъ были беспорядочно разбросаны конверты и кредитки, и все что-то писала на бумажкѣ своимъ мелкимъ почеркомъ, считала по пальцамъ, и что-то бормотала, безпрестанно кашляя. Щеки ея раскраснѣлись, глаза блестѣли.

— Лена, что съ тобой?—воскликнулъ Павелъ Александровичъ, хватая жену за руку.—У тебя руки, какъ огонь.

— Голова очень болитъ; пусти!

И она выдернула руку и потянулась за карандашомъ.

Но въ его величайшему изумленію, тотчасъ-же вслѣдъ затѣмъ она позволила совершенно спокойно отвѣсти себя и уложить въ постель, причемъ оказалось, что сама она едва можетъ держаться на ногахъ. Усидивши около нея Полю, съ приказаніемъ не отлучаться отъ барыни ни на минуту, Павелъ Александровичъ въ страшномъ безпокойствѣ поѣхалъ за докторомъ.

— Еще скоро-ли я теперь его найду! Чортъ его знаетъ, гдѣ онъ винтитъ сегодня!—думалъ онъ про своего доктора. А Елена Николаевна лежала въ постели и считала. Еще больше тридцати дворовъ осталось, а денегъ нѣтъ. Она безпокойно осматривала свою спальню, ища глазами.

— Какъ-бы это такъ сдѣлать, чтобы хватило на всѣхъ, а у кого есть—тѣхъ уже въ сторону—чтобы не мѣшались—и вотъ видѣть, сколько ихъ еще осталось... Вотъ если бы они были тутъ, на лицо... Да вотъ они и есть. Вотъ стоятъ. Пусть въ каждой избѣ среднимъ числомъ пять человѣкъ; хорошо. Да денегъ, денегъ-то откуда-же взять? Что это тамъ такое? Ахъ, это маіоликовые вазы, которыя она купила у Марсеру за двадцать пять рублей пара. А этажерки еспіге (для всѣхъ этихъ вещей необходимы этажерки) семьдесятъ пять; какъ это удобно! Ровно сто. Два двора. Отходите въ сторону. И какъ странно, все Маланьи! Впрочемъ, это совершенно естественно—маленькая деревня, такъ тамъ и должны жить все Маланьи. А какъ же дѣти? она говорила про дѣтей? Ну да, маленькія Маланьи? Вотъ онѣ. Сколько ихъ набирается въ комнату! Надо сказать Полѣ, чтобы она не пускала. У нихъ навѣрно грязныя ноги, морья. Онѣ испортятъ коверъ. Вѣдь это необходимая вещь—коверъ; съ пола дуетъ. Онъ стоитъ двѣсти шесть-

десять рублей à la ville de Lyon. Двѣсти шестьдесятъ рублей! Двадцать человѣкъ до новаго урожая. Мозаичный столѣть—шестьдесятъ рублей — пять человѣкъ — вотъ и они пришли. Совсѣмъ больше нѣтъ мѣста въ спальнѣ. Боже мой, отчего у нихъ таковой ужасный видъ? Глаза такіе блестящіе, свѣтятся; говорятъ у волковъ всегда глаза свѣтятся, когда голодные волки; а вѣдь это-же голодные люди... Ну да, конечно. Отъ голода, значить, у всѣхъ свѣтятся глаза. Душно стало въ комнатѣ, ужасная духота. Это оттого, что такъ много народа. И какой шум! Ужасный шумъ. Что это? Ахъ да, ребята режутъ отъ голода. Да вѣдь я же отдала все, что-жь мнѣ дѣлать? Прогоните ихъ—я не виновата—я больше не могу! У меня ничего больше нѣтъ. Зеркало? Сто двадцать рублей. Да вѣдь нельзя-же безъ зеркала, это необходимая вещь! Поля, Поля, прогоните ихъ!..

— Что съ тобой? Что съ тобой? Ангелъ мой, успокойся!

Елена Николаевна узнала голосъ мужа и вздохнула съ облегченіемъ.

— Ахъ, милый, это ты! Какъ я рада! — сказала она.—Какъ хорошо, что ты пришелъ. А то ты не можешь себѣ представить, въ какомъ я затрудненіи: еще около тридцати дворовъ...

— Что это съ ней такое, докторъ?—испуганно обратился Павелъ Александровичъ къ вошедшему вмѣстѣ съ нимъ доктору.

— Ничего, бредить,—спокойно возразилъ докторъ, усаживаясь у постели и доставая часы.—Инфлуэнцу за-получила должно-быть. Эхъ, Елена Николаевна, Елена Николаевна! Передъ самымъ праздникомъ! Что-бы вамъ до великаго поста потерпѣть!

Сестра Соня съ большимъ огорченіемъ узнала на другое утро, что Эленъ не будетъ у нея на елкѣ, потому что у нея инфлуэнца въ сильнѣйшей степени,

осложненная бронхитомъ, и температура въ сорокъ градусовъ. Не отложить-ли елку до Новаго Года? Нѣтъ, докторъ говоритъ, что если и скоро поправится, то и тогда еще нельзя будетъ выходить. Такая досада! Ужь не говоря о томъ, что эта инфлуэнца нынче бываетъ какая-то злокачественная, отъ нея даже умирають. Бѣдная Элень! А вдругъ она умереть?

Но Елена Николаевна не умерла, и даже скоро начала поправляться, хотя еще очень слаба и иногда продолжаетъ бредить: еще сегодня утромъ она серьезно увѣряла мужа, что какъ только поправится, такъ уѣдетъ въ деревню, и что ей нужно много денегъ, и потому придется продать многія ненужныя и дорогія вещи. Павелъ Александровичъ не очень беспокоится, слыша такія рѣчи, потому что температура у нея почти нормальная, и стало быть бояться нечего. Скоро все пройдетъ.

---

## СОДЕРЖАНІЕ.

---

	Стр.
Не судьба. (Повѣсть) . . . . .	5
Въ старомъ домѣ. (Святочный разсказъ) . . . . .	117
Въ театрѣ . . . . .	137
Счастливая женщина . . . . .	149
Сонъ на яву . . . . .	167
Елка подъ Новый годъ . . . . .	183
Ночь наканунѣ Ивана Купала . . . . .	193
Живое привидѣніе . . . . .	205
Шарманщикъ . . . . .	233
Груша. (Изъ деревенскихъ портретовъ) . . . . .	261
Забитая свекровь. (Изъ деревенскихъ портретовъ) . . . . .	279
Люди и вещи . . . . .	287

---



## КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

---

Ев. Бекетова. **СТИХОТВОРЕНІЯ**. Посмертное изданіе. Спб. 1895. Ц. 1 р.

Монтескье. **ПЕРСИДСКІЯ ПИСЬМА**. Переводъ съ французскаго. Изданіе Л. Ф. Пантелѣва. Спб. 1892. Ц. 2 р. 50 к.

**ЧЕРНАЯ СТРЕЛА**. Повѣсть для юношества Роберта Люиса Стивенсона. Переводъ съ англійскаго Ев. Бекетовой. Изданіе А. С. Суворина. Спб. 1892. Ц. 1 р. 50 к.

**ВО ДНИ ОНЫ (ВЕНЬ-ГУРЪ)**. Повѣсть изъ первыхъ лѣтъ христіанства. Передѣлано съ англійскаго Е. Бекетовой. Дешевая бібліотека А. С. Суворина № 153. Ц. 25 к., въ папкѣ 33 к. и въ переплетѣ 45 к.

Райдеръ Гаггардъ. **КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА**. Повѣсть. Переводъ съ англійскаго Ев. Бекетовой. Дешевая бібліотека А. С. Суворина № 215. Ц. 30 к.

Бернарденъ де Сень-Пьеръ. **ПАВЕЛЪ и ВИРГІНІЯ**. Переводъ съ французскаго Ев. Бекетовой. Дешевая бібліотека А. С. Суворина № 234. Ц. 15 к., въ папкѣ 23 к.

**ДВА МІРА**. Повѣсть изъ римской жизни первыхъ временъ христіанства. Передѣлана съ французскаго Ев. Бекетовой. Съ рисунками К. Брожа. Изданіе редакціи журнала для дѣвочекъ „Мой журналъ“. Спб. 1890. Ц. 1 р. 25 к.

## ПЕЧАТАЕТСЯ:

Г. А. Бекеръ. **ИЗБРАННЫЯ ЛЕГЕНДЫ**. Переводъ съ испанскаго Ев. Бекетовой. Изданіе «Дешевой Библіотеки А. С. Суворина».

---







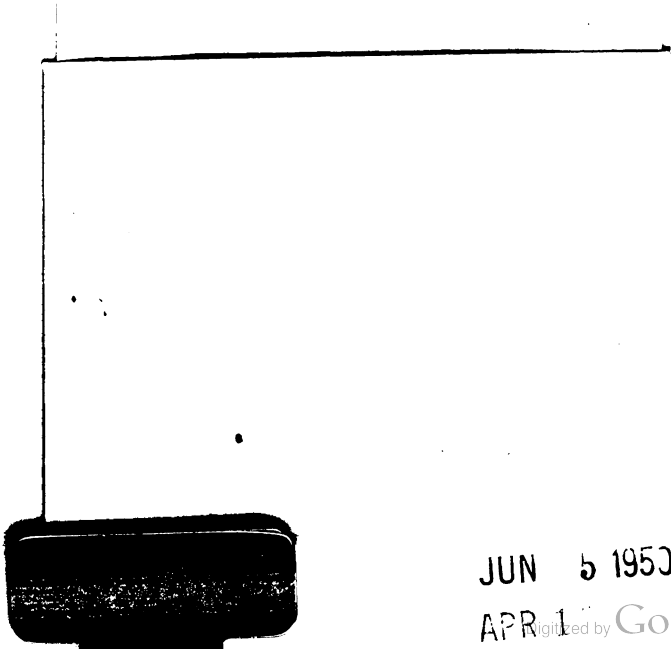






891.7K865

M



JUN 5 1953

APR 1 1953 Digitized by Google

